

Человек
НА ЗЕМЛЕ
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ

www.man-on-earth.com



4/2013



Ольга. 1984. Бумага, сангина. 45 x 30



Юля. 2011. Бумага тон. пастель. 80 x 60. (Частное собрание, Москва)

Человек
НА ЗЕМЛЕ

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ

*Voll Verdienst, doch dichterisch wohnet
Der Mensch auf dieser Erde.*

Friedrich Hölderlin

*Много заслуг у человека земного,
Но жив он только в поэзии.*

Фридрих Гёльдерлин

4/2013 МОСКВА

www.man-on-earth.com

Главный редактор

Татьяна СУРГАНОВА

Редакционный совет

Владимир БУРЛАКОВ

Сергей ГОНЦОВ

Геннадий КАЛАШНИКОВ

Максим КРАЙНОВ

Елена РУСАКОВА

Художник

Владимир ГАЛАТЕНКО

Корректоры

Т.С. БЫЧКОВА, С.Н. ЛИПОВИЦКАЯ

Фоторедактор

Александр БЛЮМИН

Фотографии

Юлия КРАВЦОВА

Анастасия КУШНЕРЕНКО

Фотографии авторов · из личных архивов

Редакция выражает благодарность

Сергею ЛАМАНОВУ

и Татьяне ЯНЧУР

за спонсорскую поддержку номера

Алексею КЛИМОВУ

за помощь в создании сайта журнала

ISBN БУДЕТ 5-89136-010-2

При перепечатке ссылка на журнал «Человек на Земле» обязательна.

© Идея номера и состав Сурганова Т.В., 2013

© Авторы журнала «Человек на Земле», 2013

© Дизайн: В. Галатенко, 2013

СТРАНИЦЫ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА —

Татьяна Сурганова

5 ЛЮДИ ЗЕМЛИ И ЭФИРА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ —

Олег Смола

8 МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ

ПОЭЗИЯ —

Евгений Клюев

44 МАЛЕНЬКИЙ БУДДА

Давид Паташинский

85 СТРАНИЦЫ ИЗ ДНЕВНИКА

ПРОЗА —

Анастасия Ярославцева

19 ПОЕЗДАЛЬ

Святослав Логинов

26 БАРСКАЯ ПУСТОШЬ

Раиса Беляева (Гурина)

46 ДВА РАССКАЗА О ЛЮБВИ

Виктор Теплицкий

53 ОН ДОЛЖЕН ПРИЙТИ В ЧЕТЫРЕ

Инна Иохвидович

57 НА ПРИСТАВНОМ СТУЛЕ

Сергей Филатов

61 ВЕТЕР, БАЛАЛАЙКА, ПРЯНИКИ

Юрий Милославский

73 ИЗ РАССКАЗОВ О ВРЕМЕНИ

ГОЛОС РУССКОЙ ПРОВИНЦИИ —

Михаил Петров

91 ВОТЧИНА ИЛИ ОТЕЧЕСТВО

Александр Сёмочкин

97 ДЕРЕВНЯ

ПАМЯТЬ —

Елена Фаст (Гамм)

103 СОРОК ЛЕТ

РАДОСТЬ ЗЕМЛИ —

Игорь Михайлов

78 СТАРЬЁВЩИК ЛЕОНИД

ПЕРЕСМЕШНИКИ —

Оксана Романова

117 ОН, ОНА, ОНИ

ЦВЕТНАЯ ВКЛЕЙКА —

Владимир Галатенко:

126 О ТВОРЧЕСТВЕ, О ЖИЗНИ, О СУДЬБЕ

SUMMARY

The forth issue of **Man on Earth** opens on a joyful note. The editorial board and the authors of the periodical are happy to congratulate their respected colleague **Serguey Aleksandrovich Gontsov** on his awarding with the All-Russian literary prize after the Kireevskie brothers *The Paternal Home* (*Otchiy Dom*) and with the laureate title of the International Poetry Contest after Feodor Tutchev.

The Editorial discusses numerous ethic challenges set in a new novel by Boris Evseev *Flaming Air* where a phantasmagoric yet psychologically truthful picture of modern Russia is depicted in sharp and ironic stylistic manner.

Oleg Smola's *My Universities*, a social and political memoir from the author's youth, is dedicated to the persecution of Victor Duvakin who was among the few dared to advocate Andrey Sinyavskii (Abram Terz).

Anastasia Yaroslavtseva's *Poezdal* written in a tender impressionistic manner outlines the main theme of the forth issue, that is, love in its countless manifestations in people's lives.

Lordly Wasteland (Barskaya Pustosh) by **Svyatoslav Loginov** tells the story of an artist whose talent helped him visualize the perished house of some aristocratic Russian family that once possessed his native village; he decides to restore the house in spite of the obstacles. The mild fantasy story is dramatically echoed in *Private Domain or Fatherland* (Votchina ili Otechestvo) by **Mikhail Petrov** giving an unsightly picture of today's Neuordnung in land possession, Tverskaya region being the sad mirror of the whole country. *The Village* (Derevnya) by **Alexander Semochkin** also contributes to the theme, yet from the optimistic viewpoint.

Short stories by **Raissa Belyaeva (Gurina)**, **Iona Iohvidovich**, **Rev. Victor Teplitskiy**, **Yuri Miloslavsky**, **Serguey Filatov** form sort of a patchwork throughout the issue showing collisions of love, memory and death in people's fates.

Forty Years, the memoirs by **Elena Fast**, unsophisticatedly describe the fate of a German Mennonite family, suffered from meaningless soviet repressions during wartime.

The Little Budda by **Eugene Kluev** and *The Pages from the Diary* by **David Patashinsky** present two very different yet equally fine poetic manners.

Oksana Romanova's both sad and humorous short stories complete the love theme in the present issue via science fiction genre.

The colourful insert preceded by his unfolded biographic sketch represents the pictorial works by **Vladimir Galatenko**, the Honoured Artist of the Russian Federation.



*Я знал, что время избавит нас
От дивных своих затей,
Поскольку Бог изготовил Час
Исхода от ловчих сетей.
А если мир доведёт до слёз,
То вспомни, – как пеньё птиц,
Фортуна имеет триста колес
И тысячу разных лиц.*

Сергей Гонцов

Татьяна Сурганова

ЛЮДИ ЗЕМЛИ И ЭФИРА

Татьяна Всеволодовна Сурганова род. в Подольске.
Литературовед, переводчик,
кандидат филологических наук.
Училась и работает в МГУ
им. М.В. Ломоносова.

«**В**еселинка», сумасшедшинка, блеск взвинченной, взвихренной фразы; воздушные ямы пауз, остановка—и снова стремглав вверх и камнем вниз, мысль, стремительная, как атака сокола; ведь сокол или кречет—сквозной образ, символ, может быть, alter ego Бориса Евсеева. Его интонацию в сегодняшней российской прозе ни с кем не спутаешь. Его темы—всегда неожиданны, жёстки, нелицеприятны и неудобны; его постоянное стремление исследовать «норы земные» не менее сильно и успешно, чем стремление озирать краски земли с высоты птичьего полета. Новый роман—о попытке поймать неуловимое: пятую стихию, Апейрон, беспредельную космическую сущность, долетающую к земле эфирным ветром, будоражащим «нашу проклятую и обожаемую жизнь».

Сарказм и горечь памфлета, тихое обаяние малых российских городов—глубинки, тридевятого царства; потрясающая воображение философия «эфирного дела», переворачивающая расхожие представления о сегодняшних возможностях науки, предлагающая объединить познание научное и религиозное на основах новой духовности—всё вместе, скреплённое авторской волей, рождает блистательный роман-провокацию (не в политическом смысле, разумеется, употребляю это слово), расталкивая, тревожа читательское сознание и совесть.

Роман-бунт, роман-воплъ, роман о подменах—в науке и духовности в первую очередь; о злостном накоплении, диком стяжательстве и чрезмерном потреблении; о нецерковном, мирском нестяжании как выходе из нравственного кризиса; о священниках, которых не оказы-

ваются в храме, когда в них большая нужда; о короткой детской жизни, уместившейся в пару президентских правлений; о путях возрастания наших душ и наших эфирных тел—а путей таких великое множество: творчество, монашество, любовь... О пути особенном, умножающем не только индивидуальное эфирное тело, но водвигающем в небесный эфир целые страны и народы—о пути юродивых, одной из сквозных и важнейших тем Евсева.

Книга—вызов самому страшному врагу человечества, насколько я понимаю позицию автора: под угрозой сегодня не только эко-, био- и прочие оболочки Земли; расплзающийся, как чума, самодовольный здравый смысл, столп и утверждение истины человека потребляющего, грозит «полным уничтожением мыслящего человека как самостоятельного биологического вида». Слышите? Самостоятельного. Биологического Вида. Трудноприемлемую для многих мысль утверждает и собственно художественный посыл романа, и прямые авторские формулировки. «Здравый смысл вредит любому виду творчества». В области науки человек-потребитель жив «приятными догмами», в области государственного управления—иллюзорным самодурством («взять да и запретить» эфир как неудобное чиновникам состояние материи!); в области литературы—«резвыми метафорами», которые поставляют рабы-«литтуземцы». Есть ещё одна особенно преследуемая Евсевым тема, которой посвящён отдельный пласт повествования: «Сикофантские сюжеты—зачитаешься! Составить донос—не повестуху слепить!» Покойный мой свёкор, — а среди его бесчисленных знакомств водились самые непредсказуемые, — рассказывал, как ему в некоем сибирском городе довелось полистать подшивки дел заключённых 30-х годов—три четверти были заведены по доносам соседей по коммуналкам...

Россия, Ярославская область, городок Царёво-Романов на реке Рыкуше при впадении её в Волгу, 2-я Овражья улица, «Ромэфир» — тот ещё адресок. Книга читается залпом, как лихо закрученный, не дающий на чашку чая оторваться детектив, к тому же заставляя улыбаться, а то хохотать до слёз—но перевернув последнюю страницу, испытываешь редкое по нашим временам желание перечитать роман медленно, сосредоточиваясь на философском, интеллектуальном его заряде. Но поневоле вновь увлекаешься крутыми сюжетными поворотами и смеёшься вновь, ибо не придумано на свете лучшего, чем смех, оружия против глупости, пошлости и здравого смысла, которые Автор числит среди первых своих противников. Кроме того, книга рождает «ликующе странное», страстное желание исповедаться, очиститься, содрать прежние наросты жизни, начать с нуля, приготовившись к чему-то главному...

На память пришла история одного из самых симпатичных мне героев Честертона—история изобретательного вора Фламбо. «Фламбо» «пламенеющий факел», для Честертона он один из программных героев. Фламбо—особенный вор, «вор-нестяжатель», его занятия для него самого—

нечто вроде шахматных этюдов, которые он с блеском решает. Обладая талантом, он реализует его в полной мере и таким образом (может быть) готовит себя к моменту, когда встреча с отцом Брауном окончательно преобразит его к исходу в новую жизнь.

Почему вдруг Фламбо? Когда мы вместе с Борисом Евсеевым обра- щаем наш гнев, смех и негодование во внешний мир, тут всё ясно. Но роман звучит провокацией и по отношению к каждому из читающих, ибо все мы ничтоже сумняшеся и, главное, с легкостью необыкновенной, прямо-таки эфирной, относим себя к расе творческой, избранной, а как же иначе?

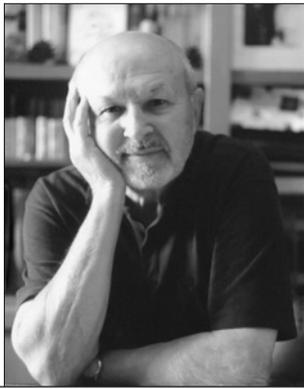
Роман подталкивает к неожиданным ассоциациям, в нём много ситу- ативных и чисто словесных аллюзий, чьё осязаемое и даже настойчи- вое присутствие становится понятным лишь к концу повествования. Одни «несвоевременные мыслишки» чего стоят! Вот именно, несвоевре- менные, пытаюсь представить себя на месте романного недруга: к Рос- сии—Романову подступает жесточайший кризис, того и гляди, перего- родят Транссиб палаточными городками бунтующие безработные, а то и похуже; — автор же втюхивает читателю очередную утопию, абсолют- но несовременную, несвоевременную мечту.

Но вот же они, единомышленники мечты: отзвуки пушкинского, гоголевского, щедринского, Достоевского, чеховского, Бунинского, Булгаковского, Гроссмановского мира; они встают с автором плечом к плечу, как рядом с Трифоном Петровичем Усыниным, укрепившим на могиле Ромы беленького табличку с надписью о первом эфирном человеке нашего времени, встают почти все сотрудники «Ромэфира»; русская литература по-прежнему трудится над созданием нового, достойного бессмертия человека.

P.S.

Недавно я приглашена была взглянуть на коллекцию камней Миха- ила Марковича Лысова. Хозяин дома, видно, обрадовавшийся возмож- ности щегольнуть перед новичками собранными почти за полвека диковинками, выносил из соседней комнаты и открывал коробку за коробкой. В одной оказались картины природы, подсмотренные масте- ром при обработке минералов. Я перебирала забавные каменные при- чуды, как вдруг с ошлифованного спила размером в мужскую ладонь на меня ринулась эфирная саламандра! Та самая, которую из корзины азростата наблюдали американский профессор Морли и его помощник, славянин с библейским именем Ефрем.

Кимры—Москва
14–19 августа 2013



Олег Смола

МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ

Москва. Россия

Олег Петрович Смола

родился в 1934 г. в Георгиевске Ставропольского края.

Выпускник Суворовского училища (1953), Рязанского пехотного училища (1955).

Окончил филологический факультет МГУ. После аспирантуры работал в журнале «Вопросы литературы». 23 года проработал в Институте мировой литературы РАН.

Автор книг и многочисленных статей о русской поэзии (Блок, Хлебников, Д. Бурлюк, Маяковский, Асеев, А.Н. Толстой, Есенин, Мандельштам, Кирсанов, Тарковский, Слуцкий, Жигулин, Межиров, Рубцов, Вознесенский, Чухонцев и др.).

Доктор филологических наук, член Союза писателей Москвы.

Благоговение и восторг перед святым именем Московского университета очень скоро рассеялись в буднях студенческой жизни, оказавшейся, как и следовало ожидать, и богаче и беднее моих провинциальных грёз.

В мою бытность МГУ, в сущности, повторял идеологическую структуру советского государства. На вершине власти университета—партийный комитет. Высшая инстанция на факультете—партийная организация. Её правая рука—комсомол, проводивший коммунистические идеи в молодёжные массы.

Другие руководящие органы—Большой Учёный совет МГУ и просто Учёные советы на факультетах. Но и они, более чем наполовину состоявшие из тех же членов партии, помимо научно-педагогических вопросов рассматривали, случалось и такое, персональные дела тех, чья деятельность, по их мнению, была несовместима с преподаванием. Деканат же факультета в основном занимался организационно-учебными делами.

Была еще одна инстанция, внешне неприметная, под кодовым названием комната №1. Никому в университете не подчинявшаяся, она-то и осуществляла тайный надзор над всей жизнью университета. Подотчётная лишь Комитету государственной безопасности, она со сталинско-бериевских времён выполняла функции тотальной слежки за преподавателями и студентами. В идеале гебисты желали бы завербовать каждого в секретные сотрудники (сексоты)—чтобы все следили за всеми. Но поскольку даже при тоталитарном режиме это все-таки неосуществимо, то в каждую студенческую группу внедрялся хотя бы один сексот. В нашей группе (15 человек), мы это знали, сексотом был Жора Кирьянов. Он, естественно, это скрывал, а мы делали вид, что ничего не знаем.

На собственном примере расскажу, как происходила вербовка студентов. Приглашают тебя в ту самую комнату. За столом двое. Предельно вежливо предлагают сесть и в доверительном тоне беседуют с тобой. Вы, мол, знаете, что в университете много иностранных студентов, в том числе из капиталистических стран. В большинстве своём это честные, порядочные люди, но среди них есть, как вы догадываетесь, и такие, кто приехал к нам не учиться, а собирать всякого рода сведения, порочащие наш строй. Они распространяют ложную информацию, ведут антисоветскую пропаганду, подсовывают запрещенную литературу, а случается, что и вербуют с целью вовлечь в шпионскую деятельность. Вас как советского патриота, конечно, не может не беспокоить такое положение вещей, и вы не прошли бы мимо, заметив нечто подобное. Поймите нас правильно, мы не хотим, чтобы вы шпионили, следили за своими товарищами, за тем, что происходит вокруг. Но если вдруг, случайно, вы столкнетесь с проявлениями антисоветчины или вас насторожит поведение того или иного студента, вы, не подавая вида, не говоря ни слова, приходите к нам и поделитесь своей тревогой. Это всё, что мы ждём от вас.

Если вкрадчивый тон и дружелюбное расположение способны усыпить тебя, считай, что ты уже в их руках. Ещё чуть-чуть поговорят с тобой, пообещают поддержку в карьерном росте, и ты, дав согласие, подписываешь бумагу о неразглашении тайны сотрудничества. Твоя подпись — крючок, на который тебя поддели. Назад хода нет. А если ты вдруг опомнился, засомневался и хочешь вернуть свою подпись, у тебя ничего не получится. От радушного воркования собеседники перейдут к другому тону, угрожая исключением из университета и даже привлечением к ответственности за недонесение. Из страха ты сдаёшься. В конце беседы они поблагодарят тебя и попросят представлять им ежемесячный письменный отчет о проделанной работе.

Весь этот иезуитский стиль вербовки мы хорошо знали и втайне делились друг с другом личным опытом своего визита в комнату №1. Опыт подсказал нам, что существует единственный способ уклониться от сотрудничества с госбезопасностью — сразу решительно сказать «нет». Будешь мяться, извиняться, мямлить — тебе несдобровать. От тебя отстанут, если почувствуют силу твоего характера и твою убежденность в том, что никакие соображения безопасности и патриотизма не собьют тебя с толку; что быть сексотом всегда паскудство. Так поступил я, так поступил Альдо Канестри — студент из нашей группы, сын обрусевшего итальянского коммуниста. С Альдо мы сблизились на почве общей любви к поэзии, кино и футболу. Играли в одной команде, вместе бегали на вечера поэзии, вместе ходили в университетский кино клуб на просмотр и обсуждение фильмов. Словом, дружили и поэтому знали друг о друге всё, в том числе и о попытке нас завербовать.

Кстати, Жора Кирьянов по окончании университета стремительно пошёл в гору. За верную службу его, видимо, взяли в штатные сотрудники КГБ. После защиты кандидатской диссертации меня пригласили на работу в ИМЛИ (Институт мировой литературы имени А.М. Горького Академии наук СССР), и там я вдруг увидел Жору. Научной работой он не занимался, к ней он был непригоден, но почему-то ежедневно приходил в институт — как на работу. Почему бы это? Впрочем, мой рассказ о властных структурах МГУ может составить несколько ложное представление о том, как мы жили и чем дышали в 50-60 годы XX века. Комната №1, как ни старалась, не в состоянии была осуществить полный контроль над частной жизнью студентов. Вопреки идеологическим заморозкам, как признак неизбежных перемен, весной на деревьях всё-таки распуска-

лись почки. Студенты без всякого уважения к правилам общежития могли тёплыми ночами гулять до утра по Москве. Тесно общались с иностранцами, вместе обсуждали во время ночных бдений разные новости и проблемы. Не боясь прослушивания наших разговоров, до хрипоты спорили о литературе и политике. И никакие устремления органов не могли помешать нам оставаться людьми, дружить и помогать друг другу. Конечно, иностранцы каким-то образом ухитрялись провозить через границу запрещённые книги, но делали они это не из злого умысла, а как раз наоборот, потому, что мы сами ждали и жаждали этого. Так, например, роман Пастернака «Доктор Живаго», о котором все только и говорили, но прочесть не могли, поскольку его у нас не печатали, впервые на русском языке был издан в Милане. Кто-то из итальянских студентов привёз один экземпляр романа, и мы выстроились в длинную очередь, чтобы прочесть его. Каждому отводились на это одни сутки.

На одном этаже с нами жил американский стажёр Джон Файфер. Он как-то посетовал на то, что никак не может найти определенного издания романа Алексея Толстого «Пётр Первый» (по этому роману он писал диссертацию). Поскольку я потихоньку собирал личную библиотеку и поэтому часто шастал по букинистическим магазинам, то вскоре наткнулся на это издание. Купил и с удовольствием подарил Джону. Через несколько дней он приносит и дарит мне Библию на современном русском языке нью-йоркского издания (1956). Ценнейший подарок. В те времена в СССР Библия вообще не издавалась. И я держал её в руках, невозможно красивую, поглаживая, чуть ли не облизывая, предвкушая удовольствие от медленного, гомеопатическими дозами, чтения.

Вообще наступало замечательное время самиздатской запретной литературы, на которой воспитывалось и образовывалось целое поколение нашей интеллигенции. Невозможно представить себе духовное и нравственное созревание так называемых шестидесятников без Самиздата, включавшего в себя всё, что только советская цензура не пропустила бы в печать. Причём среди обилия политической, исторической и философской литературы в Самиздате нашли приют и такие вещи, которые власть могла бы и не запрещать, если бы наследники Сталина не были столь трусливы, ограниченны и недалёковидны. Имею в виду перепечатки из произведений Вяч. Иванова, Волошина, Мандельштама, Ахматовой, Цветаевой, Сологуба, Мережковского, Андрея Белого, Хлебникова, Гумилёва, Ходасевича, Кузми-

на, Пастернака и многих других. Не издавались и не переиздавались Замятин, Пильняк, Булгаков, Платонов, Бабель, Зощенко, Заболоцкий, Бродский и т.д. Это было какое-то клиническое помутнение в головах наших правителей, коллапс всей системы коммунистического управления, если под запретом находились те, кто составлял цвет и совесть русской культуры. Самиздат и был спасительной реакцией на мракобесную политику советского государства. Удушливой атмосфере в стране тихо противостояла университетская наука в лице её лучших представителей. Так, лекции по фольклору нам читала прекрасная женщина Эрна Васильевна Померанцева (её чуть позже выживут с факультета). Я смотрел на неё, любовался ею, думая про себя: как мало я знаю! Ты почему-то захотел стать филологом, не понимая простейших вещей, не зная, что вначале было слово устное, что именно тогда зарождалась художественная культура, что самая современная поэзия, включая модернистскую, которая с презрением отбросила прошлое вместе с его традициями (футуризм, сюрреализм, дадаизм, симультанизм и прочие измы), своими корнями уходит в глубь веков, питаясь первородными фольклорно-языковыми элементами, чего подчас не сознавали даже её создатели, жаждавшие нового, только нового, нового во что бы то ни стало.

По сей день лучший учебник по древней русской литературе тот, который написал Н.К. Гудзий. Учёный с мировым именем, кладезь ума и знаний, он располагал к себе своей интеллигентностью и одновременно простотой. Всем своим обликом он внушал мне мысль, по сути мысль толстовскую, что не может быть подлинного величия там, где нет простоты и правды. Николай Калининич, кстати, написал замечательную книгу о Л.Н. Толстом и вёл на факультете семинар по творчеству великого писателя.

Сергей Иванович Радциг—крупнейший специалист по античной литературе. Его учебник по истории древнегреческой литературы также считается лучшим. Не одно поколение студентов училось и учится по нему. Студентам же нашего факультета повезло вдвойне: лекции читал нам сам Сергей Иванович. Не от мира сего (почти в буквальном смысле), он входил в аудиторию шаркающей походкой, в суконных ботах «прощай, молодость» (по выражению одной студентки). Казалось, как она говорит, что он «читает лекции по личным воспоминаниям о командировке на Олимп». Он никогда не ставил двоек—даже если человек отвечал очень плохо.

Та же студентка рассказывает, как она при-

шла на экзамен, не прочитав Аристофана. И, как это водится, Аристофан ей и достался. Она начала что-то мямлить, и Сергей Иванович спокойно и даже ласково говорит: «Что, деточка, не успели прочитать?» — «Не успела», —честно отвечает та. — «Очень жаль, это же так интересно». И он начал ей рассказывать комедию. Рассказав, взял её зачетку и поставил пятёрку, добавив: «А вы всё-таки прочитайте пьесу—получите настоящее удовольствие».

На первом курсе в нашей группе семинар по введению в литературоведение вёл В.Н. Турбин, который был интересен нам не столько конкретным знанием азов теории литературы, сколько нестандартным мышлением, презрением к стереотипам, стремлением к новизне. Чуть позже его книга «Товарищ Время и товарищ Искусство» всколыхнёт весь факультет. Некоторые ревнители классических традиций и особенно бюстители так называемого социалистического реализма встретили книгу в штыки. Основная же масса студентов, среди них и я, с жаром обсуждали камень, брошенный Владимиром Николаевичем в стоячую воду ортодоксально-советского литературоведения.

Что такое соцреализм? О, это целая история. Но если передать её суть кратко, то это выглядит примерно так. Передовой современный писатель, опираясь на марксистско-ленинскую идеологию, должен изображать жизнь не такой, какова она есть, а такой, какой она должна быть с позиций коммунистического идеала. Попросту говоря, врать, врать и врать, мороча голову себе и своим читателям, но так врать, чтобы это походило на правду. А если писатель ещё и член партии, то ему за верную службу обеспечены соответствующие тиражи, квартира, спецраспределители, дача, награды, премии, вплоть до звания Героя социалистического труда, что автоматически переводит его в ранг живого классика (Шолохов, Леонов, Федин, Фадеев, Шагинян, Погодин, Михалков, Софронов, Гамзатов, Соболев, Марков и др.). Главное лицо советской литературы—герой положительный, лучше, если при этом он коммунист. Если в произведении, не приведи Господь, появляется какой-нибудь отщепенец, персонаж отрицательный, его должен перевоспитать коллектив. В противном случае это произведение будет рассматриваться как очернительство советской действительности. Отсюда, если несколько утрировать, конфликты в подлинно соцреалистической литературе сводятся к борьбе лучшего с хорошим. Впрочем, можно обойтись и без конфликтов. Получается, что соцреализм—это скорреализм навыворот.

С благодарностью я вспоминаю А.В. Кокаре-

ва, преподававшего нам литературу XVIII века, А.Н. Соколова, написавшего учебник по русской литературе первой половины XIX века. Глава о Лермонтове в учебнике кажется мне во всех отношениях образцовой. Читаешь её и чувствуешь, что это любимый поэт автора. А поскольку Лермонтов и мой любимый поэт, то естественно, чувства к поэту невольно переносились на его истолкователя. Сдержанность и природный аристократизм Александра Николаевича выделяли его на фоне всей профессуры факультета. Казалось, что он каким-то чудом перенёсся из дворянского девятнадцатого века в наш двадцатый—демократический до вульгарности.

Одна из самых колоритных фигур на факультете—Николай Иванович Либан. Остролов. Колкий до ехидства, он любил поиронизировать над нами, особенно над нашим невежеством и верхоглядством. Он знаток русской литературы от древности до XIX века включительно—и при этом ничего не написал. Мы изумились, когда узнали, что он даже не кандидат наук. Мне кажется, он презирал саму систему научных степеней и званий, заставлявшую иных учёных соревноваться, лезть из кожи, чтобы защититься и получить в результате прибавку к зарплате. Он был аристократом духа и, может быть, поэтому с некоторой высоты поглядывал на суету сует XX века, презирая не только вненаучные страсти, но и, по некоторым данным, советскую литературу с её дутой псевдообщественной значимостью.

Мне приятно думать о наших милых женщинах—Дилигенской (французский язык), Мирошениковой (латынь), Ёлкиной (старославянский). Нина Максимовна, несмотря на то, что старославянский мне был неинтересен и я нередко пропускал занятия, благоволила ко мне. Но когда наступил черёд экзамена, она нисколько не пощадила меня, дважды отправляла на дополнительную подготовку и поставила мне тройку только с третьего захода после полуторачасового мучительства.

С особым воодушевлением посещал лекции по Серебряному веку. Поэзия и искусство рубежа веков интересовали меня больше всего. Этот курс читал нам Виктор Дмитриевич Дувакин—человек, о котором нужно говорить особо. Чтение стихов по памяти, превосходное знание материала и подача его без предписываемых идеологических подпорок и оглядок на ходульные авторитеты, честное отношение к поэтам и поэзии и, значит, к аудитории, которая тебя слушает, — вот что выделяло Виктора Дмитриевича среди специалистов по литературе XX века.

С травлей Дувакина связана одна из самых позорных страниц в истории нашего факультета. Здесь мне придётся сказать о том, о чем обычно умалчивают или говорят, обходя острые углы. Впрочем, обо всём по порядку.

Как я уже говорил, университетская жизнь в реальности оказалась далеко не столь лучезарной, какой она представлялась мне в те минуты, когда я абитуриентом смотрел на шпиль высотного здания и белые облака на фоне голубого неба. Чеховед А. Чудаков в заметках о филфаке употребил слово «балласт», рассказывая о профессорско-преподавательском составе, и назвал Василёнка, Глаголева, Дмитриева, Метченко, Цуринова, Юшина. Со своей стороны список этот дополнил именами А.Г. Соколова, Зозули, Хабина, Калачёвой. Причем слово «балласт» помогает также ответить на вопрос, почему в условиях тотального надзора в гуманитарных науках можно было существовать и не будучи учёным, преподавать в вузе, не будучи преподавателем по сути, руководить творческим коллективом и при этом душить творчество, а если потребуется, то и творцов. Народился неведомый ранее тип филолога-функционера, стоящего на страже государства, нетерпимого к инакомыслию. Это они, люди системы, подвергали «научной» обструкции Турбина. Избавлялись от Э.В. Померанцевой, Вяч.Вс. Иванова, И. Виноградова, А. Адамовича. Травили А.Д. Синявского и Дувакина. Выгоняли с факультета «космополитов» Т.Л. Мотылёву, Н.В. Фридмана и других.

Драматическая судьба Дувакина, его отлучение от преподавательской деятельности непосредственно связаны с судебным преследованием Синявского.

Андрей Донатович Синявский родился в Москве в 1925 году. Учился на филфаке МГУ. В 1952 защитил кандидатскую диссертацию. Некоторое время работал научным сотрудником Института мировой литературы АН СССР, преподавал в университете и в школе-студии МХАТа. Мария Васильевна Розанова, жена писателя, характеризует своего мужа так: «филолог, научный сотрудник ИМЛИ в Москве, профессор Сорбонны в Париже—он был авантюристом, преступником, нарушителем и перебежчиком, то есть писателем». Лучше не скажешь. За свои художественные произведения, опубликованные за границей под псевдонимом Абрам Терц, в 1965 году был осуждён на 7 лет. Отбывал срок в мордовских лагерях, где продолжал писать и, в частности, написал спорную, блистательную книгу «Прогулки

с Пушкиным». В 1973 году с женой и маленьким сыном эмигрировал во Францию.

Почему авантюрист и преступник? В предисловии к двухтомнику писателя В. Новиков пишет, что псевдоним Абрам Терц Синявский взял из блатного одесского фольклора, из песни, где упоминается «Абрашка Терц, карманник всем известный». Иначе говоря, Абрам Терц, во-первых, преступник в том смысле, что он, Синявский, переступил границы дозволенного в условиях советской власти, преступно отправив свои произведения за рубеж. Еврейство же для Синявского рифмуется с изгойством. В контексте всех обстоятельств, сопутствующих ему в настоящем и ожидающих его в будущем, он — отщепенец, отверженный, еврей, для которого, как сказала бы Марина Цветаева, «Жизнь — это место, где жить нельзя: Еврейский квартал...» Кроме того, каждый читатель Синявского в еврействе его псевдонима волен улавливать разные смыслы. Скажем, желание укрыться от вездесущего КГБ, затруднить для властей ответ на вопрос — кто же скрывается под этим хлестким именем-уколом «Абрам Терц»?

Дерзким и нахальным псевдонимом Синявский, несомненно, отвечает увесистую оплеху нашим национал-патриотам, демонстративно подчеркнув духовное родство русского человека с евреями, с теми, кто наиболее преследуем в этом мире и с кем по этой причине должен разделить судьбу всякий порядочный человек и уж, конечно, честный писатель. Та же Цветаева в «Поэме Конца» сказала об этом так, как могла сказать только она:

*В сём христианнейшем из миров
Поэты — жида.*

Арестовали Синявского в сентябре 1965 года.

Арест и суд над ним для филологического факультета — происшествие из ряда вон выходящее. Воспитанник факультета (студент, аспирант, преподаватель) не просто опозорил, опорочил факультет, но до смерти напугал его руководство, понимавшее, что только публичное осуждение Синявского, полное отречение от него уберёжет от санкций со стороны вышестоящих надсмотрщиков (ЦК КПСС, КГБ). И стряпается письмо в «Литературную газету» под названием «Нет нравственного оправдания», в котором подписанты открестились, отплевались, очистились от своего неблагодарного пасынка. Вот это письмо.

«Мы, профессора и преподаватели филологического факультета Московского университета, решили обратиться в редакцию с этим письмом. Мы не можем не выразить публично своего отношения к беспринципной деятельности Андрея Синявского.

Большинство из нас знало Андрея Синявского, когда он был студентом, потом аспирантом, наконец, кандидатом наук, защитившим диссертацию. Синявский не мог считать себя ни обиженным, ни обойдённым. Он со студенческих лет привык к заботе и вниманию.

Как и тысячи других, он имел возможность учиться в крупнейшем университете страны, получать государственную стипендию в течение всех студенческих и аспирантских лет. К его услугам были сокровища лучших библиотек страны. После окончания Университета он поступил в аспирантуру. Затем он — сотрудник крупнейшего научно-исследовательского учреждения — Института мировой литературы имени А.М. Горького, Синявский становится членом Союза писателей.

Готовясь получить степень кандидата наук, Синявский в своей диссертации (1952 год) восторженно писал о величии русской литературы, о социалистическом реализме, о гениальности Горького как зачинателя литературы социалистического реализма, о ясности и широте мировоззрения горьковских героев-большевиков. Там же говорится и о том, что Горький развивает лучшие традиции крупнейших представителей реалистической литературы XIX века — Чехова и Льва Толстого (авторэферат диссертации).

В статье, опубликованной позже, в 1960 году, Синявский писал о Горьком: «Своей повседневной практикой Горький утверждал такой тип писателя, для которого работа в социалистическом настоящем и строительство коммунистического будущего были неразрывно связанными с борьбой против капиталистического прошлого». Творчество Горького для Синявского по-прежнему — образец художественной правды и высокого мастерства. «Образ положительного героя, — писал Синявский, — картины новой революционной действительности раскрываются в богатстве и яркости жизненных проявлений. Павел Власов, Степан Кутузов и другие герои-революнеры горьковских произведений — это характеры, развёрнутые во всей полноте, яркости многогранной человеческой природы и личности. Социалистический идеал всегда связан у Горького

с представлением о богатстве и многообразии жизни, о прекрасном мире, полном света, красок, звуков, движений”.

Таким представлялся Синявский.

Но уже и тогда, в 1960 году, когда высказывались приведённые мысли, существовал, оказывается, другой Синявский. Он печатался за границей, скрывая от своих соотечественников всё то, что писал под псевдонимом «Абрам Терц». А писал и печатал прямо противоположное тому, что публиковал на Родине.

То, что под пером Андрея Синявского является заслугой Горького, под пером Абрама Терца превращается в преступление. Горький «начал крестовый поход», пишет Терц, против того, что было лучшим в реализме XIX века — против образа «лишнего человека». Этот образ близок Терцу совсем не тем, за что ценили Печорина и Бельтова Герцен и Белинский. Терц видит в них предшественника того психологического типа, который воспели декаденты: человека, разьедаемого безверием, скептицизмом, всеразрушающей пронией. И вот этому, наиболее привлекательному, с точки зрения Терца, герою во всей русской литературе XIX века Горький якобы объявил “крестовый поход”, стал изображать его как мещанина, а советские писатели будто бы и совсем превратили его во врага. Этому сложному, внутренне богатому существу Горький, по мысли Терца, якобы противопоставил бесчеловечную схему “положительного героя”, безжалостного и прямого, как меч. Терц “забыл”, что писал Синявский для советских изданий о красочности, яркости, органичности положительных героев Горького. Он “забыл”, что именно Горький в литературе XX века поднял знамя человечности, гуманизма, боролся за духовный расцвет личности.

Мы убеждены, что ни один честный ученый, ни один уважающий себя человек не в состоянии нравственно оправдать подобное поведение Синявского-Терца.

Но дело не только в нравственной оценке поведения Синявского, хотя сама по себе она необходима, коль скоро речь идет о принципиальности в деятельности филолога. Дело прежде всего в том, что сочинения Терца полны ненависти к коммунизму, к марксизму и славным свершениям в нашей стране на протяжении всей истории Советского государства.

Рука не поднимается воспроизвести то, что смог написать Терц о коммунизме и марксизме.

Вот образец его писаний: “Обезьяна встала на задние лапы и начала триумфальное шествие к коммунизму”. И это сказано о величайшем мировом движении, в котором участвовали люди чистого и отважного сердца — от Бабёфа до Ленина, от Фурье до Фучика!

Никто Синявского-Терца не тянет в коммунизм. Но народ, в нелёгком труде строящий новое общество, не может равнодушно относиться к тому, как «информируют» о его труде, его целях, его жизни зарубежного читателя отщепенцы вроде Синявского-Терца.

А русский народ... Он тоже оклеветан Терцем. Для академической истории советской литературы Синявский написал раздел о литературе Отечественной войны. В произведениях “Русский характер” А. Толстого, “Русские люди” К. Симонова он отмечал “возросшее в годы войны национальное самосознание русского народа”. В рассказе же “В цирке” Терц уверяет зарубежного читателя, что “русскому всегда главное — фокусы и чудеса”. И если коммунизм представлен Терцем как идеал вставшей на задние лапы обезьяны, то народ, строящий коммунизм, изображается в повести “Любимов” диким, беспробудно пьяным. Ему всё равно, во что верить: в леших, колдунов, царя или коммунизм.

Терц клеветает не только на советского человека — он клеветает на человеческую природу, на всё человечество. Абрам Терц осмелился осуждать наше общество, наш народ, нашу мораль с позиций лицемерия и низости. Он поднял руку на всё, что для нас бесконечно дорого и свято, на прошлое, настоящее и будущее нашей страны, на наше человеческое достоинство, на человека.

А.Г. Соколов, декан факультета;

А.Н. Соколов, профессор;

С.М. Бонди, профессор;

А.И. Метченко, профессор;

В.И. Кулешов, профессор;

В.В. Ивашёва, профессор;

В.Н. Турбин, старший преподаватель;

В.П. Неустроев, профессор;

Н.А. Глаголев, профессор;

Е.П. Любарёва, доцент;

О.С. Ахманова, профессор;

Н.С. Чемоданов, профессор;

Н.М. Гайденков, профессор;

П.А. Николаев, доцент;

П.Ф. Юшин, доцент;

К.В. Горшкова, доцент»

(«Литературная газета», 15.02.1966)

Все подписанты меня «устраивают», и только А.Н. Соколов, С.М. Бонди и В.Н. Турбин огорчают. Не сомневаюсь, подписались они не по собственному волеизъявлению.

А теперь давайте представим положение Дувакина.

Синявский—любимый ученик Виктора Дмитриевича. Их сблизила любовь к поэзии, и прежде всего к Маяковскому. Позже, уже в эмиграции, Синявский расскажет о том, как он, будучи студентом, желал одарить сокурсницу Элен, девушку из Франции, «лучшим, что было у нас из реликвий Советской России, и затащил её в спецсеминар Дувакина». Добрейшей души человек, Виктор Дмитриевич, «был великим маяковистом и таким энтузиастом на тернистой педагогической ниве, подобных которому я уже никогда не встречал. С гордостью до сих пор говорю по поводу моих филологических запросов: — Я ученик Дувакина!..» (Абрам Терц (Андрей Синявский). Собр. соч. в 2-х томах, т.2, М.,1991, с.579). Виктор Дмитриевич отвечал своему ученику больше чем дружеским расположением—отцовской привязанностью. Уже после суда он пишет Синявскому:

«Милый Андрюша! Неотступно думаю о Вас и о Вашей судьбе. Понял, что незаметно привязался к Вам как к сыну. Всем сердцем—с Вами. Крепко Вас обнимаю—

Ваш, В.Д.»

P.S.

Мои осложнения ещё не разрешились окончательно, но в последнее время определилась вероятность приемлемого компромисса (переход на должность старшего научного сотрудника).

Электрогрелка, подаренная мне Вами три года назад, до сих пор прогревает мои старикивские немощи, а надпись на книжке душу.

Моя жена и многочисленные дочери тоже Вас помнят и любят. Желаю Вам силы—телесной, а душевной—бодрости.

В.Д.»

На подаренной Дувакину книге А. Меньшутина и А. Синявского «Поэзия первых лет революции» (М.,1964) рукой Синявского написано:

«Учителю, другу, рецензенту, человеку! —дорогому Виктору Дмитриевичу Дувакину от любящих и преданных авторов.

30.IX.64».

Для Дувакина арест Синявского был как гром среди ясного неба, поскольку о подполье своего ученика он ничего не знал, с творчеством Абрама Терца знаком не был. Пересказывать подробно жизни и переживания Виктора Дмитриевича тех дней не буду—они изложены в книге «Возвы-

шенный корабль. Виктор Дмитриевич Дувакин в воспоминаниях». Скажу только, что М.В. Розанова тут же познакомила Виктора Дмитриевича с произведениями Абрама Терца. Виктор Дмитриевич, надо сказать, остался невысокого мнения об их художественных качествах. Однако, и это самое важное, на допросах и суде, где он, единственный, выступит свидетелем защиты, с гражданской и нравственной точки зрения держался безупречно, притом, что в условиях советского сыска надо было иметь незаурядное мужество, чтобы защищать «изменника родины», «злостного антисоветчика», «пособника мирового империализма» (из откликов трудящихся).

Трудно передать тот переполох, ту вакханалию травли, которая началась на факультете сразу после выступления Дувакина на суде. На целом ряде заседаний кафедры, партбюро и Учёного совета на голову Виктора Дмитриевича обрушился град обвинений:

«Больших моральных подлецов я ещё не знаю»
(Мочалов),

«Позиция Дувакина несовместима с педагогической деятельностью»

(А.Г. Соколов),

«Дувакин сделал попытку «общественной реабилитации Синявского»

(Кулешов),

«Читая лекции о Маяковском, Дувакин не доходил до политической сути Маяковского, а тонул в футуризме Маяковского»

(Метченко),

«Мы осуждаем эту чудовищную ошибку, аполитичность тов. Дувакина»

(Любарёва),

«Идеологическая диверсия»

(Калачёва)

и т.п.

Результат этой иезуитской кампании предугадать нетрудно: с подачи факультетского Учёного совета ректорат издаёт приказ об освобождении Дувакина от работы с 11 мая 1966 года «как не соответствующего занимаемой должности».

Университет, надо признать, с Дувакиным поступил относительно гуманно, если вообще в данной ситуации можно говорить о гуманности: отстранили от преподавания, но предложили работу на межфакультетской кафедре научной информации при ректорате. Ведь не убили же, не отправили на Колыму, не лишили всех прав, как это могло произойти лет 15–20 назад при Сталине и Берии.

Уже в наши дни, когда пишутся эти заметки, вышла в свет упоминавшаяся книга «Возвышенный корабль. Виктор Дмитриевич Дувакин в воспоминаниях» (М., Прогресс-Плеяда, 2009). Созда-

тели её—бывшие семинаристы Дувакина В.Ф. Тейдер, М.В. Радзишевская и В.Б. Кузнецова (ныне покойная), сотрудники Отдела устной истории МГУ, того отдела, куда перевели на работу в 1966 году Дувакина после отстранения от преподавания (тогда этот отдел назывался Кафедрой научной информатики). Книга исключительно важная не только для понимания личной судьбы Дувакина и Синявского, но и жизни филфака в целом, а значит, и судьбы и жизни значительной части советской интеллигенции. Книга задела за живое, и я тут же, ещё не остыв, написал письмо на имя Тейдер и Радзишевской, с которыми знаком и дружен. Воспроизвожу письмо с небольшим сокращением.

Дорогие Валя и Марина,
с большим волнением прочитал книгу “Возвышенный корабль” и хочу поблагодарить вас от всей души.

Книга замечательная. Для меня же она единственная в своем роде, и воспринимаю её как факт собственной биографии. Отдельные места перечитывал дважды и трижды и всё думал: а ведь это и про меня написано, про мои личные переживания и мысли, связанные с Дувакиным и Синявским.

Хочу поделиться с вами своими чувствами, не оставляющими меня с тех давних аспирантских пор, когда я мог бы (и должен был) открыто заявить о своей солидарности с Виктором Дмитриевичем, но не сделал этого. Оговорюсь, что ни о каком поздне-м прозрении не может быть и речи. Прозрения не могло быть потому, что как только на факультете стали распинать Дувакина и Синявского, внутренне я был всецело на их стороне. Более того, уже тогда в своём сознании, во внутреннем противостоянии каким-то явлениям советской действительности я, как мне кажется, мог бы пойти даже дальше Виктора Дмитриевича и скоро догнать в этом Синявского.

Синявский говорит, что он искренне обрадовался тому, что умер Сталин и что он “стал человеком с двойным дном: в душе радуюсь, а хожу среди плачущих людей”.

Признание это мне очень близко. В 1953 году я заканчивал суворовское училище (10 класс), и все мы, кроме двоечников, в траурные дни смерти Сталина поочередно стояли в почётном карауле у портрета отца народов. У многих из нас по щекам текли слёзы, я же стоял как истукан и никак не мог выдавить из себя и слезинки. Тогда же, я думаю, зарождался во мне комплекс двойного дна, определивший на многие годы моё существование в условиях советского режима. На моё восприятие вещей влияло то обстоятельство, что в период раскулачивания моих деда и бабу на пять лет сослали в Сибирь.

Заметьте, в моих суждениях преобладает слагательное наклонение: “мог бы”, “должен был”. Должен был бы, да почему-то не смог. Подобно чеховскому герою, который был на стороне честных, свободных людей, но боялся сказать об этом, всей душой сочувствуя Дувакину и Синявскому, спрятался в скорлупу, боясь открыться.

Надо ли говорить, что значительная часть советской интеллигенции была поражена конформизмом. Один мимикрировал из-за куска хлеба или тёплого угла, другой—чтобы продвинуться по службе, третий из страха за семью и т.д. У каждого был свой резон и свои причины приспособленчества. Об этом горько думать, но, может быть, только правда, честный разговор с самим собой, пусть и запоздалый, помогут нашим детям простить нас, и, дай бог, самим не повторить ошибок и избежать трусости отцов.

Прежде чем продолжить свою мысль, хочу спросить себя, имею ли я моральное право судить этих людей, если сам небезгрешен, если, тесно общаясь с ними, делал вид, что всё в порядке, что ничего не происходит, хотя прекрасно понимал, что с нравственной точки зрения на факультете, как, впрочем, в стране в целом, порядка-то как раз и нет? Ответ мой таков. Если срок давности истёк, если то, что говоришь,—правда, если ты готов судить себя столь же строго, как и других, то можно, наконец, позволить себе быть откровенным.

Мои друзья по факультету—Удереvский, Илюшин, Катаев—выбрали себе кафедру русской литературы и тем самым оказались на некотором расстоянии от идеологического эпицентра факультета. Я выбрал кафедру советской литературы. Спрашивается, почему, зная Дувакина и Метченко, видя разницу между ними как в человеческом, так и в научном плане, я записался в семинар к последнему? Может быть, потому, что Виктор Дмитриевич в административном отношении никто, а Алексей Иванович—завкафедрой, и для карьеры держаться за него куда как выгодно? Нет, говорю как на духу. Причина—в другом. Виктор Дмитриевич занимался Маяковским. Я же с давних пор, ещё будучи курсантом Рязанского пехотного училища, с тех пор, как побывал в Константинове (наш летний лагерь располагался на противоположном берегу Оки), думал про себя: вот если поступлю на филологический факультет МГУ, непременно напишу большую работу о Есенине. Так, кстати, и случилось. Футуристами, Маяковским и его окружением я вплотную занялся значительно позже, будучи аспирантом. Студенческие две курсовые и дипломная работа написаны мной по творчеству Есенина. Причем мне сватали Юшина как единственного

нулись на том, что Андрей Донатович, мол, всем хорош. Талантлив, прекрасно пишет, как мало кто разбирается в тонкостях стиха, но плохо, что он отправлял свои опусы за границу. Это уж слишком, не совсем, мол, честно. Из самых близких, кто меня хорошо знает, подтвердит, что примерно с середины 60-х, вплоть до знакомства с Ольгой, моей теперешней женой (1970), я не знал, куда себя деть. С тоскливым чувством думал об Австралии, о глухой тайге, мечтал о дальних краях, куда можно было бы скрыться от паскудной действительности. Только осуществить свою мечту—духа не хватало, да я и не знал, как это сделать. Когда же узнавал, что кто-то остался за границей, примеряя на себя, радовался от всей души (Кондрашин, Нуриев, Барышников, Годунов, Белоусова и Протопопов).

Всё это говорю, чтобы вы представили, в каком состоянии я находился на экстренном заседании кафедры советской литературы, с которого на факультете началась кампания против Дувакина. Лаборант кафедры Наташа Хвесько строго предупредила всех, в том числе и аспирантов, об обязательной явке. Собралась вся кафедра: Хабин, Апухтина, Сотскова, Любарёва, Адамович, Дубровина, Зайцев, Колобаева, Фатющенко, Скороспелова. Тон собранию задал триумвират непримиримых — Метченко, Соколов, Юшин. Со злым энтузиазмом осудив Виктора Дмитриевича, выступающего на суде в качестве свидетеля защиты, каждый из них не просил—требовал объяснить уважаемому собранию, своим, так сказать, товарищам по работе, как он мог позволить себе защищать злостного антисоветчика. Виктор Дмитриевич стал рассказывать о своих отношениях с Синявским. Произносил слова тихо, медленно, с паузами, но между тем чувствовалось, что он твёрд в том, что говорит. Ни раскаяния, ни извинительной интонации, чего так жаждало кафедральное начальство, мы не услышали. А говорил Виктор Дмитриевич примерно то же, что говорил, как мы теперь знаем, на суде и последующих факультетских собраниях. С осуждением вслед за синклитом партийцев выступили почти все остальные. Лишь Александр Михайлович Адамович категорически не согласился с тем, что Дувакину не место на факультете и что его необходимо отстранить от преподавательской деятельности. Точно не помню, но, кажется, Лидия Андреевна Колобаева робко присоединилась к позиции Адамовича. Я же сидел молча и думал про себя: хорошо, что я аспирант, не член партии, а то и меня попросили бы встать и высказаться. И вот теперь я спрашиваю себя, а что бы я сказал, если бы Метченко предоставил мне слово? Честно говоря, не знаю. В те годы полностью я ещё не освободился

от страха, царившего в стране. Я нашёл в себе силы смолчать, но мне не хватило мужества открыто заявить, что я всей душой на стороне Дувакина. А нужно было встать и сказать: “Многоуважаемый Алексей Иванович, уважаемые члены кафедры, извините, но я не с вами”.

Чего я опасался? Больше ГБ я боялся того, что меня могут выгнать из университета. Кстати, в своей жизни я напрямую сталкивался с ГБ дважды. Первый раз в студенческие годы, когда меня пригласили в комнату №1 и пытались завербовать в сексоты. Слава богу, ни уговоры, ни увещевания, ни угрозы на меня не подействовали. Второй раз, когда друга нашей семьи Татьяну Осипову за участие в правозащитном движении (она входила в Хельсинкскую группу) арестовали и осудили на пять лет с отбыванием срока в пермских лагерях. Нас с женой таскали на Лубянку, выуживая из нас показания и принуждая меня выступить на суде в качестве свидетеля обвинения. Я не просто устоял, но вечером того же дня, уже дома написал заявление, в котором охарактеризовал Татьяну как глубоко порядочного, совестливого и честного человека. На другой день по повестке я вновь являюсь на Лубянку. Следователь прочитал моё заявление и удалился. Минут через десять возвращается не один, а со своим начальником в звании генерала. Представился (фамилии его не помню) и с места в карьер стал кричать, не стесняясь в выражениях и угрожая суровым наказанием. В критических ситуациях я не теряюсь и, более того, перехожу в атаку. Встал и сам начал кричать. Как два петуха, стояли мы по двум сторонам стола, готовые наскочить друг на друга.

Собственно, тем всё и кончилось—от нас отстали. Рассказал я вам об этом, чтобы вы не считали меня человеком, не способным на смелые поступки.

В 1967 я закончил аспирантуру, вчерне написал диссертацию—не полностью, а только первые две из трёх глав. Меня интересовал авангард, и потому я взял раннего Асеева и его окружение. Поэт второго ряда, однако его четыре сборника стихотворений, написанных до революции, с точки зрения истории футуризма представляют собой несомненный интерес. В том, как руководил мной Алексей Иванович в работе над диссертацией, обнаружилось его безусловное достоинство: он не мешал мне. При этом, что он футуризм крушил, всячески отделяя от него Маяковского, к Асееву относился спокойно, предоставляя мне свободу копаться в его фольклорно-футуристической зауми. Раз в год примерно лениво просматривал куски моей диссертации, делал редкие пометки на полях и потом уже к ним не возвращался. Мой вялый роман с Метченко с перерывами тянулся вплоть до 1973 года, когда я, наконец,

защитился и меня пригласили работать в ИМЛИ.

Был момент, когда Метченко сделал попытку взять меня на кафедру, но этому решительно воспрепятствовал Юшин.

Расправа над Дувакиным—одна из самых позорных страниц в истории нашего факультета. Во всем виновато время (говорят). Но, простите за банальность, время—это мы сами, и, значит, кивая на время, мы так или иначе снимаем с себя личную ответственность за происходящее вокруг. Рассуждая так, думаю о себе. Мне стыдно становится, когда я вспоминаю о себе в связи с Виктором Дмитриевичем, когда я представляю, что он мог думать обо мне—аспиранте Метченко. Я сочувствовал Виктору Дмитриевичу, восхищался им, разделял его честное отношение к литературе, но он этого не узнал.

Кто-то из вас, создателей книги, верно заметил, что время оказалось бессильно перед совестью В.Д. Дувакина. Добавлю: совесть Виктора Дмитриевича действительна и сегодня — она тревожит, не даёт успокоиться.

После расправы я ни разу не видел Дувакина. И только в день его похорон был в церкви на отпевании и на Преображенском кладбище. Поехавших на кладбище было мало. Лесневский, кто-то ещё и я произнесли у гроба прощальные слова. Не помню, что я говорил, помню только, что это были слова раскаяния и любви к этому человеку.

Теперь вы знаете, почему книга произвела на меня такое сильное впечатление. Если бы я был верующим, я, наверное, сказал бы, что теперь, после выхода вашей книги, Виктор Дмитриевич может спать спокойно. Но ещё больше ваш труд нужен живущим—тем, кто знал и не знал Виктора Дмитриевича. Прочитавший книгу невольно захочет подобраться, подтянуться, чтобы хоть чуточку походить на этого замечательного человека.

Сердечный привет Ане Панце—
ваш О. Смола.

P.S.

Название книги меня покорило—своей красотью и невнятицей.

12.04.2009

Чтобы закрыть тему, скажу, что после того, как Синявского посадили, я часто думал о нём, сроднился с мыслью — что вот если мне доведётся когда-нибудь с ним встретиться (с ним лично я не был знаком), непременно выскажу ему своё самое глубокое сочувствие, восхищение его талантом человека, писателя и литературоведа. Четверть века спустя такой случай мне представился. В июне 1993 года литературный мир отмечал 100-летний юбилей Маяковского. В разных странах, в том числе и во Франции (в Париже), проводились посвящённые этому событию научные конференции. В числе других от России (З. Паперный, А. Кушнер, М. Чудакова, В. Новиков, Е. Невзглядова, С. Чупринин) с докладом «Две утопии Маяковского» выступал и я. Тогда мы и познакомились с Синявским. В это время он жил и работал в Париже, и его как бывшего маяковиста и самого непокорного и дерзкого литератора с необычной судьбой попросили открыть симпозиум и произнести вступительное слово. С напряжённым любопытством и нетерпением я ждал и думал—что же он, пострадавший от советского государства, скажет о поэте, когда-то воспевшем эту самую советскую власть? Андрей Донатович встал из-за стола, медленно подошёл к трибуне и, не сказав ни слова, зычным голосом, никак не вяжущимся с тщедушным обликом оратора, прочитал наизусть «Левый марш» Маяковского. И я подумал: в сущности говоря, так естественно было услышать из уст Синявского именно это стихотворение. Он ведь сам левак, он был и оставался на протяжении всей жизни «хулиганом», подрывником общественного застоя, как в эстетике, так и в социальном устройстве своей страны.

Прощаясь, Андрей подарил мне парижское издание своего трактата «Что такое социалистический реализм» с надписью

«Олегу Смоле—на добрую память»,
а Мария Васильевна Розанова—21 выпуск журнала «Синтаксис» (Париж, 1988) со своей статьей «Перестройка и перестрелка» и надписью
«Олегу Смоле с приязнью» М.В.





Анастасия Ярославцева

Рассказы

ОЕЗДАЛЬ

Москва
Россия

Анастасия Вячеславовна Ярославцева родилась в Воронеже. Закончила Литературный институт имени Горького. Публиковалась в «Московском Литераторе», «Кольце А», в нескольких сборниках и альманахах. Соруководитель юношеского литературного семинара «Я и все» в библиотеке имени Михаила Светлова. Член СП России

ДАЧКА

Электричка глухо сомкнула двери и заурчала. Её вагоны, покрытые чешуйками слоющейся краски, зашевелились и поползли, всё ускоряясь да разгоняясь, прочь, на север.

Унеслись.

Вслед унёся и ветер, пахнув напоследок расплавленным, знойным, увядшим, с пряной примесью креозота. Станцию словно прозрачным колпаком накрыли. Жара. Замерший воздух.

Тишина.

Особая, дачная—наполненная шарком ног, треском воробьёв, едва слышными завываниями приёмников вдалеке..

Белизна выгоревших небес. Если прищуриться—можно увидеть источник этого зноя и блеска—белое пятнышко над головой. Оттого, что на него смотрели сквозь сетку ресниц, он делался лучистым, а после под веками ещё долго плясало смазанное ярко-зелёное пятно—куда ни наведи взгляд.

– Ослепнешь! — зашипела сестра.

Мальчик дёрнул плечом и прижмурился. Теперь по асфальту прыгали две зелёные кляксы—поярче и потемнее.

– Игорь, ты что, оглох? Двигай давай!

Отец уже спускался по ступеням, чуть кривясь на правый бок—перевешивала спортивная сумка. Выражение торопливой напряжённости облакало его фигуру, точно неудобный городской костюм. За ним вприпрыжку, не скрывая возбуждения и улыбаясь во весь свой большой рот, уже поскакивала сестра Глафира.

– Пойдём, Игорь, —позвала мать. Мальчик поддёрнул на плечах старый школьный рюкзачок и двинулся следом.

По стеклянному, мутному от старости жёлобу моста пересекли застывшее шоссе. Скоростная трасса текла густым киселём, насколько хватало глаз. Над невидимым асфальтом, над жучиными спинками насторожённых машин плыл, дрожа, нагретый воздух и переливался через края. За шоссе начиналась чистая зона дачных участков, обнесённая бетонной стеной до самого горизонта.

Охранник оказался «нелюбимый»—они менялись по какому-то сложному графику. Усатый, бледный, в форме песочного цвета, он торчал из-под козырька, как фонарь, который забыли выключить на рассвете. Отец, протягивая связку пластиковых пропусков, завёл с ним разговор.

– А когда турникеты установить обещают?

– Теперь уж не скоро. Осенью самое раннее..

– Деньги-то уже вон когда сдали! Сколько можно?..

– Да кто вам среди сезона будет что менять? Вас тут каждые пять минут

туда-обратно шастает... — Охранник запнулся, почесал голову и добавил ни к селу ни к городу: — Совсем одурели!

— Вам бы легче было... — встряла мать.

Отец махнул на неё. Завязался хозяйственный разговор, однообразный, как гул трансформатора. Игорь присел у стены, разглядывая бетон под ногами. В сером, шероховатом полотне поблёскивали вкрапления слюды, торчали крошечные камешки. Между рубчатых порыжелых подошв старых кроссовок шла тонкая трещина, выпустившая на волю бледный трёхпалый стебелёк. Рядом проклёвывался ещё один. Мальчик нагнулся ещё ниже, так, что козырёк кепки совсем скрыл лицо, и попытался заглянуть вглубь. Там, в не проницаемой знойному утру темноте, медленно и целеустремленно копошилась загадочная мелкая жизнь.

Тёмный жук с красным узором на плоской спине выбрался из темноты и шустро засеменял вдоль трещины. Игорь огляделся в поисках какой-нибудь веточки...

— Ма-ам, па-ап, ну пошли-и уже! — тянула сестра.

— Не ной, — не оборачиваясь, произнёс отец.

Пыльный тёрн у дороги совсем засох, а лопухам хоть бы что. Прут себе. Противные. Фиг знает как называются, но если хватануть — то будет похуже, чем от крапивы.

Жук скрылся, и даже через кепку уже начало пропекать. Но и отец, кажется, наговорился — скрипнула, проворачиваясь, вертушка. Мальчик неспешно поднялся. Шагать было ещё прилично, а главное — всё большаком, похожим на линейку с тополями-делениями. Последние одноэтажки здесь извели ещё в позабытом году, даже голубятен не осталось. Мальчик развлекался тем, что обгонял семью, а потом поджидал, опершись о горячий бок очередной железной колонки, вытирая мокрое лицо. Его не одёргивали — дойти бы скорее.

Дача встретила их немного печальным запахом плохо проветриваемого жилища. Окна и балконная дверь были закрыты, климатизатор молчал. Мама, поставив пакеты, сразу же бросилась проветривать.

— Ты посмотри, эта Ирина Михайловна опять не поливала, — возмущённо произнесла она, поднимая повыше к свету горшок с каким-то кудрявым кустиком.

— Помидоры совсем пожухли! Ведь договаривались же! Неблагодарная, сколько детских вещей мы ей отдали, сколько книг! Неужели так трудно перейти через площадку? — И с надеждой обратилась к мужу: — Может, всё-таки поставим оросительную систему на балконе? А?

Отец, уже успевший переодеться в дачное — шорты и майку, — недовольно повернулся к ней:

— А платить кто будет? Ты?

— Я, между прочим, тоже зарабатываю!

— Мама, папа, ну можно потише?! Я по телефону говорю!

— ...на свой драндулет ты денег не жалеешь!

— ...от него хотя бы польза, не то что от твоей грядки!

Игорь неуверенно топтался на пороге.

— Я пойду?

— Куда собрался? А помогать кто будет? Ищи тебя потом по всему посёлку!

Вздыхнув, мальчик ухватился за ближайший пакет и поволок его на кухню. Рассовывать свёртки по шкафам — скучища, но всё же лучше, чем пыль вытирать.

Мама причитала над своими крошечными грядками. В серых ящиках с землёй, закреплённых в несколько ярусов на балконе, тянулись к свету помидоры, дававшие плоды размером с вишню, огурцы не больше мизинца, кукуруза с бисерными зёрнышками и земляника-невеличка, в которой было больше дразнящего запаха, чем съедобной мякоти. Всё это нуждалось в поливе, окучивании, прополке, опрыскивании ионизированной водой из пульверизатора, в суете и причитаниях. И в Игоревых руках.

— Спусти-ка мне во-он тот ящик. Нет, я так и думала — все листики поникли! Ниже лей, под самый корень, да раздвинь, раздвинь зелень-то! Вот этот надо отщипнуть, не тяни, не дёргай. Дай я!

Игорь поворачивал ящики другой стороной к свету, считал капли удобрения, вытягивал пальцами зазевавшихся червяков, вдыхал пряный запах. Огород был ему совершенно не интересен, но приятно, когда мама умиротворённая, воркующая, погружённая в свою ворожбу. Приятен был настоящий ветер — здесь, на втором этаже, он чувствовался, он щекотал лоб и охлаждал щёки. Приятен был этот несколько хаотичный маленький мир, так не похожий на разлинованный и чистый большой.

На кухне отец возился со шкафчиком. Это был уже третий шкафчик, на сей раз — под подоконник, для банок с крупами, с полосами прозрачного стекла и подсветкой — чтобы, не открывая дверец, знать, что стоит внутри. Предполагалось, что он будет небесно-голубым, но за год папа мог и передумать. Работа продвигалась медленно — с перерывами на вдумчивое чтение книги «Мебель — своими руками», пиво с друзьями и просмотры наиболее интересных передач по шестому каналу. В субботу по утрам передавали про

рыбалку, а вечерами—про охоту. В воскресенье всё было наоборот.

Потом выяснилось, что Глафира улизнула и пылесосить некому. Из-за этого обедать сели позже обычного—в пять часов. Жара ещё не думала спадать, но сделалась вполне терпимой. Жалюзи на окнах чуть потрескивали, выпуская свежий воздух—можно было экономить на энергии, включая климатизатор вполсилы. «Хорошо всё-таки иметь дачу на втором этаже!» — произнёс отец, отодвинув тарелку. «Природа, да, — невпопад произнесла мама, доставая жаркое, — как я устала от этого душного города!»

— Вечером схожу к пруду, покручу педали с мужиками. Охранник сказал, что установили несколько новых велотренажёров—с эффектом дороги. И позагораю заодно. — С этими словами он, не глядя, достал с полки какой-то боевик в мятой обложке и завалился на диван.

Воспользовавшись этим, Игорь выскользнул из дому. Посёлок затих в томном послеобеденном отупении. Даже самые отчаянные дачники попрятались. Из окон доносился мягкий гул климатизаторов. Игорь торопливо пересёк одну линию, другую. Возле крайнего дома на углу заметил группку девочек, игравших в какую-то таинственную игру. В знойном, дрожащем воздухе звенел тонкий голос, считавший нараспев:

«...дзуба-дзуба-дзуба-дзуба, дзуба дони-дони мэ...»
Игорь придержал шаги и наострил уши. Девочки тотчас заметили это, и игра замерла.

Снисходительно пожав плечами—больно надо! — мальчик поспешил дальше. Завернув за угол, оказался вне видимости. Никого. Казалось—сами дома спали. Бесконечные ряды жалюзи потрескивали под электрическим ветром изнутри.

Пригибаясь, как под обстрелом взглядов, Игорь просочился мимо многоглазого ларька, мимо спортивной площадки и шмыгнул в гаражи. Зазор между столбом, поддерживающим ворота, и стенкой крайнего, пыльного до невозможности отсека с цифрой 32 был как раз по нему. Это была совершенно особая часть посёлка, примыкавшая к пустырю: старая, заброшенная. Тут было ещё знойней—железные, прошлого века, пеналы раскалялись, как печки. Трава, торчавшая из щелей бетонки, была цвета плесени—бледно-зелёной с густым налётом пыли. Пустота чувствовалась уже здесь—ни души, только тихий скрип провисших на петлях створок, дуновение кислого ветра, запустение. В детстве Игорю говорили, что в гаражах живут дикие собаки, которые нападают на тех, кто лазит один и без спроса.

Собак не было. Ни диких, никаких. Пустота.

Зной. Ржавые двери с висячими замками. По обочинам, вдоль стен—серый, слежавшийся плоский и скучный мусор.

Каждый раз Игорь давал себе слово, что исследует внутренность гаражей и, возможно, даже проникнет в самый заброшенный из них. Но пока то, что снаружи, влекло его сильнее. Брешь между плитами забора очень удачно маскировалась тенью от гаража. Кажется, ограда цела. Но сквознячок, идущий снаружи, уже ерошит волосы, и светлый пушок дыбится на тонких руках.

Протиснувшись в щель, Игорь заскользил подошвами по осыпающейся глине. Главное—не хвататься! Здесь росла крапива—не та, мелкая, что попадалась в закоулках посёлка, а рослая, с хрупкими, жгучими стеблями, обраставшая к середине лета светлыми сопельками-сережками. И толстый, с резными листьями и зонтиками семян лопух, от которого на руках долго горели красные волдыри. Был тут и другой лопух—безопасный, с сиреневыми паутинчатыми колючками, что так славно липли к одежде, — в посёлке ему просто не давали вырасти, рубили электрическими косилками. Пахло чудно—немного словно бы электричкой, какими-то увядшими травами, пылью и пылью.

Прямо вдоль забора шла дорога из серых бетонных плит. Они лежали вкривь и вкось, словно расплозились под давлением чего-то тяжёлого, некоторые зарывались в окаменевшую глину одним краем и показывали своё дырчатое ребро, иные раскрошились по углам и щетинились толстыми железными прутьями. Даже не верилось, что по ним когда-то можно было ездить.

«Я на Марсе!» — прошептал Игорь и плавными, медленными шагами, какими ступали по неземным поверхностям космонавты, пустился в путь. Он открывал—в который уже побег! — заново открывал для себя эту неупорядоченную, доисторическую землю. Осколки иных цивилизаций громоздились по обочинам. Покрышки, кузова и почти целые машины, сутулые стулья и зевающие, просевшие в землю электропечи, мелкий мусор, покрытый коркой многолетней грязи. Трудно было поверить, что их набросали люди—те же самые люди, которые сейчас в крохотных закутках загородных домов чинят карманные модели машин, выращивают яблоки с ноготок и стригут маникюрными ножницами газоны на подоконниках. Враждебное прошлое—и очаги упорядоченного настоящего—посёлки, посёлочки, разграфлённые загородные радости.

«Я—первый человек!» — шептал Игорь, в упорении выбивая ногами бурые облачка из бетона дороги. Было волнительно и жутко—одному, на

необозримом пространстве, где только ветер, где даже небо—выше, темнее, загадочней привычного белёсого купола.

Начинались терриконы—сыпкие, ржавые конусы, опущённые какой-то неведомой мальчику жилистой сорной травой. Забора, а вместе с ним и дач уже не было видно—как ни выворачивай шею, ни поднимайся на цыпочки. Вот у обочины—вплющенная в землю железная гусеница—точно громадный браслет от часов, обронённый в пыль. Это Игорь подумал ещё тогда, когда впервые дошёл до этого места, и каждый раз проходя мимо—повторял про себя. Если поскрести налёт грязи—заблестит. А вон и бульдозер, с которого эта гусеница слетела,—кособоко накренился, черпнул ковшом и замер. Единственное стекло в пыли. Подбитый танк. А дальше—провалы в полотне дороги, рытвины, канавы—точно война прошла, точно брали приступом железную крепость. Чёрные лужи, расцветающие после каждого дождя, бетонные столбы, торчащие невпопад и вкось, как солдаты, умершие стоя, черепки, осколки...

В прошлом году Игорь сам с большим удовольствием брал приступом эту крепость—во главе отряда бетонных солдат. Теперь эта идея прискучила—ворота стояли нараспашку, выкатив раздвоенный ржавый язык узкоколейки с кособокой тележкой на конце. Можно войти с любой стороны—по разбитой дороге или через брешь в заборе—таком же сером, тиснённом ромбами заборе, похожем на тот, что окружал посёлок. Тощие неклёны прорастали из всех брешей и даже внутри нашли себе место—в асфальтовых, бетонных, ржавых, мазутных залах, где толстые кубы мутных зелёных стёкол давно осыпались внутрь, дав дорогу любопытному свету. Здесь царила нестойкая тишина, вздрагивавшая при малейшем шорохе. Скрипнул камень под ногой, заскрежетала подвигаемая решётка, булькнул, уходя в маслянистую чёрную глубину, толстый осколок стекла,—Игорь с радостным испугом передёргивал плечами, слушая раскатившийся по стенам звук.

Железная узкая лестница вела через этажи—выше, на самый верх, на битумом и летучими семенами покрытую крышу. Каждая ступенька была заглажена к середине, а по краям на ней проступал неистоптанно косой узор множества пересечённых линий. Выше—узор становился заметнее, явственней, а в ячейках попадался занесённый с крыши сор.

Лестница тихонько позванивала и чуть ходила под ногами, а перед глазами прыгал квадрат

люка—и в нём клочок ярких, как Атлантический океан на карте мира, небес. С неожиданной в нём, прозрачной, как истаявшая льдинка, дневной луной. Наверное, если залезть на одну из ажурных башен, — луна стала бы ещё виднее.

Подожвы с липким звуком отрывались от тёплого битума крыши. Внизу, у подножия, в зарослях сорняков пыль ходила клубами—до зонтика. Буровато-зелёное море. Вон, впереди, где робкие предвечерние облака пропущены через сетку проводов,—посёлок. За ним белёсая изогнутая спина перехода-моста над трассой, которая всё дрожит, расплывается жарким текучим воздухом. Настоящая дача—не там, не за забором—а здесь, на вольном ржавом ветру одиночества!

Крепость неслась, рассекая ржавые волны, грозя подмять под себя двухэтажный макет обустроенной жизни. Она всплывала из пучины прошлого, которое все давно и прочно поспешили забыть, давно застывшие турбины её неслышно ревели, рождая ураганную скорость, а на её капитанском мостике, обхватив невидимый бинокль худыми ладонями, стоял ребёнок, не желающий стать человеческим будущим. Он нёсся разгромить из пушек уединённый уют пригородов, протаранить тугую скорлупу городов, чтобы не возвращаться больше никогда. И закат медлил.

Когда же он неохотно наступил, лестница бережно приняла на свои ступени Игоря—слегка шагающегося, немного опьянённого горизонтом, лёгкого и окрылённого—и проводила до самого низа.

По вольеру футбольной площадки бегали мужчины. В короткой, яркой, не знающей увядания траве мелькали кроссовки, сандалии и чёрно-белые бока мяча. Мальчишки уныло глядели, как их отцы, раскрасневшиеся, пахнущие потом и пивом, пихаются и создают иллюзию жаркой битвы. Исход которой год от года всегда один и тот же—шеренга пустых бутылок вдоль сетки.

ПОЕЗДАЛЬ

Даша подумала о кукле. Кукла лежала на самом дне чемодана, в картонной коробке сливочного цвета, обёрнутая упаковочной бумагой и стиснутая с обеих сторон босоножками на пробковой подошве. Если бы папа узнал, что Даша взяла её с собой,—ей бы влетело.

Как тогда, две недели назад, когда папа, зайдя вечером в её комнату, увидел, что она положила рядом с собой на подушку мягкого синего кота. Тогда папа был очень рассержен—он выдернул игрушку и зашвырнул её, не глядя, в угол. Даше даже показалось, что сейчас он ударит её, но он

просто потряс руками перед её лицом и выдавил:
– Никогда! Никогда больше не бери в постель эту!!

Слова его, голос и обрубленная на середине фраза, а главное—непонятность запрета пугали. Даша даже подумала было, что папа сошёл с ума, и долго не могла заснуть после того, как он ушёл. Девушка гадала—почему он, всегда заботливый, внимательный, сам подаривший ей множество игрушек, вдруг набросился на несчастного кота с таким остервенением. Кажется, даже появление Рафаэля не так взбесило его.

Но наутро всё разъяснилось. Папа был обычным—хмурым, занятым. Он небрежно потрепал дочку по пушистым волосам на затылке и, оглядев её всю с головы до ног (она как раз сегодня собиралась пойти с матерью в салон и чувствовала себя неловко под его взглядом, поджимая босые ступни с облупившимся лаком на ногтях) произнёс, как бы досказывая начатое накануне:

– Ну ты же теперь взрослая девушка, невеста, а всё в куклы играешь. Что в новой семье скажут? Что я тебя плохо воспитал? Не обучил чему следует? Ты же не маленькая, тебе сейчас о другом надо думать: о женихе, о свадьбе, о чём все женщины думают. А игрушки ты выбрось из головы. И вообще—выбрось!

Даша послушалась. Она не понимала, почему «взрослая девушка, невеста» не должна держать в комнате красивых кукол, зайцев, мишек. Ведь даже некоторые мамы её подружек, уже толстые немолодые женщины, вечно занятые и неразговорчивые, до сих пор хранили свои игрушки. Медведи, одетые в розовые детские платяца, сидели в широких креслах, лупоглазые куклы в белом, широко разведя негибкие ноги, таранились со старых телевизоров, задвинутых в угол, ещё работающих, но уже совершенно не нужных... Наверное, дело в том, что её, Дашина семья была особой. И Дашу с детства готовили к особой жизни.

Потом Дашины мысли соскочили на то, как она станет обустривать свой собственный дом, которого ещё не видела...

Поезд опаздывал. Стоять на перроне было нудно и как-то неловко: единственные пассажиры. Солнце ещё пекло вовсю, но уже с другой стороны вокзала, и сюда, в тень серого коробчатого здания, прямые лучи не достигали. Под козырьком мигало табло: время—температура—снова время. Папа уже несколько раз уходил в глубь вокзала, потом возвращался с выражением озабоченности на лице. И тут же принимался говорить по телефону. На Дашу он как будто даже и внимания не

обращал. Но рядом стоял Байсал—папин помощник, телохранитель и водитель в одном лице. Сопровождаемая его взглядом, Даша уже трижды успела обойти всю прилегающую к путям часть вокзала. Она прочла все названия журналов, выставленных в витрине киоска, все объявления, висящие на шершавой стене, расписание проходящих поездов и даже слова, написанные чёрным маркером на выгнутой спинке скамейки. Поигралась со своим мобильным телефоном, прошлась по перрону... деть себя было решительно некуда. Тогда девушка начала вспоминать, что из вещей она взяла с собой. И вспомнила о кукле.

На кукле были высокие ботфорты до бёдер, крошечная юбочка леопардовой расцветки и топик в разводах, открывающий живот. Только причёску не удалось уложить по своему желанию. Кукла выглядела так, как хотела бы выглядеть Даша. Но папа ни за что не разрешал ей осветлять волосы и носить чересчур открытые вещи. В школу Даша надевала джинсы или юбочки до колен, блузки, а в жаркую погоду майки с коротким рукавом и до бёдер. Даже непонятно, как она в таком виде могла понравиться Рафику.

Рафик был срочником не потому, что не нашёл денег,—просто его отец считал, что мужчина должен отслужить. Разумеется, Рафик был ракетчиком: где же ещё служить, если вся степь от Волгограда до Астрахани, как арбуз косточками, утыкана ракетными комплексами? Вокруг каждого—бетонный забор с КПП, рядом—городок с офицерскими жёнами и детьми, засаженный по окраине низкорослыми вишнёвыми и абрикосовыми деревьями. А дальше—степь, бахчи, огороды, бетонные русла арыков, одинокая железнодорожная ветка, обсаженная с обеих сторон тутовником, который до середины своего роста утонул в сплетениях перекати-поля, и снова степь—до самой Волги.

На Волге, на пляже они с Рафиком и познакомились. Был он невысок ростом, очень коротко стрижен. У него была городская манера говорить и маленький, круглый, какой-то трогательный подбородок. Рафик угощал Дашу мороженым, учил её стрелять из винтовки в тире приезжего луна-парка и помогал делать уроки. А однажды—дело было уже в июле, занятия давно кончились—подарил ей куст перекати-поля. Куст был в обхват шириной, а его ветки были унизаны вишнями. Множеством вишен. Такого букета Даша никогда не получала!

Потом приехал из Астрахани на лиловой «мазде» Рафиков отец—высокий, грузный мужчина с синими венами на руках, похожими на червяков.

Они с папой долго беседовали, а Даша бродила по комнате и не знала, куда себя деть. Ни позвонить, ни выйти. Даша машинально обламывала веточки у перекасти-поля (вишни давно засохли и отваливались по одной). Ей надо было закончить одиннадцатый класс.

Подошёл поезд. Даша подхватила объёмистую дорожную сумку и взялась за ручку чемодана. Но Байсал отстранил её руку.

– Ну, давай,—шепнул папа, оторвавшись от мобильного телефона, приобнял её и сухо тронул губами висок. Даша вдруг поняла, что они с папой почти одного роста, и теперь, чтобы поцеловать её в лоб, ему приходится задирать голову. Однако размышлять было поздно—проводник уже призывно махал рукой.

Вагон оказался сидячий, полупустой, душно-ватый. Даша села напротив того места, где на перроне стоял отец. Уже на излёте, пройдя сквозь жидкие ветки привокзального тополя и давно не мытые стёкла зала ожидания, солнечный луч мазнул оранжевым светом по гладко выбритой, загорелой икре Дашиной ноги. Байсал поставил между кресел Дашину поклажу и вышел—как случайный помощник.

Поезд медлил, и папа тоже не уходил. Они с Байсалом стояли у окна, о чём-то негромко переговариваясь между собой. Иногда они поглядывали в вагон, на Дашу—равнодушно и отчуждённо. Правильно, так и надо, подумала Даша. Я отправляюсь во взрослую жизнь. И эти два пожилых, усталых казаха не имеют ко мне никакого отношения.

Поезд тронулся мягко, почти незаметно, и они поплыли вперёд, мелькая в одном окне за другим, пока не исчезли из виду. А потом исчез и вокзал, и город, где Даша прожила почти безвыездно семнадцать лет, и гарнизон за серым бетонным забором. Даша достала мобильник и посмотрела на дисплей. Было 21.02.

Отче наш, иже еси на небесех...

Мне очень неловко, что я предстаю перед Тобой в этом дурацком виде. Резиновые сандалии на босу ногу, шорты до колен и майка-боксерка—разве это годится? Надо бы по-другому, но я не успела. Один плюс—есть куда убрать руки. Дождь с грозой застал меня на полпути из магазина, а собаки загнали сюда. Конечно, не самый умный поступок—срезать дорогу через железнодорожные задворки и пустырь со всяким строительным хламом. Но, во-первых, в моей жизни немало поступков и поглупее, а во-вторых, раз уж Ты создал овраги, пустыри, арматуру, ямы с затхлой водой и заборы с дырами, стрелки, рельсы и задворки—

значит, кому-то их и любить! Кроме собак. Жаль только—нельзя спрятать руки в карманы полностью. На них—голых от плеч и до запястий—чернильной скорописью нанесены все мои грехи. До единого. Мелким, убористым почерком—разбирать и разбирать. Даже те, которые лично я грехами не считаю. И даже то, что я не считаю грехами грехи. Я бы попросила Тебя отпустить их мне скопом, но тогда это буду уже как бы не я.

Ты меня просто прости. Прости, и всё. Думаешь, легко носить на руках свои грехи? Но я не жалуясь. Холодно только. Дует. Мы свистим через раскалённую степь наперерез ветру, и он бьёт в каждую щель мощными, до костей пробирающими зарядами. Хоть бы закрыть—нет, нельзя. Хорошо, я не буду сегодня спорить. И жаловаться тоже не буду.

Я просто посмотрю в окно.

Комар пел где-то поблизости—неуловимый, едва слышимый и оттого ещё более противный. Ася трянула головой, помахала руками, даже хлопнула себя один раз по уху. Писк не прекращался.

– Ты что? —удивился отец.

Девочка пожала плечами. Ну что тут скажешь?

Звенели провода на ветру, звенели тополя, звенели сверчки. Шелестел, отряхиваясь от капель, продолговатыми светло-зелёными (уже неразличимыми в темноте) листочками жардель, изредка роняя на землю один из своих плодов. За путями вдалеке брехала собака, вызывая на звонкий поединок всех, находящихся в пределах слышимости. Иногда мимо станции проносился автомобиль, негромко ухая на каждой колдобине. Ася крутила головой, ловя отрывки этого многоголосого мотива под названием «поздний вечер на окраине рабочего посёлка».

– Темно уже,—произнёс отец и осторожно покосился на девочку. —Ехала бы ты домой, а? Страшно же одной возвращаться.

– Не страшно. Вот провожу тебя—и поеду. Зато сердце будет на месте.

Ася говорила негромко, рассудительно, немного напоказ.

– Недолго уже осталось.

– Да.

Отец вынул руку из кармана и прижал ногтем кнопку на боку наручных часов. Подсветка была тусклой, но кое-как вырубчала—циферблат озарился зелёным, выступили из темноты надушенные стрелки.

– Минут семь, если не опоздает.

Чтобы не стоять «просто так», он закурил. Запах сигаретного дыма очень нравился девочке. Особенно сейчас—в смеси с запахами путей, вечернего прохладного воздуха, свежести после до-

жда и пьяных после целого дня лежания на дневной жаре жарделей. Она огляделась—нет ли кого вокруг—и прижалась к папиному боку. Хорошо. Комар не ноет, окуренный крепким дымом, идти никуда не надо—стой себе, жди. И поезд явно опаздывает—она совершенно точно слышала разговор двух тёток на станции. Значит—можно ещё постоять, помедлить...

— А ты когда вернёшься?

Тишина лопнула тонкой леской, плеснула, уходя на глубину.

— К первому сентября должен. Надо же тебя в школу проводить.

— А потом опять уедешь?

— А потом опять...

— А может, здесь ещё всё наладится и найдётся работа тебе? А?

— Может, и найдётся.

Сказал—точно самому себе. Не веря. Зашвырнул на пути ещё тлеющий окурочек.

— О! Слышишь! Мой идёт.

Ася отстранилась. Она понимала, что пора—но было очень жалко себя. Поэтому она отвернулась и стала теребить плохо прикрученный звончок на руле велосипеда.

— Обиделась? —шепнул отец и легонько коснулся волос на затылке.

— Нет, —ответила так же тихо Ася. Вдохнула вставший в горле комок слёз.

— Ты не плачь. Я, может, в сентябре приеду и заберу тебя туда. Если всё нормально будет. Школу тебе найдём, где жить...

— А огорода я на кого оставляю? —сердито отвечала девочка.

— Ну... придётся как-нибудь без огорода...

Провода зазвенели по-иному, бойко, платформа осветилась дальним жёлтым светом, и, обгоняемый вихрем, скуля тормозами на разные голоса, на неё надвинулся тёмной громадой поезд. Выдохнул усталой собакой.

Отец засуетился, подхватил бокастый рюкзачок, похлопал себя по карманам.

— Ну, давай!

Теранулся колючим подбородком, прижимая к себе, отпустил, шагнул в тень—и легко, как молодой, вскочил в вагон. Локомотив дёрнулся, скрипнул, Ася, объятая каким-то мистическим ужасом, смотрела, как исчезает в темноте тамбура лицо её отца, загороженное чужим, суровым и форменным, как пробегают сполохи света между колёс, жёлтые переводные картинки окон ползут мимо и становится разборчивой белая надпись «Приволжская железная дорога» на рифлёном зелёном боку, но громадные литые диски уже на-

чали свой разгон, и уже невозможно остановить эту громаду, уносящуюся на юг, к неведомому и далёкому Каспийскому морю.

Ася толкнула прислонённый к невысокой оградке велосипед и повела его через лужи, через пути туда, где брезжил свет уличного фонаря. От него до дома было ровно пятнадцать минут езды.

Сиденья мягкие—почти как в автобусе. Можно откинуться и подремать. В темноте за окном идёт своим чередом обычная жизнь, но её не разглядеть. Только мелькают вдаль, между землёй и небом, светящиеся грибницы городков и посёлков. Мои попутчики уже спят. Первым заснул мужчина в джинсовой куртке. Он сел около одиннадцати, долго ёрзал, мял свой рюкзак, что-то считал шёпотом, а может—не считал, а разговаривал мысленно с кем-то, в чём-то убеждал невидимого собеседника, но сон сморил его. Коротко стриженная голова бессильно мотается в такт ходу поезда.

Девушка долго крутила свой мобильный телефон, украшенный блёстками: отправляла и читала эсэмэски, баловалась брелоками и слушала музыку в тоненьких проводках наушников. Её округлое, полувосточное лицо озарялось мечтательной улыбкой. Так, с улыбкой на пухлых блестящих губах, она и задремала: легко, неподвижно, точно не в дешёвом вагоне, а у себя дома в уютной постели, спрятав в лодочке ладоней блестящую игрушку.

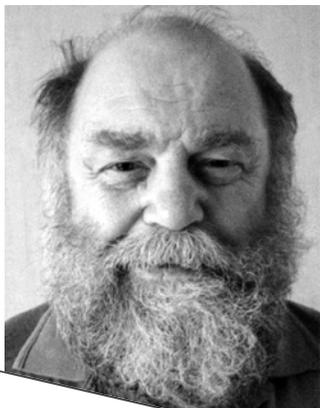
А я пью чай. Это самое лучшее, что я могу себе представить, спасибо, Господи. Настоящий железнодорожный чай с заваркой из алюминиевого чайника, с двумя кусками труднорастворимого сахара, потихоньку оседающими на дне. Обжигающий чай в тонкостенном стакане, закованном в доспех подстаканника.

Чай согреет меня и не даст уснуть. Я дождусь, пока напряжение в лампах упадёт до минимума и мохнатая птица-беспокойство задремлет на поручне хвостового вагона. Не проспай бы свою станцию. Какую? Я ещё не знаю, Господи. Знаю только, что не хочу ехать до конца.

Крошечный полустанок, окружённый деревьями со всех сторон. Светлячки на перилах и дощатый настил. Оттуда—по тропинке, утонувшей в крапиве, мимо сонных хибар, через лес—на восход. И дальше—по убитой широкими колёсами грунтовке—к самому рассвету. А Ты всегда будешь со мной. Ведь у меня Твоя кровь, Твои волосы, Твои глаза, Твой упрямый характер—куда же я от Тебя теперь денусь, раз я всё-таки к Тебе пришла.

Я люблю Тебя!

Святослав Логинов



БАРСКАЯ ПУСТОШЬ

*Зайка серый,
Куда бегал?
В лес зелёный.
Что там делал?
Лыки драл.
Куда клал?
Под кусток.
Кто украл?
Ларион!
Поди вон!*

Санкт-Петербург Россия

Святослав Логинов
(**Святослав Владимирович**
Витман, род. в 1951) — русский
писатель-фантаст.

Автор романов «Многорукий бог
далайна» (1994), «Земные пути»
(1999), «Свет в окошке» (2003),
«Россия за облаком» (2007),
«Медынское золото» (2012),
многочисленных повестей
и рассказов.

Лауреат премий: «Аэлита» (2008),
«Странник» (2003), «Интер-
пресскон» (1995, 1998, 1999, 2006),
«Беяевской премии» (1995),
«Великое кольцо» (1983), «Портал»
(2007).

Напраслину клепал зайка на всех Ларионов скопом, и за эту вину многие зайки расплатились серыми шкурками. Дедушке Лариону куда как за восемьдесят было, а охоты он не бросал и почитай каждую неделю бил зайку, а то и двух. Ноги у старого уже не ходили, так он отправлялся на охоту, прихватив привезённый внуком складной стульчик. Выбирался на задворки, ставил стульчик поудобнее, не надеясь на хлипкую спинку, а так, чтобы прислониться к стене сеного сарая. Там и сидел, бывало, по несколько часов кряду.

В ночи появлялись зайки. Бесшумные тени, неприметные в полумраке, прокрадывались на огороды или в сад, портить яблони. Но от дедушки Лариона не скроешься, у него глаз, что у совы, а в старости ещё и дальность зоркость объявилась. Так, со стульчика не вставая, и бабахнет. Ружьё—грох! Зайка—кувырк! Вот мы и с мясом.

Бабушка выстрел слышит и, кряхтя, поднимается с железной кровати с пружинным матрацем, таким же кряхчучим, как и хозяйка. Добрые люди спят, а ей охотника домой вести, а то он, ноги за ночь отсидевши, поди сам и не доберётся. Сначала зайку подобрать, потом—деда. В одной руке добыча и складной стул, за другую добытчик держится. Идёт, нога за ногу волочит, но ружьё за плечом, ружья бабе доверить никак нельзя.

Случалось дедушке и промазать. Тогда—беда! Только попробуй усмехнись или, пуще того, словцо насмешливое скажи, —дед вспыхнет, зашумит, а то и кулаком сунуть может. А там ему от волнения сердце прихватит, будет лежать, сосать таблетку «нитросорбит». Нет уж, над чем другим посмеяться можно, а когда охота неудачна, иди да помалкивай.

После охоты складной стульчик возвращался законному владельцу. Внука тоже звали Ларионом, в честь дедушки. Так просто в наше время Лариона не встретишь—имя редкое. По редкому имени и профессия у внука не рядовая—художник. Это Кольки да Лёшки могут быть трактористами, а если выучатся, то простыми инженерами. А редкое имя обязывает, с ним хочешь не хочешь, а надо быть наособицу.

И Ларион-младший не подкачал. Одна выставка в Новгородском кремле чего стоит: вся деревня смотрела, как «нашего Ларьку по телеку показывают»... Бывало, что богатые иностранцы Ларионовы картины покупали и увозили к себе за границу. Платили втридорога, а на картине, смешно сказать, пруд в Гачках. Прежде мельница стояла, а теперь только валуны от плотины замшелые и ручей меж ними. Кто ж этого пруда не знает? Меж

каменной мальчишки от века выюнов ловят голыми руками, в омуте купаются, обмениваясь впечатлениями, какая ледяная на глубине вода. И вот, сыздетства знакомый пруд так поразил заезжего американоса, что тот за картину деньжищ отвалил—весь пруд того не стоит, вместе с мельницей, что на нём когда-то стояла.

Ещё Барскую пустошь рисовал. Место всем известное, ничего там нет хорошего. Прежде усадьба была, но её в восемнадцатом порушили, теперь и следа не вдруг найти. Берёзы старые вдоль ручья, саженные в ряд. Кусты сирени задичавшие, сами собой растут. А усадьбы и фундамент заплыл. Прежде на горушке косили, а теперь бросили, земля пустует. Под берёзами, правда, лисичек тьма бывает, а их заготконтора принимает за хорошие деньги. Так что, кто первый придёт, тому и счастье. А так—место бросовое, ненужное. А Ларион туда как на сиделки повадился. Картину сделал, называется: «Туман». Этого тумана в округе—хоть ложкой хлебай, а Лариону, вишь, на Барской пустоши понадобился. На картине тропку видать и берёзы чуть, а дальше—всё бело, глаз блазнит, а чем—не разберёшь.

Мужики смотрели, хвалили: подходяще нарисовано, только бы ты, Ларик, прояснил маленько, а то уходи не видать. Там уходи за ручьём, а на картине не разглядеть.

Один Вовка Замятин с народом не согласился. Ничего, говорит, прояснять не надо. На Барской пустоши туман сытый, глядеть сквозь него не обязательно, его пронюхивать надуть, так что всё Ларька правильно изобразил.

Скажет тоже, туман на картине пронюхивать!.. Вовка, он такой, и грибы нюхом ищет, нос, что у собаки. Опять же, пропойца, хлеба в доме неделями не бывает, тут и туман сытным покажется.

А ведь прав оказался Вовка! —нацело забеленную картину купил какой-то швед и увёз к себе... будто у него там, в Швеции, своего тумана нету.

С тех пор мужики картины смотрели, а мнения не навязывали; Ларион этому делу в академии учился и лучше знает, что рисовать и как.

Дедов портрет Ларион не продавал, дома на стену повесил, вместо фотографии. И добро бы в пиджак старика нарядил, пиджак костюмный у дедушки почти не надёванный... нет, как по дому ковылял в зайчиковой телогрее, так и на портрет попал. Теперь добрые люди станут думать, что у деда Лариона приличного и надеть нечего.

Свой художник не во всякой деревне есть. Приезжие, бывало, пугались, слыша, как деревенская тётка кричит соседке:

— Валюха! Я на пленэр пошла, коз пасти. Автолавка придёт, так ты мне шумни!

Вообще-то младший Ларион жил в городе, прописка у него была московская, и мастерская тоже в Москве. Только взрослому мужику при папе, при маме жить несподручно, а художественные студии бывают в таких скворечниках, куда ни люди нормальные не вселятся, ни офис самый задрипанный не въедет. Может, потому Ларион и не измосквичился. Оно давно известно, кто с родных мест во что бы то ни стало в столицу перебраться хочет, тот, может, успеха и добьётся, но скурвится очень быстро. Москва на это дело беспощадная, ни талант не спасёт, ни умище, высосет столица приезжего, что паук муху, и наполнит пустую шкурку всякой бестолковщиной. Это и называется: измосквичиться.

Вот ведь странное дело, в московской квартире человеку не живётся, а в дедовом доме—пожалуйста! В художественной мансарде, куда шесть этажей взбираться по засранной кошками лестнице, ему не работается. А в пронавоженном хлеву бабкину козу рисовать—в удовольствие. Коза в полутьме едва белеется, одни глаза—жёлтые, безумные—на виду. И рога над ними изогнутые; не понять, то ли Мотрина коза, то ли чёрт рогатый. Любит Ларион нарисовать так, чтобы народ с прищуром глядел. А без прищура не сразу и додумкаешь, что там на картине? Хотя всё рисовал по правде, натуру не исказивши. Живопись штука мудрёная, к ней тоже талант нужен и обычка.

По весне вновь привадило Лариона ходить с мольбертом на Барскую пустошь, ту самую, где туман сытый. Проталины рисовал, лес в стьлой, словно бы стальной дымке. Потом дымка стала зелёной, а среди жухлой, теим летом не выкошенной травы зажглись звёздочки мать-и-мачехи. Картины не получалось: весной хватает времени и сил разве что на этюды, так быстро меняется мир вокруг. Мгновение—и серое прошлогоднее быльё скрылось под солнечным ковром одуванчиков, и только двухметровые стебли коровяка упрямо торчат к небу, напоминая, что ещё недавно всё было серо. Чтобы весну написать, нужна юоновская палитра, но не успеешь вжиться в солнечное ликование, как одуванчиковый косогор поседеет, а лес—напротив, сменил чуть заметную зеленцу на прочную листву. Мучайся, грызи от бессилия деревянный конец кисти, лови неуловимое...

За косогором вроде голоса слышались. Ларион обернулся. Так и есть, мужики идут: Володька Замятин и Генка Проглот. Проглот— не фамилия, а прозвище, бог весть когда прилипшее. Обычно эти двое с утра картошку старухам содят, под борозду, а после обеда пропивают заработанное, а сегодня, никак, пустой день выпал, вот и пошли

в лес за сморчками. Далековато ушли, ну да Вовка длинноногий и лес знает до последнего куста. С ним в паре ходить прибыльно.

— Ишь он куда забравши!.. — пропел Генка, подходя. Глянул Лариону через плечо, похвалил:

— Ничо, подходяще нарисовано, похоже. По чём продавать станешь?

— Сколько дадут, — привычно ответил Ларион.

— Я бы и копейки не дал, — изрёк приговор Генка.

Он ещё раз критически оглядел этюд, недоверчиво покачал головой.

— Одного я не пойму... Чего тебя сюда потянуло? Ближе одуванчиков не нашёл? Лес везде одинаковый, одуванчики одинаковые, — хрена ты сюда болотом три версты ноги топтал?

— Сам ты везде одинаковый, — прервал приятеля Володька. — У това краю только зайца встретить можно, да ещё барсука на росчищах. А тута в ужоже медведица бродит с медвежонком. Есть разница, а?

— Так её ж, медведицы, на картине не видать!

— Это тебе не видать, а мне очень даже. Вона лес какой сторожий. Опять же, у деревни луг в стёжках, кто-нить да прошёл, а тута цвет нетоптанный.

— Это мы сейчас исправим. Спускаться начнём — всё перетопчем.

— Я те перетопчу! Вон туда пошли! — Володька махнул рукой в сторону деревни.

— Ты же говорил, в берёзах у ручья сморчков много бывает.

— Ошибся. А вот на лесопосадках вдоль канавы строчки должны быть. Там доберём.

Глаза у Вовки раскосые, смотрят ласково. Так глядеть умеют только самые непутёвые мужики. Улыбка добрая, а зубы остались через один, чёрные от табака и палёной водки. Когда Вовка в запое бриться забывает, бородёнка растёт клоунами. И какой проезжий татарин подарил новгородскому мужику свою внешность? — этого и прабабушка не ответит. Вовкин бы портрет написать, да только позировать он не станет. Выцыганит на бутылку и пойдёт куролесить.

Ларион улыбнулся благодарно и вернулся к этюду. Приближалось то время, ради которого он приходил сюда.

У весенней быстротечности есть одно дивное исключение: бесконечно длинные, за полночь тянущиеся вечера.

Осеннее предвечерье исполнено тревоги. Солнце ещё порядком высоко, но лучи его напитаны грядущей тьмой. Чтобы такое написать, потребна не юоновская кисть, а Куинджи. Птицы

примолкают, и лишь последний кузнечик отчаянно стрекочет. Что уж тут, всё равно пропадать! Солнце торопится упасть, и едва оно сплющивается о горизонт, как землю поспешно заливают чернота. Неважно, что ещё несколько минут край неба будет окрашен тяжёлой закатной кровью, внизу уже ночь, молчаливая, не обещающая ничего, кроме прихода зимы.

Весной всё не так. Даже самая полуночная тьма дрожит недремлющим светом. Ночь поёт, гремит, свищет, стрекочет... всякое дыхание спешит восславить свою любовь. И всё же, хотя никто в округе не спит, кроме разве что глухих человеческих существ, в мире царит ночь. Светло, да не видно; видать, да неразборчиво. Чудится, дразнится, кажется, мстится... Иной раз такое углядишь, что и сам не поймёшь: было — не было; видал или примечталось.

Подрамник с холстом, где «подходяще» изображены нетоптанные одуванчики, давно лежит в стороне, а на мольберте установлен другой, заранее подготовленный холст. Ларион едва ли не на ощупь смешивал краски, стараясь перенести на кусок холста то, чего сам толком не видел. Мерещится, чудится, блазнится, грезится...

Как краской передать непроницаемую прозрачность ночного воздуха? Для ремесленника тут нет вопроса: масло долой, берись за лак, пиши лессировками, и всё будет о'кей! Краска на лаке полупрозрачна и даст нужный эффект. Глубина будет настоящая — на полмиллиметра. А если нужно на полвселенной, тогда как? Моне лессировок не признавал.

Домой Ларион шёл утром, наблюдая, как от прикосновения солнечных лучей разжимаются крепкие кулачки одуванчиков и махонькие земные солнышки глядят на небесного брата.

Бабушка уже встала и обряжалась по хозяйству: запаривала комбикорм поросёнку и курам, козу выгнала побегать в заглохший сад. Дед ещё спал, его вообще последнее время кидало в сон: и днём, бывало, приляжет, да и не один раз. Бабушка не ругалась: чего на старого шуметь — не мешает, и ладно. А Лариона встретила воркотнёй: «Опять всю ночь гулял, непутёвый? Иди, там тебе молока оставила на столе, пей, пока тёплое».

Ларион прямо из банки выпил пол-литра парного козьего молока. Потом расставил мольберт и водрузил на него свою ночную работу. Отошёл на шаг, разглядывая, что получилось.

Нет большего испытания для ночного пейзажа, чем выставить его на яркий солнечный свет. В едином мазке соврешь, и вся картина, которая в полумраке казалась ожившей сказкой, обра-

тится в мазню, вместо тёмного света останутся умбра и сажа, нанесённые неверной рукой.

Ларион долго стоял, глядя на то, что просвечивало сквозь плывущую с картины ночь. Заскрипела дверь, бабушка, управившись с хозяйством, вышла в горницу, встала рядом с внуком, тоже пристроилась смотреть.

— На Барскую пустошь ходил?

Ларион молча кивнул.

— Оно и видно. Похоже нарисовал. Только крыша малость покруче была, на такую, как у тебя, зимами снега наваливать станет.

— Я думал, усадьба на холме стояла.

— Скажешь тоже... на юру дом ставить. Туточки она и стояла, в самый раз. Холмом её от гнилого угла прикрывало, а на юру ветром из дома тепло выдует, дров не напасёшься. Так что у тебя всё как надо, токо крыша кручей была.

— погоди, — опомнился Ларион. — Ты-то откуда знаешь, как там и что? Ты родилась, усадьба уж сгоревши была.

— Мама рассказывала, прабабушка Клава. Она в девчонках туда часто бегала. Ольга Юрьевна там жила, добрая барыня. Она у мамы землянику покупала, малину лесную. Однажды попросила цветов нарвать, луговых. Мама-то старалась, цвет к цветку сложила плотно. А Ольга Юрьевна ей говорит: «Нет, милая, так только венки плетут». Цветочки все расшебуршила, чтобы каждый по себе красовался, и травок полевых, кукушкиных слёзок добавила. У травы стебельки надо подлиннее, чтобы цветам не мешало, а поверху было.

Ларион кивнул. Он и сам, собирая порой цветы, подбирал их в пёструю гамму и непременно добавлял в букет высокой луговой травы, чтобы овсец или кукушкины слёзки создавали над головками цветов прозрачное дрожащее облако. Сам бы и не припомнил, кто его научил этому... кажется, искони так было. А оказывается, вот откуда идёт семейное искусство составлять букеты.

— И всё-таки, — напомнил Ларион, — что же тебе прабабка Клава так подробно рассказывала: и крыша какая была, и всё остальное?

— А ты как думал? Ты на картинку-то свою глянь. Вроде как ночь на ей, а всё видать: и крышу разобрать можно, и наличники. Думаешь, ты один такой в роду умный? Токо ты кисточками своими рассказываешь, а мама — словами. Но тоже, если присмотреться, всё видать было.

— Мотря! — донёсся с улицы крик соседки. Гляди, кудой твоя Беляна впёрлась!

Бабушка заполошно кинулась призывать к порядку Беляну, а Ларион ещё долго стоял перед

мольбертом, с которого смотрело на него ночное видение. Размышлял об услышанном. Он-то полагал, что ему достался пронзительный дедов взгляд, а выходит, что к дедову взгляду ещё и прабабушкино умение.

Не гордись собой, гордись семьёй. Но помни, кому много дано, с того много и спросится. Вот и думай, куда влечёт предками выпестованный дар, гадай, что сумел увидеть этой ночью? Ещё вчера не было ничего, а сегодня, не страшась яркого солнца, красуется на мольберте полотно, и оттуда сквозь живую весеннюю ночь проступает порушенный едва ли не век назад барский дом, усадьба графов Отрадиных. И даже ночничок в одном из окон вроде бы мерцает. Кому там не спится? — неужели доброй барыне Ольге Юрьевне? И что за дело до былых страстей Лариону Фомину? У него в роду графьёв не бывало, всё больше крепостные мужики, да и те не графские были, а чёрт знает чьи. Или это не даёт покою давний урок, преподанный босоногой девчонке: как должно собирать в букет полевые цветы...

Козе Беляне и в голову рогатую не могло войти, что её диковатая морда в полумраке бабушкиного хлева на аукционе в Манеже будет куплена за две с половиной тысячи зелёных. Зелень коза уважала, но совсем иного рода, американские доллары оставляли её равнодушной. А для Лариона успех на аукционе обернулся не только получением приятной суммы, но и крупным заказом, о каком другие художники только мечтать могут. Роспись конференц-зала в пятизвёздочном отеле — это тебе не персональная выставка, хоть бы и в областном центре. Это деньги, причём понастоящему серьёзные. Точные условия договора являются конфиденциальной информацией, так что незнающий — пусть гадает.

Сама роспись делалась кистью, а не с помощью аэрозольного баллончика, как сейчас многие любят. Стены украшались русскими пейзажами, без лубочных хороводов, безо всяких красных молодцев и добрых девиц. Работал не халтуря, и получилось подходяще, как сказали бы на деревне. Стыдиться нечего. Гордиться тоже особо нечем. Зато — деньги. Большие.

В деревню Ларион вернулся уже осенью. Отдыхать. А вернее, навёрстывать упущенное за денежной работой. Бродил по окрестностям, взглядывался в пожухлую серость некошенных лугов и праздничные пятна отав, там, где кто-то прошёл с косой, готовя сено непроданной покуда Бурёнке. Ходил на лесосеку, писал раздолбанную лесосеку.

возами колею, грязь и древесный лом. С набиркой и этюдником бродил по брусничнику. Капа Фомина, двоюродная тётка, рассказывала: «Ларьку нашего сёдни в лесу повстречала. На пенёчке сидит, карандашиками цветными чиркает, ровно дитя. А ягод в набирке вот стоконько, на два пальца. Я старуха, и то какую корзинищу приволокла, а у него картиночки на уме. Картинки картинками, кто их ещё купит, а ягоду всегда продать можно. Да и самому пригодится, зима длинная, всё подберёт».

Дед тоже был недоволен. На зиму Ларион-младший берёзовых дров купил—две полных коляски, а колоть и окладывать подрядил Вовку с Генкой. Здоровый парень, мог бы и сам, так нет, уселся на чурбачок и стал рисовать, как другие работают. И Мотря тоже хороша, защищает бездельника: ему, мол, руки беречь надо. Работа рук не портит, а бар у нас в роду век не бывало. Бары, вона, за Пашиной ухожей жили, да повывелись. Одна пустошь осталась.

На Барскую пустошь Ларион ходил частенько. Осенние дожди налили колеи водой, добираться приходилось в резиновых сапогах. Лесники и егеря, пробившие лесные колеи, теперь тоже въехать в лес не могли. Они оставляли машины по деревьям под присмотром старух и, обратившись в охотников, топали в ухожу своим ходом. Берегись боровая птица и заяц-горюн, грохают в осеннем воздухе меткие выстрелы...

*Зайка серый,
Куда бегал?
В лес зелёный.
Что там делал?
Помирал.
Кто стрелял?
Ларион?
Нет, не он.*

Дедушка Ларион за гумнами сидит, караулит зайку воровского, что за капустой крадётся. А внучок Ларион—живописец, а не живобоек, от него никому вреда нет. Даже лиса-огнёвка, увидав, чем Ларион занимается, в лес не метнулась. Мышковать бросила, хвост трубой распушила, красуется: давай, рисуй как следует быть.

Призрачная усадьба на Ларионовых картинах больше не появлялась, но что-то он там видел, потому как ходил задумчивый, а однажды собрался и поехал в райцентр, знаменитый на всю Новгородчину мастерами, рубившими бани и колотившими дачные домики.

Местный предприниматель богатого заказчика выслушал, нимало не удивившись. Кто платит, тот и заказывает. Пощёлкал на куркуляторе, назвал сумму—не точную, а порядок величины. Точные

суммы в прејскуранте на типовые изделия, а тут заказ персональный, на него цены отдельные, с кондачка их не определишь. Вроде бы частности, но от них цена очень зависит. Вот, скажем, лес, из которого строить. Если брать первый попавшийся, то строительство выйдет по восемь тысяч за квадратный метр. А если брать лес просушенный, то дороже. А можно стены из клеёного бруса класть, но это окажется дороже чуть не в десять раз. Зато и дому сноса не будет; так что некоторые заказывают. Но я рекомендую из обычного бруса—самая прогрессивная технология, и цена та же, что и у кругляка. Итак, что решаем? Заранее просушенный кругляк... хорошо, записываем. А зачем непременно нужна тесовая крыша? —металлочерепица или, скажем, ондулин практичнее и в конечном счёте выйдет дешевле. Нет? Хорошо, будет тесовая. Стены тоже тёсом обшивать? Вагонкой наряднее... вы на рисунок-то поглядите, на фотографии... Вот и отлично, значит, вагонкой обошьём. Резьбу: потолки, карнизы, балкон—это уже с мастерами договаривайтесь; работа тонкая, художественная... ну, конечно, вы это лучше меня понимаете. Мастеров предоставлю самолучших, такой заказ бывает не часто, а им тоже бытовки колотить скучно. Вот посмотрите, этот узор называется «ромб», а этот—«паутинка». На потолок в большом зале очень рекомендую. Наружные стены в какой цвет красить? Натуральное дерево оставить? Отлично. Но тогда нужна пропитка, чтобы не сгнило всё в первый же год. Мы используем «антижук». Нет, что вы, он не только против короеда, просто мы его так называем, а официальное название: «Антибиозащитный состав КСД». Ещё советую морилку. Дерево всё равно будет темнеть, а так цвет не серый, а приятнее. Хотите, можно специальным лаком покрыть для наружных работ... что вы, лаки бывают ненавязчивые... впрочем, это дело неспешное, потом попробуйте на отдельной дощечке: понравится, так и сделаем... Ох, что ж вы так далеко строиться задумали? Могу местечко порекомендовать замечательное: у самого озера, и бор вокруг сосновый... нет, что вы, я не настаиваю, где скажете, там и построим. По зимнику материалы завезём, чтобы дорогу не портить, а к августу под крышу подведём. Тут вроде от Гусева просёлок есть? Ага... и два километра по лугу. Я смотрю, тут на карте ручей обозначен, там как, проехать можно? Ну, если жигулёнок проходит, то наша развозка тем более пройдёт. Всё-таки далековато вы решили строиться, зимами придётся сторожа держать, а то вам весь дом разграбят. Напьются местные пацаны и пойдут бомбить. Я понимаю, что там пять километров, а всё-таки побережью не мешает. С электричеством как

будете обходиться? Линию за пять вёрст тянуть себе дорожке станет. Я советую собственный генератор, на солярке. Вот тут, где службы, поставить. Это конюшня, я так понимаю, в ней гараж будет... это банька, а вот сюда впишем сарайчик бревенчатый, и в нём—генератор. Кабель незаметно проведём, чтобы внешний вид не портил. Кстати, как насчёт водопровода? Здесь у нас родник, насос поставим...

Услышав прикидочную сумму, Ларион охнул внутренне, но не отступил. Прощай отдельная московская квартира и приличная иномарка взамен задрипанной семёрки. И с поездкой в Италию он тоже в пролёте. А впрочем, много ли в Италии корысти? Вон, Сильвестр Щедрин—какой талант был! — а уехал в Италию—и что осталось? Этих гаваней в Сорренто, что собак нерезаных. Нет уж, где родился, там и пригодился, обойдёмся без итальянского полдня.

Есть такой поганенький анекдотец: «Папа, а почему мы в говне живём? — Родина, сынок!»

Так вот, не хочешь жить в говне—бери лопату и разгребай. А если предпочитаешь сбежать в Сорренто и оттуда кривить мордашку на российское убожество, то—скатертью тебе дорога. Только тогда нечего корчить из себя русского. Продал первородство за гамбургер—ну и жри.

Восстановить пригрезившуюся усадьбу стало для Лариона неотвязной мечтой. На всю Россию сохранилось ныне десяток барских имений, прославленных некогда своими обитателями. Михайловское, Болдино, Спасское-Лутовиново... ещё пяток святых мест. Шахматово даже заново отстроили после революционного разгрома. А остальные места—кто их будет восстанавливать? Жили люди, не последние в отечестве,—а не стало, и памяти нет. А ведь их было много... Посреди серого армячного моря, промеж курных изб, пьянства и скучного мата поднимались дворянские усадьбы—островки настоящей красивой жизни. Там читали книги, звучала музыка, ходили изящные женщины и нарядные дети. Тысячи, десятки тысяч усадеб—очаги культуры, просвещения, грамотности и гуманизма... Как же, держи карман шире! Из этого очага простому человеку разве углей калёных отсыплют. Культурные, тонкие, образованные обитатели усадеб—именно они разделили мир на себя, любимых, и на рабов. А потом удивлялись, что мир раскололся. В своей книжной учёности они наивно верили, что есть «миръ» и «миръ». А безграмотные рабы произносили два эти слова одинаково и разницы между ними не видели. И когда распался миръ, то и мира не стало. И в ответ на музыку, льющу-

юся сквозь иллюминированные барские окна, из тьмы полетел кирпич. Тот, у кого отняли право быть человеком, швыряя булыжник, не думает, что его камень кинут в человеческую жизнь. Скульптор Шадр показал это как никто другой.

Самое обидное, что снесло усадьбы с лица земли как раз в ту пору, когда они худо-бедно, но начали исполнять роль очагов культуры. Жаль, что худо-бедно, жаль, что поздно.

Есть в русском языке красивое слово: «интеллигенция». И сейчас в культурных кругах спорят, что бы могло значить это слово? Чем интеллигент отличается от образованца? И, главное, чем он отличается от культурного человека? Синонимы, говорите? В русском языке синонимов нет, хоть в малом, но схожие по смыслу слова различаются. Интеллигент—это тот культурный человек, который чувствует неразрывную связь с народом и ради народа трудится. Это не западник, что с высоты своей культуры презирает грубого мужика, но и не славянофил, готовый на алтарь возносить посконные рубахи и овсяный кисель, которого в жизни не пробовал. Это отчисленный за крамолу студент, пошедший в сельские учителя, барыня, пользующая детишек в земской больнице, отставной офицер, открывший личную библиотеку для всех желающих. Немного их было, мало они успели сделать к тому времени, когда вместе с толпой никчемушников были сметены долой. И теперь некому зажигать хотя бы и слабые огоньки культуры промежду тёмных деревень.

«Культура» изначально—«земледелие», ведение сельского хозяйства. Помните об этом, господа, полагающие себя культурными.

Эти и многие иные правильные слова повторял в уме Ларион, не признаваясь даже себе самому, что затеял стройку потому лишь, что не мог её не затеять. Если не я, то кто? Ни в ком больше не осталось памяти о былой жизни на нынешней пустоши.

Как и обещано, к августу дом подвели под крышу. Местные работники были недовольны, наперебой доказывая, что они сделали бы дешевле и быстрее, но Ларион слишком хорошо знал односельчан, чтобы верить их рассказам. Кто по правде работать мог—давно в бригаде, что до остальных, они только на словах молодцы. А как до топора доходит, то с утра голова болит, и работа на ум нейдёт. Значит, надо с хозяина требовать на опохмелку. А как похмелился, тут работе и вовсе конец, потому как одной всегда мало. Так бутылочка за бутылочкой и пропьют весь дом, ничего не построив. Нет уж, предприниматель, конечно, мироед, зато и работа у него кипит.

Домина получился громадный: в центре—двусветный зал, украшенный камином; на втором этаже — восемь жилых комнат, которые отапливались четырьмя изразцовыми печами; одноэтажный кухонный флигель с русской печкой—там же и столовая в русском стиле со стругаными скамьями и сосновым столом. Второй флигель—холодный, для просторного летнего житья. Стены в зале и парадных комнатах убраны штофными обоями и резными деревянными панно, на потолках—фирменная паутинка, полы шашечками из дуба и чёрной ольхи. Не подвёл мироед, сыскал мастеров, которым искусство дороже заработка. Вместе с ними и Ларион сидел, слушал, вникал, не жалея рук, резал липу и чёрную ольху, которая имя получила за цвет коры, а древесину имеет розовую, какую и в индонезийских джунглях не сразу сыщешь.

Одному жить в таком доме незачем, да и невозможно, так что умные рассуждения о возрождении очагов культуры очень пригодились и должны были воплотиться в жизнь. Привезти концертный рояль, устроить в двусветном зале художественную выставку, для начала—свою, а там—как получится. Детишек из городской школы искусств привозить на зимние каникулы, а то и летом. Далековато до города, почти сорок километров, но ничего, пусть привыкают. Пригласить кое-кого из художественной братии, но только тех, кто, очутившись на свежем воздухе, не станет напиваться в хлам и тушить хабарики о резные панели. Да мало ли как ещё можно использовать восстановленную помещицью усадьбу? Было бы желание, найдётся и дело.

А пока наступил первый вечер в отстроенном доме. Уехали резчики, обойщики, столяры. Грузчики, привозившие мебель в те две комнаты, что Ларион предназначил для себя, всё расставили и укатили в своём фургоне, захватив по дороге Анну и Лизу—гусевских тёток, подрядившихся намыть полы во всех комнатах и развешать пошитые на заказ портьеры. Замолк в сараюшке генератор, наступила тишина, такая же чуткая, как и два года назад, когда дом чудился лишь воображению художника.

Ларион вышел на воздух, по дорожке, уже изрядно протоптанной, поднялся на склон, с которого писал когда-то картину. Дом стоял совершенно такой, как привиделось два года назад. Разве что крыша «малость покрутей», чтобы не наваливало зимами снежные холмы. Солнце уже село, но майская непотухающая заря весь мир заливала чудным обманным светом. Ночь

пела на разные голоса, щёлкала, стрекотала, свистела, звонко брекотала лягушками.

Дом стоял, прикрывшись от гнилого запада холмом, сбережённые берёзы вдоль ручья готовились одеться в листву. Со стороны голого склона усадьба огорожена штакетничком, и возле не запирающейся калитки наклонно вкопан огромный камень, живо напоминающий картину Васнецова. Направо пойдёшь... налево пойдёшь... Камень нашли, когда расчищали площадку для строительства. Бульдозерист из местных, занятый планировкой, прибежал с сообщением: «Там, никак, могила! Камень лежит, а на нём—буквы!» Камень перевернули, надпись расчистили, и Ларион вздохнул с облегчением: на розовой гранитной плите красовалось название усадьбы: «Отрадное». И хотя плита удачно ложилась в фундамент, находку оттащили в сторону, а потом вкопали при въезде, как, должно быть, она и стояла сто лет назад.

А случись на этом месте могила? — не станешь же строить дом на чужих костях. Ларион не был суеверен, но тут уже не о суевериях речь, а о собственной душе.

Осенью вдоль ограды посадят жасмин и кусты белой сирени, а пока придорожный камень стоит одиноко, указуя путнику: «Прямо пойдёшь—будет тебе отрада».

В ночном лесу, перекрывая песнопения соловья и хор лягушек, что-то протяжно заскрипело, деревянно хрустнуло и громко рухнуло, так что ногам передался толчок: «Бум!» И следом — обиженное: «Э-э!..» — в котором воедино слились боль, жалоба и разочарование.

Ларион улыбнулся. Надо же, не ушла медведица! А он боялся, что перестук молотков, визг бензопилы и прочий строительный шум отпугнёт соседку. Ан нет, пришла тишина, и медведица вернулась на знакомые уголья. И сейчас, по всему слышать, её мохнатое дитяtko полезло на дерево, да сорвалось, грянув толстым задом о землю. Ничего, до свадьбы заживёт, если раньше не прикончат подростого дитяtko понаехавшие охотники.

*Вдруг охотник выбегает
И в кого-нибудь стреляет!
Пиф-паф! Ой-ё-ёй!..*

Казалось бы, должно быть страшно: серьёзный зверь бродит в округе, да ещё и с детёнышем, а в душе никакой тревоги. Это в городе надо пугаться тёмных подворотен и затхлых лестниц, там водится опасное зверье: грубо-материальное, с заточкой в рукаве, и призрачное, порождённое большими мыслями скученных людей. А в лесу

всё просто: я тебя не трогаю, ты—меня. Главное, не сослеживай соседа, чтобы он не подумал на тебя дурного. Но тяжёлая звериная вонь у любого следопыта отобьёт охоту любопытствовать.

А так с медведем можно в одном малиннике ягоду брать: здесь ты сквозь ветки ломишься, неподалёку он чавкает—чего нам делить? Ягод, что ли, не хватает?

Ларион перевёл взгляд с леса на дом и замер. В окне второго этажа, в одной из нежилых покуда комнат, мерцал огонёк ночника.

Заворожённо Ларион двинулся на свет. Холодно было в груди, но притягательная сила огонька превышала страх. Об одном жалел: была бы сейчас в левой руке палитра, а в правой кисть, шёл бы бестрепетно, улыбаясь, словно воин при щите и мече. А ино не готов оказался ко встрече с неведомым, хотя и ждал его более двух лет.

На второй этаж вела деревянная лестница с балясинными перилами, и, ещё не поднявшись наверх, Ларион видел дрожащий свет в верхней прихожей. Три последних шага, и двое встретились лицом к лицу: художник Ларион Фомин и высокая женщина в тёмном платье, удивительно похожая на актрису Ермолову кисти Серова. Только правая рука видения была высоко поднята и сжимала бронзовый подсвечник, на котором горела одинокая свеча.

— Здравствуйте... сударыня... — Ларион, не зная, что делать и как говорить, отвесил неловкий поклон.

— Добрый вечер, Ларион Сергеевич. — Дама величаво кивнула. — Не напугала вас? Вы проходите, что в прихожей стоять...

Ларион толкнул двери комнаты, которую прочил себе под кабинет, сделал приглашающий жест. Дама вновь благосклонно кивнула, первой прошла в комнату, поставила свечу на стол и, не дожидаясь нового приглашения, уселась в ротанговое кресло-качалку. Кресло колыхнулось, и это обыденное движение неожиданно успокоило Лариона.

— Простите, вы Ольга Юрьевна? — спросил он.

— Вы её помните? — оживилась дама.

— По рассказам.

— Это неважно. Здесь жило много разных женщин: красивых и не очень, добрых и не слишком. Но раз вы помните её, то да, я—Ольга Юрьевна.

Не проглядывало в госте—или то была хозяйка? — ничего потустороннего, невещественного. Красивое лицо с чуть намеченными морщинками; даме явно за тридцать, хотя в это трудно поверить. Смесь молодости и мудрого понимания, такое только в женщине встретить можно. Во-

лосы, немного подвитые или вьющиеся от природы, уложены в причёску, которую легче нарисовать, чем описать. Руки покойно лежат на коленях. Невежда никогда не знает, куда девать руки, он будет шевелить пальцами, сцеплять их, прикрывать рукой рот, как делают лжецы. Человек, знающий себе цену и умеющий себя вести, суетиться не станет. Посмотрите на гудоновского Вольтера, не на лицо, а на руки—они говорят не меньше, чем знаменитая усмешка.

Дама сидела молча, позволяя изучать себя, будто позировала для портрета. Тёмно-синее платье блестящего шифона ниспадало до пола. Белая горжетка—невинное ухищрение, чтобы скрыть морщинки на шее, первыми выдающие возраст. И ни единого украшения: ни броши, ни колье, ни даже булавки с неярким камушком. Но сквозь отсутствие пышности проглядывает истинный аристократизм, в повороте головы, в осанке. Не деревянная выучка пансионных дам, словно проглотивших аршинную линейку, а идеальная смесь природы и воспитания. Рядом с такой женщиной любая современница покажется рыночной торговкой, что ни ступить, ни молвить не умеет.

— Простите, Ольга Юрьевна, — осторожно произнёс Ларион, — я могу вам чем-нибудь помочь?

Дама улыбнулась потаённой, от глаз идущей улыбкой.

— Вы мне уже очень помогли. Я была несчастна все эти годы, а теперь у меня снова есть дом. Нет, разумеется, дом ваш, но и без меня он стоять не будет. Во мне память обо всех Отрадинах, что жили здесь.

— Я не Отрадин.

— Это неважно. Соседство благородного человека не может быть в тягость.

— Вы знаете, с благородными кровями у меня тоже туговато. Насколько мне известно, все в роду мужики. Сами посудите, имя у меня—Ларион. Дворяне больше Илларионами пишутся, а Ларионы все из крестьян.

— Честь в душе, а не в летописце. — Ольга Юрьевна вскинула голову, улыбнувшись на этот раз совершенно открыто, и озорно предложила: — А хотите я открою уж-жасную семейную тайну? Основателем нашего рода был стрелецкий голова Ларион Отрада. В шестьсот восьмидесятом году царь Фёдор Алексеевич произвёл его в дворяне московские. Так что имя Ларион меня совершенно не пугает.

— Постойте, Отрадины были графами.

— О, это уже в девятнадцатом веке! Полковник Пётр Отрадин отличился в боях с Наполеоном.

— И всё-таки, вам лично чем я могу помочь? Ведь из-за чего-то вы здесь бродите.

— Ларион Сергеевич, дорогой, мы с вами в России, а не в Англии! Неужели вы верите тому, что пишут в готических романах? Ужасные преступления, скелеты в шкафу, бряцание цепей... Ничего этого не было, и кровавые пятна на полу спальни вам не придётся выводить. Просто когда одна семья очень долго живёт под одной крышей, иногда случается такое. Возможно, если бы здесь творились ужасы и непотребства, я бродила бы сейчас, оглашая окрестности стенами и пятная стены кровью. Но мне повезло, за триста лет в этом доме не случалось ничего серьёзнее интрижек и адюльтеров. А этого недостаточно для родового проклятия.

— Но как вы будете теперь? Насколько мне известно, род Отрадиных пресёкся.

— Да, к сожалению. Я не знаю, что будет потом, а пока я хотела бы просто жить. Не беспокойтесь, я вам не помешаю. Я не умею быть навязчивой, напротив, это вам придётся постараться, чтобы я пришла. Мне самой надо так немного: крыша, тепло, возможность послушать музыку и постоять перед картиной. У вас замечательный дар, ваши картины живут.

Ларион потупился, не зная, что сказать, а Ольга Юрьевна вдруг рассмеялась, словно услышала что-то забавное.

— Ларион Сергеевич, что вы стесняетесь, право? Берите карандаш, бумагу. Я ведь вижу, как вам хочется сделать хотя бы набросок. Ну так рисуйте. Помните, вы хозяин, не надо менять своих планов ради меня. Пусть здесь будет шум, голоса; Ольга Юрьевна, которую вы помните, любила заниматься с деревенскими детьми. Художественные выставки, музыка—это жизнь. Вы ведь не станете возражать, если во время концерта я войду и присяду на краешек стула? Ваши гости меня не заметят, а кто различит—тот умеет удивляться молча.

Карандашный грифель летал над белым листом. Призрачная свеча на столе горела, не стгорая, капли воска стекали на подсвечник, но свеча ничуть не убывала.

*Ты не жги, не жги свечу сальную,
Свечу сальную, воску ярого...*

В жизни, если вдуматься, бывает и не такое. Главное, уметь удивляться молча.

Первые шаги нового культурного центра прошли почти незамеченными; Ларион не умел и не желал пиарить своё начинание. Лишь районная газета опубликовала статью, в которой ра-

достно объявила, что «история творится на наших глазах».

Призрачная Ольга Юрьевна и впрямь оказалась ненавязчива, за всё лето хозяин видел её дважды, причём один раз издали. Ольга Юрьевна прогуливалась вдоль ручья, собирая ромашки. На этот раз на ней было платье «принцесса», вошедшее в моду в конце десятых годов прошлого века. Гладкий муслин, собранный в буфы на рукавах, вместо шлейфа—воланы, горжетку заменил кружевной воротничок. Никаких ухищрений, подчёркивающих фигуру: ни турнюра, ни корсета на жёстком китовом усе. Всё просто и свободно—на радость педагогам натуральной школы. Лёгкая ярко-сиреневая материя гармонировала с жирной зеленью рогоза, с ромашками, пестрящими склон, с замшевыми туфельками, но всего более—с лицом, не девчоночьим юным, но удивительно молодым. И какие морщинки почудились художнику во время ночной беседы?

Завершающим штрихом летнего наряда была шокирующих размеров шляпа с лентами и искусственными цветами, исполненная в розовых и белых тонах. Попробуй кто в наше время нацепить на голову этакий зефирный торт, окружающие со смеху помрут. А тут сморишь и видишь—иначе быть не должно. Гармония прекрасного диктует свои законы. Вот только позвольте спросить, где молодое очаровательное привидение хранит свои туалеты?

Лариону Ольга Юрьевна кивнула приветливо, но, видя, что тот работает, подходить не стала. Не стала и нарочито позировать; подобные вещи хороши в интерьере, на воздухе надо просто гулять, а художник пусть ловит мгновение. Impression—значит впечатление от живой жизни, к позированию оно отношения не имеет. Блик на текучей воде и совсем иной отблеск струящейся материи, разница между лиловостью колокольчика и насыщенным сиреневым цветом платья—лови, замечай, останавливай мгновение.

Ольга Юрьевна ушла, когда эскиз ещё не был закончен, последние мазки пришлось накладывать по памяти.

В конце августа Лариону привезли давно ожидаемый рояль. Сам Ларион играть не умел, разве что собачий вальс и чардаш в два пальца. Но если хочешь всерьёз воссоздать поместье, рояль должен быть непременно.

В обычной квартире фортепиано кажется неоправданно большим, оно подчиняет себе всё, уничижая обыденную жизнь. В одной квартире с таким инструментом может жить только музыкант, простому человеку будет неуютно, словно

приживалке под взглядом властной хозяйки. А в парадном зале королевский инструмент оказался на месте. Ясно представлялся длинный зимний вечер при свечах... или летние сумерки, когда можно распахнуть двери на террасу, и музыка поплывёт над ручьём в сторону Пашиной ужожи, заставляя медведицу чутко прислушиваться к странным и привлекательным звукам.

Старик-настройщик долго обхаживал фортепиано, что-то подправлял, неразборчиво мурлыкал и бормотал сквозь усы. Брал аккорды и снова что-то подправлял. Потом с четверть часа играл, прислушиваясь к звучанию. Наконец сказал:

— Хороший инструмент и прекрасная акустика. Ваша супруга будет довольна.

— Почему супруга? — удивился Ларион. — Я не женат.

— Пусть не супруга, но та, для которой вы купили рояль. Сами вы играть не умеете, но по тому, как вы следили за моей работой, видно, что для вас фортепиано не просто предмет обстановки. К тому же этот дом пропитан присутствием красивой женщины. Пусть не супруга... сестра, дочь, любимая... — всё равно вам очень повезло.

Мастер уехал, а Ларион долго сидел перед раскрытым роялем, беззвучно проводя пальцем по клавишам. Безумно хотелось заиграть, чтобы музыка наполнила резную хрупкость залы. Но не собачий же вальс тренькать в такую минуту... Мучительное чувство, когда в душе звучит музыка, а пальцы способны извлечь лишь фальшивую дребедень. Такие же мучения, должно быть, испытывает человек, не умеющий рисовать, при взгляде на белый лист.

Ларион встал, распахнул дверь на террасу, впустив в помещение лиловый августовский вечер, а когда оглянулся, увидел Ольгу Юрьевну. Она только что вошла с улицы через другие двери и остановилась, стаскивая с тонкой руки перчатку. На этот раз на ней был строгий наряд, чем-то напоминающий «Курсистку» кисти Ярошенко. Оливковый жакет, табачного цвета юбка и котиковая шляпка пирожком. Впервые руки дамы жили своей нервной жизнью, стягивая лайковые перчатки, комкая их... Ларион поймал взгляд женщины и указал глазами на рояль.

Ольга Юрьевна порывисто шагнула, бросила перчатки на каминную полку, сняла шляпку... Поражала уместность этого движения — нельзя же садиться за фортепиано с покрытой головой; то, что хорошо для вечерней прогулки, не годится в ином месте.

Тонкие пальцы коснулись клавиш, инструмент откликнулся, зазвучал. В музыке не было

ничего бравурного, ничего от виртуозного мастерства или бездушной старательности. Немного грустная, но умиротворяющая, негромкая, но наполняющая собой зал, плывущая в вечерний сумрак, она изумительно подходила ко времени и месту. Всё было так, как представлялось в воображении, разве что медведицы в этот час не случилось поблизости, соседка убрела за Пахомово болото, отъедаться в черничнике, запастись жир на всю трудную зиму.

Растаял последний аккорд, но ещё долго никто не смел нарушить тишину. Наконец Ларион спросил:

— Что это?

— Шопен. Ноктюрн Шопена.

Ноктюрн, ночная песня. Разумеется, иначе и быть не могло.

Ольга Юрьевна развернула круглый стул, оборотившись лицом к хозяину.

— Ларион Сергеевич, что за кустики посажены у вас вдоль дорожки? Я таких не знаю.

— Это японская айва. У неё есть какое-то специальное название, но я его опять забыл. Весной она цветёт большими оранжевыми цветами, а осенью на кустах появятся вот такие айвинки, ярко-жёлтые, кислые и замечательно ароматные.

— Чудесно! Не то, конечно, чудесно, что кислые, я всё равно не могла бы их попробовать, но зато аромат — это для меня. И цветы тоже. Раньше на том склоне, что ивой зарос, был сад. Яблони, сливы и очень много вишен. Вишни бывало столько, что собирать не успевали, половину воробьи расклёвывали.

— Вишнёвый сад...

— Ларион Сергеевич, что вы говорите? Вишнёвым бывает варенье, а сад — вишнёвый! Вишнёвый сад Антоша Чехонте придумал. Хотя, наверное, теперь все так говорят, ошибка гения становится нормой для будущих поколений. Но я человек старой выучки, для меня сад бывает только вишнёвый.

— Хорошо. — Ларион кивнул. — Когда-нибудь на том склоне непременно появится вишнёвый сад.

На улице уже почти стемнело, проснувшийся юго-западный ветер тащил с гнилого угла первую тучу, обещавшую скорый приход осени, но в зале на бронзовых канделябрах вспыхнули призрачные свечи, и стало светло.

— Ольга Юрьевна, — попросил Ларион, — а вы не могли бы ещё сыграть? Хотя бы то же самое.

— Можно и другое. То был девятнадцатый ноктюрн ми минор, а это — семнадцатый, до-диез минор.

На этот раз звуки были глухо рокочущими,

под стать идущей с запада туче. Чудилась скрытая тревога, боязнь приближающейся тьмы. И Ларион ничуть не удивился, когда сквозь аккорды различил натужный звук автомобильного мотора. Машина на самой малой скорости переезжала вброд ручей, отделявший усадьбу «Отрадное» от остального мира.

Музыка усилилась, словно хотела заглушить, оттолкнуть, прогнать чуждый звук, но двигатель взрывал всё отчётливее, ближе, наконец внизу проскользнул отблеск фар, и, окончательно обкусив музыку, хлопнула автомобильная дверца.

— К вам гости, — произнесла Ольга Юрьевна, отступая в тень.

Внизу зашарил фонарь, должно быть, гости искали звонок, потом в дверь застучали. Колотили громко, по-хозяйски, не оставляя ни малейшей надежды не слышать стука. Ларион вздохнул, зажёл электричество и пошёл открывать.

Почему-то он был уверен, что приехала милиция, кто ещё может так властно стучать? — но четверо одетых в штатское мужчин явно не собирались предъявлять никаких документов. Один из них оттеснил Лариона в сторону, и все четверо прошли внутрь.

— С кем имею честь? — спросил Ларион. Бесцеремонные визитёры ему крайне не понравились, но сходу сменить манеру разговора он не сумел, продолжая изъясняться, словно житель минувшей эпохи.

Лариону не ответили. На него обращали внимания не больше, чем на предмет мебели.

Один из незваных гостей, невысокий и полненький, с улыбочивой мордашкой, держал в руках отблёскивающий никелированными замками дипломат. Трое других — явные мордовороты — явились с пустыми руками, лишь у одного имелся мощный фонарь. В первую секунду могло показаться, что коротышка и есть главный, но Ларион быстро заметил, что один из мордоворотов выглядит слишком сытым и беспечным, и значит, хозяин именно он.

— Кто вы такие, что вам от меня нужно? — повторил Ларион.

— Кто мы такие? — переспросил откормленный. — Нехорошо, начальство нужно знать в лицо. На первый раз ступайка, братец, на конюшню, да скажи, чтобы выпорол!

Гости хохотнули шутке, а толстячок счёл наконец нужным объясниться:

— Перед вами владелец усадьбы, его светлость граф Валерий Отрадьев.

Этого Ларион ожидал менее всего. Лишь после постыдно длинной паузы он выдавил:

— Никаких Отрадьевых в природе не существовало. Здесь когда-то была усадьба графов Отрадиных, но её сожгли ещё в восемнадцатом году.

— Он будет меня просвещать по поводу моих предков, — процедил откормленный, усаживаясь в кресло-качалку, в котором любила сидеть Ольга Юрьевна. Весной Ларион стащил лёгкое кресло вниз, всё лето оно простояло на террасе и лишь недавно было перенесено сюда. Когда-то Ольга Юрьевна тоже уселась в кресло без приглашения, но это было правильно, естественно и само собой разумелось. Женщина и должна садиться, не ожидая особого приглашения. И вообще, каждое появление Ольги Юрьевны выглядело уместно и удивительно естественно, как ни странно выглядит это слово применительно к призраку. Во время их второй встречи на террасе, когда они беседовали о лунном свете, Ольга Юрьевна тоже сидела в ротанговом кресле. А сейчас в нём развалился чужак и, не спросив, задымил сигаретой.

— Здесь не курят, — сказал Ларион.

— Хамит, — заметил Отрадьев, выпустив в сторону Лариона струю дыма. — Он ещё ничего не понял. Борис Яковлевич, объясни ему популярно.

— Граф Валерий Андреевич Отрадьев, — проникновенно начал толстячок, — решил восстановить свои права на родовое имение. Заметьте, его сиятельство не стал требовать возмещения убытков, а попросту выкупил у государства и без того принадлежащие ему земли...

— Урочище «Барская пустошь» выкуплено мною три года назад! Все документы оформлены по закону и зарегистрированы в земельном кадастре!

— Сортир у тебя где? — подал голос его сиятельство.

— Удобства во дворе, — мстительно произнёс Ларион.

— Так вот, сходи во двор и подотри свои документы.

— Возможные права третьих лиц на эти земли — аннулированы, — с готовностью подтвердил Борис Яковлевич. — Мы не захватчики, а действуем строго в рамках закона. Но даже просто в рамках обычной человеческой морали сейчас восстанавливается историческая справедливость: граф Отрадьев возвращается в своё родовое поместье, дворянское гнездо, можно сказать!

— Какая историческая справедливость? Род Отрадиных давно пресёкся, а у вашего... клиента и фамилия другая! Здесь жили Отрадины, а он, как вы сказали, — Отрадьев.

— Это вы не в материале, — с готовностью закивал Борис Яковлевич. — В древних летописях часто встречаются разные написания одного ро-

дового имени. Порой даже появляются двойные фамилии: Белосельские-Белозерские, Драко-Драковичи... и, скажем, Бонч-Бруевичи. Аналогичная история и здесь: Отрадьевы-Отрадины. Причём, прошу заметить, Отрадьевы—старшая ветвь древнего рода.

— Не было никаких Отрадьевых! — закричал Ларион. — Отрадины—не столбовые дворяне, их нет ни в Белой, ни в Бархатной книгах! Так что древние летописи можете не поминать.

— Видали, — саркастически заметил Отрадьев, — он и в моей родословной разбирается лучше геральдической комиссии. Не тебе, быдло, рассуждать о дворянских корнях. У меня в роду соток поколений благородных предков, понял?

Ларион не успел ответить, потому что в эту минуту в зале объявилась Ольга Юрьевна. Она не вошла в двери, а возникла ниоткуда, шагнув к развалившемуся в кресле Отрадьеву.

— Милостивый государь, вы самозванец! Извольте выйти вон!

Отрадьев щелчком отправил окурочок в камин, прямо сквозь призрачную фигуру. Мордвороты у дверей остались неподвижны, и даже пронзливый Борис Яковлевич продолжал поглаживать свой дипломат. Ни один из незваных гостей не обратил на призрак ни малейшего внимания, они попросту его не видели.

— Прочь отсюда!

Отрадьев щёлкнул зажигалкой и закурил новую сигарету.

— Прочь! — Ольга Юрьевна попыталась дать пощёчину новоявленному родственничку, но рука прошла сквозь выбритую щёку, не коснувшись её.

Рассчитывать на действенную помощь Ольги Юрьевны не приходилось.

— Послушайте, — произнёс Ларион, — я не понимаю, чего вы добиваетесь. Всем известно, что усадьба была сожжена во время революции. В течение восьмидесяти лет здесь была пустошь. Бросовые земли, последние годы тут даже не косили. И усадьба восстановлена мною, строительство закончено в этом году. Это тоже известно всем, так что ваши претензии...

— Кто такие «все»? — поинтересовался Борис Яковлевич. — У них есть конкретные имена? Они придут свидетельствовать в суде? Предоставят какие-то документы?

— Есть и документы. Дом строила компания «Русский лес», они подтвердят мои слова.

— М-м?... — Отрадьев поворотил голову в сторону юриста.

— Совершенно верно, — вновь закивал толстячок.

— Усадьбу восстанавливала фирма «Русский лес», владелец—господин Каштун. Я беседовал с ним на днях, и он заявил, что готов, если понадобится, свидетельствовать в нашу пользу. Документы у него в порядке: сметы, расходные ордера... я уже получил копии всех денежных документов для предоставления в налоговую инспекцию. Построить такой дом стоит довольно дорого, значит, и налоговые льготы окажутся значительными. Кстати, если господин... э-э... Фомин решит обратиться в суд, сумеет ли он объяснить, откуда у него такие средства?

Удар безжалостно точный! Информация о сумме гонорара недаром была приватной, поскольку большую часть денег за роспись конференц-зала Ларион Фомин получил чёрным налом. Собственно говоря, его даже не спрашивали, как оформлять выплату, — просто выдали толстую пачку долларов, а в ведомости предложили расписаться за совсем иную сумму. И не в баксах, а в рублях. Деньги Ларион взял, и ничто в душе не дрогнуло. Оно, конечно, незаконно, но в нашей стране попробуй жить по закону—мигом и работодатель, и работник пойдут по миру. У русского человека сыздавна привычка закон нарушать, порой даже ни о чём таком не думая. И вот аукнулось.

Ларион потерянно молчал, машинально прокручивая последнюю пришедшую в голову мысль:

«Рейдеры... Этих людей называют рейдерами. Они приходят и делают так, что твоё имущество начинает принадлежать кому-то другому. И ничего не докажешь, у этих бандитов всё схвачено, у них всё по закону. Они не воры, они грабители в законе...»

Отрадьев толчком раскачал кресло и, запрокинув голову, проговорил мечтательно:

— Здесь будет мой охотничий домик. Говорят, в этих местах прекрасная охота. Медведи, лоси, кабаны... Всю жизнь мечтал застрелить медведя, причём не просто так, а в собственных охотничьих угодьях. Гостей буду приглашать, пусть посмотрят, как настоящие бары живут. Дом оформлен миленько, хотя, конечно, обстановкой придётся подзаняться. Чучело медведя поставлю, а в кабинете—вепрячью голову. На стенах портреты предков... Эй, мазилка, хочешь заказ на портреты? Не, где тебе, рылом не вышел. Так-то... Дом, конечно, обошёлся дороговато, так что ты, Борис, молодец, что о налоговых льготах подумал. Но главное, не деньги, главное—честь предков! Ноблез, так сказать, облиз!

— Какой у вас ноблез? — обречённо произнёс Ларион. — Титулами вроде вашего в открытую тор-

гуют. Десять тысяч баксов, и императорский геральдический комитет вместе с престололюбистелем, не помню, какой мошенник присвоил это звание, выведут ваш род хоть от самого Рюрика.

— Та-ак... — мрачно протянул Отрадьеv. — Вот он как заговорил? А я ещё собирался этому козлу хороший откат предложить... Но теперь всё, кончилось моё терпение! Забирай свою пачкотню и мотай отсюда, чтобы я больше тебя не видел!

В зале висели две картины, написанные Ларионом. Пейзаж с усадьбой, самый первый, написанный, когда здесь не было ничего, кроме одуванчиков, и жанровая сцена, где возле горы переколотых, но покуда не окладенных дров курили Володька Замятин и Генка Проглот. Отрадьеv задержался взглядом на пейзаже, буркнул: «Это сойдёт на первый случай», — а вторую картину сорвал с крюков и швырнул через весь зал под ноги задохнувшемуся от гнева и ужаса Лариону.

— Что ты делаешь, сволочь!

Ларион метнулся вперёд, охранники мгновенно сбросили сонное оцепенение, но, увидав, что Ларион кинулся не на шефа, а к картине, вновь замерли, прилипнув к стенам.

Неизвестно, что сделал бы в следующую секунду Ларион, если бы не Ольга Юрьевна. Она бросилась на колени перед картиной, проверяя, цел ли холст, но выглядело это так, словно она на коленях упрашивает Лариона во что бы то ни стало прекратить мучительную сцену.

— Ларион Сергеевич, голубчик, умоляю, уйдём отсюда!

И хотя внутри всё кипело от ярости, Ларион сумел сдержаться. Он помог женщине встать, поднял чудом уцелевшую картину и молча направился к дверям.

— Дуй отсюда, говнюк! — напутствовал его Отрадьеv. — И пеняй на себя, если снова мне попадётся!

Борис Яковлевич и один из охранников демонстративно прошли вслед за Ларионом в прихожую, где на вычурной корневой вешалке одиноко висел Ларионов зонтик.

— Ваш зонт, — напомнил адвокат. — Мы люди честные, нам чужого не надо.

Ларион выразительно посмотрел на него, адвокат приветливо улыбнулся в ответ.

На улице порывами бил ветер, с закатной стороны шла запоздалая августовская гроза.

В одной руке Ларион нёс картину и зонтик, впихнутые ему на выходе, второй придерживал за локоть Ольгу Юрьевну. Стороннему наблюдателю, неспособному разглядеть призрачную даму, должно быть, представлялось забавное зрелище. Рука Ольги Юрьевны была холодной и напоминала касание ночного тумана. Но даже са-

мый шквалистый ветер не мог унести этот туман.

— Хорошо, что вы ушли, — твердила Ольга Юрьевна. — Ужасные люди, они могли искалечить вас. Особенно парвеню, называвший себя графом.

Я думаю, он просто безумен. Какой бред он нёс о своих якобы благородных предках! Он не только не имеет никакого отношения к нашему роду, он даже не Отрадьеv. Я хорошо чувствую такие вещи. Его настоящая фамилия — Отродьин, но он сменил её уже давно, потому что она неблагозвучна. Чисто лакейский поступок... несчастный человек, но при этом его даже не жалко.

— С чего же это он несчастный? — не удержался от недоброго вопроса Ларион.

— Не может быть счастливым тот, у кого не осталось даже имени.

Первые крупные капли дождя шлёпнулись на землю. Ларион остановился в конце берёзовой аллеи, поставил картину на землю, прислонив к смутно белеющему стволу, раскрыл зонтик над головой Ольги Юрьевны.

— Ларион Сергеевич, экой вы, право, — тихо произнесла женщина, — я дождика не боюсь, за девяносто бездомных лет сколько этих дождей сквозь меня пролилось — устанешь считать. А вот себя вам поберечь надо.

— Не сахарный, — коротко ответил Ларион.

Холодный дождь не остужал тлеющую в груди ярость. Струйки воды, стекавшие с волос за шиворот, вызывали озноб, но ничуть не успокаивали.

Второй раз в жизни Лариона кинули так нагло и бесцеремонно. Первый раз такое случилось ещё в студенческие годы на излёте советской власти. Тогда Ларион подрядился оформлять территорию военного завода. На стенах заводских цехов нужно было намалевать лозунги: «На работу с радостью, с работы с гордостью!» — и прочее в том же духе. А под лозунгами изобразить вдохновенные пролетарские физиономии. Работать приходилось, болтаясь на спущенной с крыши верёвке, что само по себе не облегчало задачи. А когда задание было выполнено, Лариона просто не пустили на завод. Ларион кинулся звонить директору, но услышал в ответ:

— У вас договор есть?

— Нет, но вы же обещали — оплата по выполнении...

— Я ничего не обещаю без договора, а кто вы такой, и вовсе не знаю. Всего хорошего.

С заводом Ларион расквитался радикально: вооружившись самодельной пращой и кучей стеклянных банок с краской, залез на крышу дома, с которой просматривалась заводская территория, и заляпал безобразными зелёными пятнами всё своё

художество. А один пузырьрёк умудрился положить ровно в окно директорского кабинета. На покупку зелёной краски ушла вся стипендия, так что вместо заработка получилось сплошное разорение, но о поступке своём Ларион никогда не жалел.

А как быть в данной ситуации? Чем художник, пусть даже и добившийся успеха, может досадить Валерию Отрадьеву? Руки короткие, и праща в данном случае не поможет. Всё как в считалочке: Ларион, пошёл вон, — вот и весь сказ.

Дождь хлестал всё сильнее, обратившись в настоящий ливень, какие разве что в июне бывают. По строительной площадке, не успевшей порости муравой, бежали жёлтые от глины ручьи. Ларион измок до нитки, но упорно продолжал держать зонт над головой неуязвимой Ольги Юрьевны.

*Всю ночь сижу я и страдаю,
Темно вокруг и грустно мне.
А струйки мутные так медленно стекают
За воротник и по спине...*

По какой ассоциации припомнилась старая туристская песня? Ах да, студенческая месть заводу! А что делать теперь? Не отдавать же хладнокровному мерзавцу всё, ради чего жил последние годы? Жаль даже не денег, хотя строительство выпотрошило Ларионов бюджет вчистую. Но нестерпимо думать, что в любовно восстановленном доме будет хозяйничать тип, которого в былые годы и до людской не допустили бы. Граф Отрадьев, как язык-то поворачивается выговорить такое? А ведь ему поверят, деньги умеют уговаривать. Родовое гнездо — вот оно, пожалуйста! Портреты предков закажет у Ильи Глазунова. На охоту станет выезжать в Пашину ухажу, со сворою собак и егерей. И конечно, исполнит давнюю мечту: сидя на вышке, в полной безопасности, застрелит живущую в ухаже медведицу. Плевать ему, что это запрещено законом, он граф, и значит, в своём праве.

Прямо хоть бери дедову двустволку и устраивай засидку на барской пустоши.

Ружьё — грох! Граф — кувырк! А не ходил бы ты, граф, за чужим добром!

Как же, так ему и позволят засидку устроить! Телохраниителей видал? — профессионалы... По всему знать, не один Ларион мечтает поквитаться с обидчиком. Тьфу, даже не знаешь, как его величать: Отрадьев-Отродьев... Драко-Дракович.

Ольга Юрьевна поднялась с камушка, на который присела поначалу, встала так, чтобы и на Ларионову долю достался кусочек зонта. Они стояли недопустимо близко с точки зрения морали девятнадцатого века. Хотя что может знать мораль? Моральные императивы неприменимы ни к призракам, ни к художникам.

— Ларион Сергеевич, — тихо произнесла Ольга Юрьевна, — я догадываюсь, о чём вы сейчас думаете. Не надо этого делать. Даже двести лет назад такое уже не помогало.

— Так что же, сдаться на милость победителя?

— Ни в коем случае! Этот выскочка думает, что купил наше имя. Он полагает, что захватил наш дом и отныне ему принадлежит прошлое и будущее. Он ошибается, ему не принадлежит даже настоящее. Мы привыкли переделывать историю в угоду толстым кошелькам, но всему на свете должен быть предел. Продаётся всё, кроме чести, и сколько бы ни было денег у отродья, нашу фамилию он не купит.

— И тем не менее, — с горечью произнёс Ларион, — он сидит там, а мы мокнем здесь.

— Вот именно — мы. Я могла жить на развалинах, но оставаться рядом с этим нуворишем — выше моих сил. И я ушла с вами. У вас нет родословной, но есть благородство и честь, а это важнее. А без меня, я это говорила, дом стоять не будет. Смотрите... — Ольга Юрьевна подалась вперёд, указывая в дождливую темноту, — вон там, под берегом, прежде били родники. Криница была обустроена, берег камушками цветными выложен. Потому и колодца при усадьбе не копали. Когда усадьба сгорела, обломки и часть фундамента обрушились в криницу и засыпали родники. Остался только тот, что ниже по течению. Девяносто лет источник был заперт под землёй, но сегодня его заточению придёт конец... Я ушла, да ещё и этот дождь... Смотрите...

Август, поздний вечер, дождь... что там можно разглядеть? Но недаром Лариону достались зоркие дедовы глаза. Нет родословной, но есть род. Ларион видел происходящее как на собственной ладони. Вздувшийся ручей, оплывающие пласты глины и песка... бревенчатый сарайчик покосился и с медленным хрустом завалился набок. Движок генератора смолк, хотя его и прежде было не особо слышно, свет в доме погас, исчерченные дождём окна погрузились во тьму. Впрочем, почти сразу вновь замелькал свет, беспокойно мечущийся из стороны в сторону.

«Точно, — вспомнил Ларион, — ведь рейдеры заявили к нему с мощным переносным фонарём. И сейчас ищут причину поломки. Ни пробок, ни счётчика в доме нет, — зачем при собственном генераторе? Значит, скоро они выйдут на улицу и увидят, что происходит».

Дождь продолжал хлестать, глина плыла вниз, новорождённый овраг подбирался к самому дому. Серебристый джип, оставленный на берегу, накренился и тоже поплыл под откос. Помилицейски завывала сигнализация.

Луч света, шаривший по террасе, немедленно переместился на лужайку перед домом.

— Ну, если это мудро чего натворило, — донёсся рёв Отрадьева, — он у меня ответит! На запчasti пушу недоноска!

Тёмные фигуры заметались по двору, и в эту минуту качнулась и начала крениться стена холдного флигеля.

Ничего не скажешь, отрадьевские охранники показали себя настоящими профессионалами. Прежде всего они кинулись спасать хозяина. Если бы Ларион в своё время поддался на уговоры двурушника Каштуна и построил дом не из кругляка, а из бруса, телохранителям удалось бы выдернуть шефа из-под удара, но круглое бревно, подпрыгнув, ударило одного из мордovorотов по ногам, и он не сумел отшвырнуть Отрадьева достаточно далеко. Косая четырёхвершковая стропилина упруго сыграла о груди брёвен, в которую превратилась рухнувшая стена, и уже на излёте приложилась к лысому черепу самозваного сиятельства.

Далее Ларион не смотрел. Оскальзываясь в мокрой траве, он бежал на выручку гибнущим людям.

Странно устроен интеллигентный человек. Только что мечтал об убийстве и на полном серьёзе был готов взяться за ружьё, а как сбывлась кровожадная мечта, тут же помчал спасать мерзавца, которого минуту назад вполне обоснованно хотел убить.

Впрочем, спасать пришлось не Отрадьева, а самоотверженного телохранителя, ноги которого остались под завалом брёвен.

Второй охранник в критической ситуации проявил себя изрядным психологом. Ни на мгновение он не заподозрил Лариона в желании добить пострадавших и с ходу принял помощь.

— Лом у вас есть? — закричал он. — Лом нужен!

Лом и прочий инструмент, запретный для тонких пальцев художника, хранился в гараже, оформленном под конюшню. В две минуты часть брёвен была растащена, под остальные подведена вага, приспособленная из того самого бревна, что огрело по темени Отрадьева. Хрипя от натуги, охранник приподнял завал, а Ларион, ухватив под мышки, вытащил пострадавшего.

Всё это время Борис Яковлевич метался из стороны в сторону, нечленораздельно кудахтал и пытался нажимать кнопки мобильного телефона, бесполезного в этой глуши. Спутниковая мобила Отрадьева оказалась разбита в кашу и тоже бездействовала.

Освободив раненого, занялись машиной. Ларионовский жигулёнок оставался в деревне, так

что пришлось ставить на колёса увязший в грязи «порш-кайен». Положение усугублялось тем, что ещё одна стропилина с крыши рассыпавшегося флигеля вмазала торцом в серебристый борт.

В пустом гараже нашлись буксировочный трос и ручная лебёдка. Трос зачалили вокруг ствола старой берёзы и постепенно выволокли джип на твёрдую землю. Затем при помощи всё той же ваги двухтонная машина была варварски перевёрнута и встала на колёса. Удар о землю разнёсся далеко окрест, как если бы очень большой медведь сорвался с осины, на которую вздумал сдуру залезть.

Удивительным образом мотор покалеченного «порша» заработал как ни в чём не бывало, доказав себе и остальному миру, что крутая тачка — это не хухры-мухры.

Лишь затем Ларион повернулся к сидящему на земле Валерию Отрадьеву.

Есть люди со столь грубой душевной организацией, что поневоле задумаешься, а умеют ли они чувствовать вообще? Но даже в самой тупой башке многое проясняется, если как следует приложить по ней четырёхвершковым бревном. Впервые сиятельный нувориш видел то, чего прежде не мог разглядеть ни за какие деньги. Из дождливой тьмы один за другим выходили люди. Они останавливались и разглядывали его, словно отвратительное, полураздавленное насекомое. Бывшие владельцы усадьбы «Отрадное» — пехотные офицеры и коллежские асессоры, горные инженеры, экстраординарные профессора — служилые дворяне, они не могли и не хотели жуировать жизнью за крестьянским хребтом. Как и следует из их звания, они исполняли государственную службу и в новгородское имение возвращались лишь на время вакаций или выслужив полный пенсион. Среди них не было прославленных деятелей, но титул свой они оплатили не мощной, а кровью.

Их взгляды жгли, презрение убивало.

— Выскачка!.. Парвеню!.. Самозванец!

Чернявый мужчина в старинном стрелецком кафтане встал рядом с Ларионом, медленно потянул из ножен источенную в ратных делах саблю.

— Что с ним делать будем?

— Пусть уползает, — ответил Ларион.

Он наклонился к Отрадьеву и, глядя в белые глаза, спросил:

— Ты понял, что с тобой случится, если ты ещё раз появишься на моём пути?

— Б-б...ва... — согласно икнул несостоявшийся граф.

Ларион рывком поднял безвольное отрадьевское тело. Вдвоём с охранником они усадили Отрадьева на переднее сиденье джипа, сзади уложили второго охранника, у которого, кажется,

были сломаны ноги. Оставшийся целым телохранитель действовал быстро, чётко и целеустремлённо. Никаких призраков он не видел, и те тоже не обращали на него внимания. Обустроив шефа и товарища, телохранитель уселся за баранку, прощально кивнул Лариону, и джип, вихляя повреждённым колесом, двинулся к броду.

— Эй, а меня?! — закричал забытый Борис Яковлевич.

— Там нет места, — пояснил Ларион. — У человека сломаны ноги, он не может сидеть.

— А как же я?

— А ты — сзади. Петушком, петушком...

Машина, взрёмывая и подсвечивая себе единственной фарой, взбиралась на косогор по ту сторону ручья.

— Уехали! — плачущим голосом проблеял адвокат. — Меня кинули!

— Документы на дом где? — потребовал Ларион.

— Там, всё там! — Борис Яковлевич замахал ручонками в сторону усадьбы, всем видом показывая, что согласен скорее умереть, нежели хоть на минуту вернуться под готовую обрушиться кровлю.

— Значит, так, — сказал Ларион. — Через ручей перейдёшь по камушкам, смотри не оскользлись, они мокрые, а дальше дорога плотная, не собьёшься. До деревни пять километров. Оттуда автобус до райцентра ходит, два раза в неделю. Захочешь, доберёшься.

Адвокат нерешительно направился в сторону брода. Ларион нагнал его, протянул зонтик.

— На вот, возьми. А то вымокнешь дорогой.

Теперь, окончательно разобравшись с рейдерами, Ларион смог взглянуть на своих спасителей.

Отрадины уходили в ночь, в то небытие, что на недолгие минуты отпустило их. Хотя почему в небытие? Ведь они явились из прошлого, которое реально было, и потому непременно существует и днесь.

Допетровский стрелец задержался на шаг, остро улыбнулся сквозь клочковатую татарскую бороду:

— Что, тёзка, крутенько пришлось? Смотри, теперь твоя очередь дом ставить и род. Ну да ты справишься, Ларионы народ упорный.

Они ушли, оставив Лариона оценивать ущерб и приводить в порядок чувства.

Полуразваленная усадьба производила удручающее впечатление. Придётся укреплять берег, разбирать завалы на месте рухнувших флигеля и сарая. Генератор почти наверняка погиб. Весь дом накренился, врубленные в пазы брёвна, составлявшие боковые стены холодного флигеля, опасно висят, угрожая довершить разрушение. Всё это надо будет аккуратно снимать, и не когда-нибудь,

а сейчас: зиму руина не простоит. Двухэтажную часть придётся поддомкрачивать, подводить в фундамент новые камни, заливать бетоном... А на какие шиши? Денег на счету не осталось, и серьёзных доходов впереди не предвидится.

Что творится внутри, лучше не представлять. Наборный паркет наверняка покоробился, фирменная паутина изломалась или осыпалась, резные панно не держатся на покривившихся стенах. На второй этаж подниматься попросту опасно. Камин и печи растрескались, всё требует ремонта, срочного и дорогостоящего. По-настоящему уцелели только баня, гараж и кухонный флигель. Но если обрушится центральная часть, то и флигель не устоит.

В голове против воли мелькнула догадливая мысль — позвонить иудушке Каштуну и попенять: «Как же так, приехал наемный господин Отрадьев, родовым именем полюбоваться, а ваше строение ему прямо на голову рухнуло. Неплохо получается...»

Каштун, конечно, примчится, и кое-что с него удастся сорвать. Скажем, работы по укреплению фундамента и разборку рухнувшего крыла. Конечно, он будет ныть: мол, гидрографию вы не заказывали, а без неё кто мог знать, что под берегом родники?.. Да, не заказывали, а ты предлагал? Кто из нас специалист — бедный художник или владелец фирмы «Русский лес»? Так что вполне можно кое-что исправить за счёт мироеда. Вот только противно это, аж мочи нет. Уж лучше как-нибудь самому.

Из темноты подошла Ольга Юрьевна. На ней по-прежнему был костюм курсистки, только шляпка и перчатки пропали, должно быть, забыты на каминной полке.

— Вы замечательно поступили, Ларион Сергеевич, когда побежали спасать этих людей. Нет, тут не было никакого испытания, один только ваш выбор. Остаются вы на месте, эти четверо погибли бы. Но и дом тогда рухнул бы полностью, его было бы уже не восстановить. От вас зависело, наказать обидчиков такою ценой или простить.

— Вот уж прощать я их не собираюсь, — проворчал Ларион.

— Тем не менее, они уехали, а дом, хоть и пострадал, но остался цел. И не надо смотреть так безнадежно. Конечно, на починку потребуется время и силы, но вы справитесь. А с деньгами и вовсе проблемы не будет. Идите за мной, я должна вам кое-что показать.

Они спустились к ручью, обойдя оползень, и вышли туда, где освобождённый источник размывал себе дорогу среди старых и новых облом-

ков. Вода уже очистилась от мути, было видно, как кипит дно криницы. Вечный танец песчинок в родниковых струях... Несколько плоских камней лежало неглубоко под водой, должно быть, прежде они облицовывали берег, но потом сползли вниз, либо же, напротив, вода поднялась высоко.

— Ну вот, — виновато произнесла Ольга Юрьевна, — не подумала. Как говорил сегодняшний лакей: тут нужен лом.

Ларион притащил лом, забытый возле бревенчатого завала. Ольга Юрьевна ждала внизу, в руке горела вечная свеча. Дождь уже кончился, и, хотя ветер никак не мог успокоиться, язычок пламени на фитиле стоял неподвижно. Да и что может задуть такую свечу?

— Вот этот камень, — указала Ольга Юрьевна.

По виду камень казался здоровенным валуном, какой трактором двигать впору, но когда Ларион, ступив кроссовками в ледяную воду, поддел ломом край гранитного великана, тот оказался неожиданно тонким, и после некоторых усилий его удалось перевернуть. Течение быстро унесло взвихрившуюся муть, и через минуту в воде обнаружилось что-то, покуда непонятное, затянутое илом и песком.

Ларион присел на корточки, опустил в воду сразу озябшие руки, стараясь промыть и разглядеть, что лежит под камнем. Кажется, это была полностью истлевшая укладка, сундучок, в каких прежде девушки копили приданое. Такие укладки и по сей час порой встречаются в старых деревенских домах. Крышка сундучка провалилась, внутрь натянуло песка, и, что там лежит, было не разобрать.

— Это клад? — спросил Ларион.

Полночь, редкие звёзды в просветах рваных туч, полуразрушенный дом, истлевший сундук с неведомыми сокровищами и призрак, стоящий рядом со свечой в руке. О, сколько восклицательных знаков поставил бы, описывая эту сцену, автор готических романов! А Ларион спросил просто и буднично, словно каждый день добывал из земли нечто подобное.

— Можно сказать и так. — Ольга Юрьевна кивнула. — Отрадины были не слишком богаты, фамильных драгоценностей у нас не важивалось, но столовое серебро в те поры было в каждой приличной семье. Его успели спрятать дня за два до того, как пришли... экспроприаторы. Они забрали всё, что только можно, рылись в подвале, искали, нет ли свежих копанок в саду. Но серебро не нашли, течение загладило следы. Так оно и пролежало в воде девяносто лет. Теперь я отдаю его вам. Не бог весть какая ценность, но на починку дома должно хватить.

В течение получаса Ларион вытаскивал из жидкой грязи серебряную утварь, тут же споласкивал её в ручье и укладывал в корзину, принесённую из дома. Наконец Ольга Юрьевна сказала, что больше в кринице нет ничего. Дрожа от холода, Ларион поволок тяжёлую корзину к дому. Ольга Юрьевна проводила его до входа во флигель, но, когда Ларион распахнул перед ней двери, сказала:

— Простите, Ларион Сергеевич, но я пойду к себе. Я очень устала сегодня.

— Но завтра вы придёте? — испуганно спросил Ларион.

— Да, конечно, завтра я приду непременно. А за дом не беспокойтесь, он не рухнет. Хотя чинить надо не мешкая.

Оказавшись под крышей, иззябший Ларион первым делом затопил печь. Выгреб старую золу, сложил дрова большой клеткой, запалил бересту. Русские печи бывают такими же разными, как и русские люди. У новгородки колпак и труба выложены впереди чела, ровно над шестком. Считается, что такая печь капризна, без присмотра её не оставишь, того гляди вылетит уголёк и подпалит весь дом. Зато нет в мире более завораживающего зрелища, чем топящаяся новгородка. Дым и языки пламени бьют, кажется, в самую избу, но, совсем немного не достигая лица сидящего, круто изгибаются и уходят под колпак. Ни в каком самом изысканном камине нет такого эффекта. Перед новгородкой можно греться, как перед камином, а в то время, когда топится безопасная псковка, в избе становится только холоднее.

В книгах, написанных незнающими людьми, сплошь и рядом можно прочесть, как в русскую печь подбрасывают дров. Чушь, бессмысленное и глупое занятие! Сколько ни кидай в печку поленьев, всё тепло уйдёт через широкую прямую трубу, а снаружи натянет стылого воздуха. В русской печи делают одну закладку, а когда дрова прогорят, разгребают угли по загнилкам и кладут на дымоход стальной кружок вьюшки. И тут же вся изба наполняется ленивым сонным теплом.

Но хозяйке дремать некогда. Пока печь разогрета, начинается самая стряпня. Чугунок со щами для завтрашнего обеда ставится поближе к угольям, горшок с кашей — к дальней стенке, а на серёдку на двух кирпичинах устанавливают противень с пирогом, который будут есть вечером. Раньше и хлеб пекли в русской печи — искусство ныне почти забытое.

Когда в доме нет хозяйки, стряпнёй занимается бобыль. И неважно, что всего пару часов назад пришлось сцепляться с рейдерами, а потом вы-

капывать клад. Кушать хочется каждый день, и в этом есть непреложная правда жизни. Вот только пирогов бобыли не пекут, обходятся щами и кашей. Так спорей получается.

Ларион сидел, ожидая, пока прогорит угар, и чистил золой фамильное серебро графов Отрадиных. Ложки, ножи—столовые и с зубчиками по краю—для рыбы, половник с изогнутой ручкой, солонку, литую супницу. Дюжину чеканных стопок для водки, шесть кубков... Серебро было тяжёлым, на вилках и ложках—вензели, на половнике и супнице—графские короны и дата: 1818. Трудно сказать, сколько можно выручить за подобный столовый прибор в антикварном магазине. Всяко дело, много... на ремонт хватит с избытком.

Забавно, Ольга Юрьевна говорила: «починка». Для неё ремонт—термин кавалерийский.

Впрочем, ремонт или починка—денег хватит на всё. Вот только купит семейную реликвию какой-нибудь нувориш, граф Отродьев. От этой мысли становится мёртво на душе.

И ещё одна убийственная мысль... Когда-то он спросил Ольгу Юрьевну: «Ведь из-за чего-то вы бродите здесь...» Полученный ответ полностью удовлетворил его, но теперь из родника вынырнул клад, и в сердце поселилось сомнение. Не окажется ли это серебро вещественным воплощением семейной памяти? Ольга Юрьевна сказала, что непременно придёт завтра... то есть уже сегодня. А послезавтра? кто гарантирует, что она не уйдёт навсегда, если продать эту посуду? В таком деле рисковать нельзя, лучше сразу пойти и закопать начищенное серебро в песчаном дне родника... и Ольга Юрьевна не исчезнет, она по-прежнему будет неприкаянно бродить округ, охраняя полпуда столовых ложек. Как ни поверни, всё получается худо.

Оставить старинное серебро у себя, создать нечто вроде музея помещичьего быта? Оно, конечно, звучит красиво: музей-усадьба «Отрадное», но чем вещи, похороненные в витрине, отличаются от похороненных в земле? Есть в экономической науке такое понятие: «сокровище». Это мёртвые, лежащие без движения ценности. И неважно, где они лежат: в земле, сундуке или витрине. Важно, что они мертвы.

Ларион горько рассмеялся. Экие страсти—и из-за чего? Добро бы нашлись драгоценности древних царей, заклятые языческие святыни, бриллиант с кровавой историей, тянущейся сквозь века!.. Но ложки, супница, солонка? — они-то какое отношение имеют к судьбам людей? Ложкой надо есть суп, на роль жупела она не годится.

Ларион протёр полотенцем надраенную со-

лонку, всыпал в неё полпригоршни крупной серой соли. Покачал головой, поставил солонку на стол и повернулся к печи. Дрова прогорели, пора закрывать трубу.

Ольгу Юрьевну Ларион нашёл на лужайке перед домом. На этот раз видение было одето в шёлковую амазонку, переливающуюся на солнце всеми оттенками бирюзового. В руках, как напоминание о ночной грозе, красовался почти игрушечный кружевной зонтик.

— Доброе утро, — сказал Ларион, подходя. — Вы знаете, я долго думал, как поступить с вашим подарком, и, кажется, нашёл выход. Идёмте, я хотел бы вам показать...

Они прошли в столовую, и Ольга Юрьевна замерла в недоумении. Струганый стол был застелен скатертью, посредине возвышалась серебряная супница, над которой поднимался густой сытный пар. Рядом ожидали две глубокие фаянсовые тарелки, принесённые когда-то из бабушкиного дома, и ложки с вензелями графов Отрадиных.

— Что это? — прошептала Ольга Юрьевна.

— Серые щи. Кушанье самое простонародное, но у меня не было других продуктов. Солонина, крошево из капустного листа, немножко крупы. Всё-таки это лучше, чем ничего. Прошу к столу!

— Но я не умею есть! — испуганно воскликнула Ольга Юрьевна.

— А вы пробовали?

— Нет. Мне просто в голову не приходило. И потом, где я могла попробовать? Меня никто никогда не угощал.

— Ну так попробуйте. Ваше серебро должно быть при деле, а для ложек другого дела не придумано.

Ларион влил в старую тарелку половник наваристых, так что не продуешь, щей, придвинул Ольге Юрьевне. Та села, осторожно взялась за ложку.

— Боже, как вкусно! Вы уверены, что дворяне этого не ели?

— Не знаю. Говорят, Александр Третий любил зелёные щи с крапивой. Тоже мужицкая еда. Впрочем, не всё ли равно? Вы ешьте...

Он осторожно коснулся тёплой женской руки и добавил:

— А дом мы с вами вместе всё равно восстановим.





Копенгаген
Дания

Евгений Васильевич Клюев родился в 1954 году в г. Калинин (ныне Тверь). Литератор и преподаватель, доктор философии (Ph D). Публикации стихотворений в периодике в 1980-х гг., в журналах «Арион», «Дети Ра», «Дружба народов», «Звезда», «Зинзивер», «Новый мир». Автор сборника «Зелёная земля» (Время, 2008). В 2013 г. тем же издательством подготовлена к печати книга «Музыка на Титанике», стихи из которой вошли в публикуемую подборку. Автор романов «Между двух стульев» (1989), «Книга теней» (1996), «Давайте напишем что-нибудь» (2007), «Андерманчир штук» (2010), «Translit» (2012), сборников сказок «Цыпленок для супа» (2003), «Ужасно скрипучая дверь и другие люди» (2003), «Сказки на всякий случай» (2004), «101 и 1 сказка» (2011), а также около десятка пьес. Лауреат премии «Серебряная литера» Невского книжного форума, призёр и финалист премий «Большая книга», «Русская премия» и «Студенческий Букер». Издавался в переводах на английском, датском, немецком, польском и французском языках. Член Союза писателей Москвы.

Евгений Клюев

МАЛЕНЬКИЙ БУДДА

* * *

Да нет, никуда я никем не зван—
я просто иду на звон:
я слышу звон, но не знаю, где он,
и знать не хочу, где он.

Должно быть, мне хорошо в пути
и нравятся звуки над!
А кто и зачем там звенит—прости,
мне, в общем-то, дела нет:
ведь так и былинка идёт—на свет,
ведь так и любовь—на взмах,
и каждый идущий вслепую свят,
и весело нам впотьмах!

Небесный меня отпоёт ксилофон,
а может быть, барабан:
жил, значит, на свете такой болван,
который, мол, шёл на звон—
мол, слышал звон, но не знал, где он,
и знать не хотел, где он.

* * *

Тут нету ничего такого—
такого... чтоб остановиться,
пленившись ролью очевидца
и замереть на месте от
красот каких-нибудь, высот
каких-нибудь...
бывай, синица,
тут нету ничего такого—
скорее уж, наоборот:
и свет как свет, и свод как свод,
и род как род, и сброд как сброд,
и ожерелья, и оковы,
и нету ничего такого,
хоть днём и ночью хоровод
кружится, плачет взад-вперёд
бессмысленно и бестолково—
и крепко заведён завод,

и нету ничего такого,
и повторится слово в слово
за годом год...
бывай, синица,
зарница, бражница, блудница,
и пусть тебе не снится тот—
тот я как я, тот книжный крот,—
кто сам не спит, а только снится.

* * *

Махнём, мой ангел, на просторы:
пасти отары, пить нектар!
Я б предложил литературы,
да вот немножко автор стар—
отсюда всякие повторы
и аватары бытия...
и, в общем, эти аватары—
они совсем не для тебя.
А кстати, эти аватары
и автору давно чужи,
как брошенные им квартиры,
покинутые рубежи,
похожие на вкус микстуры,
пасущие сердечный ритм—
ритм Библии, Корана, Торы...
зачем мы это говорим!

Ах, фьоритуры, фьоритуры—
одной, другой и третьей вторы
явленье в дальних зеркалах,
и видно хорошо отсюда,
как сообщаются сосуды
Христос, и Яхве, и Аллах.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Потерялся маленький будда, надетый на нить,
вечно занятый небом и прочею ерундою.
Кто нашёл—к тому просьба немедленно позвонить:
я страдаю.
Он пока не успел научить меня ничему—
так что... я, как всегда, продолжаю самоанализ
и влюблён, как всегда, в эту пёструю кутерьму—
извиняюсь.

У него была колотушка и за спиной мешок—
полагаю, пустой, едва ли кто-то польстится,
и изогнутый посошок, и смиренный шаг,
и косица.
Сердца не было в нём, ибо он был внутри сплошной,
и снаружи сплошной... вообще весь сплошной: всецело.
Непонятно, зачем он, без сердца, ходил со мной—
его дело.

Я, конечно бы, мог и один—от миража к миражу:
это дело нетрудное и не хлопотное, по идее,
только скучное очень...
Нашедшего—вознагражу,
посмотрев в словаре смысл слова «вознаграждение».

* * *

В этом направлении—смятение всех дат
и ландшафт совсем не такой,
в этом направлении стихи не идут,
как ты их туда ни толкай.
Как ни уговаривай и как ни моли,
ослик не желает назад,
как ты кукурузою его ни мани,
не идёт—и всё, супостат.

Ах ты, старый ослик, упрямец ты мой,
как же мы вернёмся домой?
Ах ты, старый ослик с кукурузой во лбу,
Как же мы обманем судьбу?
Вот и рифма точная уже тут как тут,
и размер подстроился... ан—
в этом направлении стихи не идут:
там туман и снова туман.

Там нам было сколько... да шестнадцать, боюсь,—
лет, и снов, и песен, и луж,
там у нас был, кажется, Советский Союз
и другая всякая чушь,
и стихи идут хоть на панель, хоть на суд,
хоть на гибель, хоть напролом,
но туда—туда они никак не идут...
а казалось бы, за углом!

* * *

Тогда ещё стихи водились в сих краях,
тогда ещё—не пав во всех своих боях—
я собирал в саду причудливые тропы,
тогда ещё вели извилистые тропы
в такие тайники неведомой души,
где мир и тишина: укройся и пиши.

Тогда был старый век, и все мы были живы,
тогда на флаге изолгавшейся державы
за молот золотой ещё держался серп—
такой же золотой, но век был милосерд
и каждому давал одежду и еду,
и ставил каждому пятёрку по труду.

Тогда и этот сад был сыт, обут, одет—
и с яблоком во рту сидел в качалке дед
и всё в столбцах газет разыскивал ответ,
которого там не было, да и поныне нет,
и подавали чай под яблоню и вишню,
и каждый раз на чай заглядывал Всевышний.

Тогда был небосвод ровнее и положе,
да и Всевышний был значительно моложе
и обещал, что утешений впереди—
хоть улицы мости, хоть пруд пруди,
и улыбался, безмятежно повторяя:
«Все, кто живёт в этой стране, достойны рая».

* * *

В свою защиту я скажу... увы,
слова мои совсем без головы—
мне нечего сказать в свою защиту:
лечу, не признавая запятых,
и только раздражаю понятых
тем, что кучу, но не плачу по счёту,
тем, что шучу—и сам же хохочу,
что брызгаю чернила на парчу,
что прогоняю прочь любую тучу
и что не позволяю палачу
меня любовно хлопать по плечу,
что сам не мучусь и других не мучу.
А дальше—что же... дальше промолчу
и радоваться сердце научу,
что снег пока не выпал и дождя нет,
что я живу на свете наугад:
немолод, неумён и небогат.
Но мой сурок меня сопровождает.



Раиса Беляева (Гурина)



Д ВА РАССКАЗА О ЛЮБВИ

Киев
Украина

Раиса Андреевна Беляева
(урожд. **Гурина**) — автор статей, посвящённых отечественной кинематографии 1970–1990-х гг., аннотированного научного каталога «Сто фильмов украинского кино» (К.: Спалах, 1996). Публикации в харьковском еженедельнике «Новая демократия», в журналах «©оюз Писателей» (2007), «Kreschatik» (2010), альманахе «Рубеж» (2009), «Зарубежные задворки» (2010). Член Союза кинематографистов Украины.

ОДИНОКАЯ ВЕТКА СИРЕНИ

Ей не повезло в любви с самого начала. Не то чтобы Любка о ней думала ещё девчонкой—она и сама не знала, о чём задумывается, глядя на всё вокруг: дорогу, траву, деревья, а чаще на небо. Любке хотелось уловить в царящей повсюду красоте некое скрытое значение, ухватить его, удержать—и непременно поделиться разгаданным с кем-то, кто всё поймёт.

А иногда Любке казалось, будто она уже прежде видела то, что видит сейчас. В такие мгновения она замирала, пытаясь что-то вспомнить. Но разуму тайны жизни не открывались, потому и выглядела девочка какой-то вечно задумчивой, а спроси у неё о чём—так и не ответит ничего путного, только заалеет-засмущается да глаза свои серые потупит.

Жила Любка в районном городке с отцом, матерью и старшим братом, но родители целыми днями работали, брат же ею не занимался, была она сызмальства предоставлена самой себе и, может быть, поэтому росла одинокой. Но скучно Любке не было: с утра солнце обольёт её с головы до ног из золотого кувшина, вишня под окном затанцует, вечером окна засинеют, заискрятся кружевом, калитка скрипнет—прибегут подружки.

Она училась в седьмом классе, когда к Васильевне, которая заведовала школьным буфетом, приехал погостить внук-студент. Бабка души в нём не чаяла, всё любовалась смуглым да чернявым своим Славиком, ревниво поглядывая на девушек вокруг: как бы он какой не достался. Сама она была рыхлой и бесцветной, как и её сын, но внук лицом и статью удался в мать, красивую и печальную польку.

Любка нудилась на уроке в кабинете химии, отвлекаясь от классной доски, и слушала гудевший за окном ветер. Его голос предвещал природе метель, но в тёплом помещении утишался мерным скрипом мелка, вытягивающего цепи длинных формул; и уж совсем неслышно ссыпалась с доски белая меловая пыль. Колька, её сосед по парте, с которым в минувшее воскресенье они катались на лыжах, неожиданно завозился, откинул и тут же закрыл крышку парты и вдруг тихо и с ненавистью прошипел: «Сердцеид проклятый!» Любка отвела взгляд от окна и глянула на дверь. Верхняя её половина была застеклена, а за нею, опершись плечом о стену и улыбаясь улыбкой победителя, стоял внук Васильевны и смотрел на неё. Место в коридоре смотрящий выбрал так ловко, что виден был только девочке да её соседу. Постояв несколько минут и убедившись, что его увидели кому следует, красавчик исчез.

Но на следующий день всё повторилось. Задумчивое Любкино сердце было впервые встревожено, до того она не обращала особого внимания на свою внешность и удивилась, почему он выбрал именно её. «Посмеяться, наверное, хочет», — думала Любка, перебирая в памяти лица старшеклассниц, добрая половина которых сохла по внуку буфетчицы.

То, что Славик — единственная радость и надежда её жизни — бегаёт смотреть на девочку-подростка, очевидно, дошло до старухи. Зайдя в школьный буфет за пирожками, Любка сразу это почувствовала: Васильевна стояла у входа, скрестив руки на груди и вперив в неё пристальный взгляд. И вообще — вокруг Любки что-то творилось. Уже не только её класс, но вся школа знала, что красавец-студент интересуется семиклассницей. На переменах, прогуливаясь по коридору стайками, её рассматривали в упор, не стесняясь, девушки выпускных классов. Часто она слышала за своей спиной перешёптывания и тихий смешок, сквозь который сквозила злоба маленьких женщин. «Селёдка», — нагло оглядев её и не приглушая голоса, бросила первая красавица школы. Этого Любка уже не выдержала: мгновенно покрывшись краской, она убежала в туалет и горько там расплакалась.

«Что я им сделала? Почему они так меня ненавидят?» — горевала Любка, и первые девичьи слёзы тёплыми каплями, одна за другой, лились из её доверчиво открытых миру глаз.

Так продолжалось всю вторую учебную четверть, до самого Нового года. Потом Славка перестал появляться в школе или топтаться около неё с приятелями, и Любка немного успокоилась. Но однажды, когда она возвращалась после уроков одна, без подружек, он вырос перед нею из-за угла, и встреча эта не была случайной — он явно её поджидал.

«Пойдём, я тебя домой провожу», — привычно улыбаясь, ровным, спокойным голосом предложил Славка. Его улыбку она не любила и смотреть на неё не могла. Слащавое имя ей тоже не нравилось, ничего в нём ей не нравилось: ни лицо киногероя с волевым, по-мужски чётко очерченным подбородком, ни стройная фигура, ни модная куртка-«москвичка», — она цепенела в его присутствии, теряя себя и ощущая неотвратимую опасность, исходящую от этого взрослого и самоуверенного юноши, и, однако, ничего не могла с собою поделать — с первого взгляда он за-

брал власть над нею. И это было странно и досадно Любке, так как безвольной мямлей она не была: чего-чего, а гордости в ней было достаточно.

Они пошли длинной улицей к её дому. Шли почти молча — Славка закурил болгарскую сигарету, Любка же ничего стоящего для разговора придумать не могла. Короткий морозный январский день заканчивался, и, обещая такой же на завтра, закатное солнце перекрашивало в красное снег на дороге и иней на деревянных заборах. К одному из них он и притиснул Любку, неожиданно остановившись, и, глядя ей прямо в лицо, заявил: «Сейчас я тебя поцелую». Она ничего не успела ответить, только с испугом увидела вдруг у самого своего глаза наискось пролетевшую крупную алую снежинку и, когда он коснулся её замерзшими, горькими от табака губами, стала сползать по забору вниз. Он успел подхватить её за поясок зелёного полудетского пальто и с досадой произнёс: «Ну ты и вправду какая-то ненормальная!» Больше Славка к ней не приходил и даже перестал навещать бабку.

А весной Васильевна купила ему красную «чезетту» — дорогой мотоцикл чешского производства. Вечерами он гонял на нём по улицам, подсаживая на заднее сиденье то одну, то другую девушку, — поди, всех хорошеньких окрестных перекатал. Сидя дома, Любка всё прислушивалась, не остановится ли он у её калитки. Но нет — Славка напрочь забыл о ней.

«Ты о нём не думай, он плохой, — говорили подружки, — знаешь, скольких девушек он бросил? Погуляет-погуляет и бросит, коллекционирует он их, что ли? Нехороший он, плохой, испорченный, непостоянный». Но когда Любка с ними согласилась и опять успокоилась, он словно почувствовал, что она от него ускользает, и появился вновь.

Опершись ногами в просыхающий от весенней грязи асфальт, Славка сидел на своей «чезетте» около школы, безмятежный и прекрасный, словно античный герой, о которых Любка недавно прочитала в книге «Легенды и мифы Древней Греции», и небо апреля без усталости осыпало его таким нестерпимо ярким блеском, что она зажмурилась.

«Я тебе подарок привёз», — как ни в чём не бывало, словно растались только вчера, бросил он. Любка обрадовалась сразу всему — тому, что видит его, что приехал, и, конечно, подарку. Но подарок оказался не по возрасту смешным — это

была детская игрушка: ярко раскрашенный металлешеский акробат карабкался, складываясь в суставах, вверх по шесту и скатывался вниз, едва страховочная верёвка ослабевала.

«Что, не нравится? Детский подарок? Но ты и сама ещё “детская”!» И опять засмеялся непонятно для Любки: то ли сам обиделся, то ли над нею насмехается. А вечером она увидела, как пролетел красный мотоцикл за тонкой сквозящей зеленью парка—держась за Славкины плечи, прижималась к нему очередная подружка.

Разбился Славка летом, вместе с ним погибла девушка. Но та ли, которую он катал в апреле, или какая-то другая, Любка не знала. Как не узнала и не поняла никогда, почему он приходил к ней. Игрушка-акробат—единственный Славкин подарок—со временем куда-то запропастилась, так что от первой любви у Любки не осталось ничего.

Механически перехватывая продукты, что двигались к ней по ленте, Люба сидела за кассой и радовалась завтрашнему выходному: ещё пару часов, в автобус—и домой! Несколько лет тому, окончив школу, она переехала в областной центр и устроилась на работу кассиром в большой продуктовый магазин. Там, где она родилась и выросла, работы для неё не нашлось—другое время настало, заводы и фабрики закрывались, да и дома стало тесно: брат женился, и девушка чувствовала, что все, кроме матери, ждут не дождутся, когда она выйдет замуж или уедет куда-нибудь.

Вместе с напарницей они сняли комнату в «хрущобе», в которой только ночевали, днями пропадая на работе, а в выходные уезжая погостить к родным. Работа была Любе не по душе—знай сиди весь день на одном месте да подхватывай наезжающие по транспортёру продукты, не дай бог пропустить хоть крошку. Набросаешься за смену по пакетику, так что руки к вечеру лопит. Начальницы—бабы злые, молодых не любят, придираются, за любую оплошность рублём наказывают. Разгадывать красоту мира стало некогда, да и способность видеть её везде и во всём Люба почти утратила—мир вокруг потускнел и стал простым и малоинтересным. И всё же она расцветала с каждым днём—годы её такие, теперь никому даже в голову не пришло бы обзывать её «селёдкой».

Люба представляла, как вечером подъезжает

к автостанции своего городка, и радость предстоящей встречи с матерью и родными местами тёплой волною вливалась в её оскудевшее без любви сердце. Как вдруг её возвратил к реальности возмущённый голос: «А почему вы пробрили на чеке гречку по девять, а на ценнике указано семь?» Она подняла голову и увидела перед собой раздражённое лицо нестарой ещё женщины, которая тыкала ей ухоженными руками с маникюром и перстнями пакет с гречневой крупой. Попыталась объяснить: «Я ничего не “пробиваю”, компьютер считывает штрих-код и сам “пробивает”—цена, значит, повысилась».

«А чего ж вы ценники на прилавках вовремя не меняете?»—не унималась покупательница. «А это не моя работа—ценники менять, я на кассе сижу!»—заводилась вслед за нею Люба.

«Позовите администратора!»—уже почти кричала женщина с гречкой. Но, услышав перебранку, дежурный администратор сама шла к кассе, и выражение её лица не предвещало ничего хорошего.

В тот вечер домой она не поехала: подружка, свидетельница скандала, уговорила зайти в кафе неподалёку от злосчастливого супермаркета-тоску развеять. В кафе Люба попала впервые и сразу почувствовала, что сделала это напрасно: в пятницу, в конце рабочей недели, в нём было многолюдно и шумно. Струи сигаретного дыма вились кверху, озаряемые вспышками разноцветных лампочек, громкое и безостановочное уханье динамиков ударяло в виски, и всё было не то—чужое, не приносило ни радости, ни облегчения.

В «хрущобу» возвращались поздно вечером. Люба шла вдоль кажущегося ей бесконечным дома, прислушиваясь к себе и словно опять что-то припоминая. С непривычки к вину и от усталости она захмелела, душа же её, омываемая ночным воздухом, постепенно освобождалась от тяжести и вдруг воспарила, как дым в кафе:

«Одинокая ветка сирени, до чего ж ты была ты красива.

Я твои целовал колени и о любви говорил счастливой».

Песня была «мужской», и слова Любка перевирала—непонятно, кто же красив, девушка или сирень, но ей было всё равно, она не знала, что поёт. Ни про знаменитый романс, сочинённый давным-давно, аж в девятьсот двенадцатом году, ничего не знала, не помнила толком и его пе-

сенный отзвук, родившийся три четверти века спустя. Так, запало в сердце: слыхала когда-то немолодых соседок-сестёр, любивших в семейный праздник затянуть со слезой про эту самую ветку сирени и «день весенний, тот, который мне всех дороже». Не было никогда в Любкиной жизни никакой сирени, и никто не целовал её колени, но пела она так, словно этого никогда и не будет.

Любка брала верхнюю ноту сразу, на первом же слове, и голос её, полный тоскующей силы, отталкивался от бетонных стен и разливался в мягкой черноте ночи: «Вспоминаю я день весенний, тот, который мне всех дороже...» Дальше она не помнила и, помолчав, заводила сначала: «А-адинокая ветка сирени...»

«Ну ладно, хватит уже, перестань», — придерживая её за талию, уговаривала подруга. Но Любка не унималась. Уже и длинный дом они прошли, и за угол свернули, и не видно их вовсе, а всё слышался издали её голос: «Одинокая...»

ЗВУКИ В СЕНТЯБРЕ

Они были из тех, кто пишет стихи, и познакомились в литературной студии, им не было тогда и семнадцати. Он любил её и, увлекая после студийных занятий в сиреневые заросли расположенного поблизости старого кладбищенского сада, читал свои и чужие стихи, ненасытно порываясь к поцелуям. Она же относилась к нему с любовью дружественной, и потому вскорости они расстались, а затем и вовсе уехали из родного города, особо не задумываясь, что это навсегда.

Прошло сорок лет, и жизни их в основном были прожиты, но однажды в сентябре он прилетел из другого земного полушария в тот город, где она прожила свою жизнь без него. И стал прилетать ежегодно на десять отпускных дней. Остальные дни, за редким исключением, заканчивались неизменным телефонным разговором. За три года они переговорили обо всём возможном и невозможном, надеясь заполнить словами пропасть безвозвратно ушедшего времени. Иногда это удавалось, так как голоса у них почти не изменились, и потому в отдельные счастливые мгновения казалось, что ничего страшного не произошло и всё можно ещё, пока они живы, исправить.

Несколько раз они побывали в родном городе, но сверстников их юности в нём почти не оста-

лось, а те, с кем удалось повидаться, изменились столь разительно, что, встретясь они на улице, никто никого бы не узнал. Кладбище вместе с непроходимой сиренью снесли, и всё то пространство, которое когда-то казалось почти бесконечным, сжалось до чахлого городского скверика. Исчезла и маленькая кладбищенская часовня, куда он однажды завёл её, держа за вечно исцарапанные руки. Эти царапины были загадкой для него, но он не решался тогда спросить, откуда они. «А, царапины на руках... — припомнила Анна, — я с кошками много возилась или огород полола, осот был острый, колючий, а может, в малине оцарапалась».

Очередную сентябрьскую декаду они договорились провести у моря, в местах, родом откуда была его мама. В снятую квартиру с антресолюю они пристрастились почему-то к двухуровневному жилью — и, как было обещано, «авторским дизайном» Анна приехала первой; он должен был прилететь на следующий день. Налюбовавшись лестницей «в стиле кантри», она приняла душ, распаковала вещи и легла в постель. Долгая дорога утомила её, и уснула Анна рано. Но, несмотря на усталость, сон был неглубоким и чутким: она волновалась перед встречей, ведь с момента последней к их разлуке добавился ещё один год.

Сквозь сон Анна слышала, как под окнами прозвенел последний трамвай; за его колеёй протянулась узкая парковая полоса набережной, а за нею само море, которого почему-то не было слышно. Звуки приближающегося, а затем удаляющегося трамвая замерли к часу ночи, но полной тишины не было: сон наполнял лепет листьев тополей и акаций. Ещё днём она заметила, что наряду с мало ей известными породами хвойных в скудной древесной растительности города преобладают именно эти деревья, но такие древние и огромные, что их трудно было узнать. Шершавый шелест листьев, распространявшийся волнами, не только не мешал ей спать, напротив: чтобы слышать его, Анна умышленно не погружалась в сон глубоко, думая и даже проговаривая где-то в глубине, где теплилась её жизнь: «Как хорошо...»

Прошла ещё пара часов, она почти вынырнула на поверхность, желая проснуться, так как не смогла распознать новые ночные звуки. Они были намного сильнее лепета листьев — неравномерные, но отчётливые и одновременно глухие, как бы деревянные.

«Что же это такое? — думала почти проснувшаяся Анна, — почему они неравномерные, то подряд, то, безо всякого объяснения, через паузу?» И, прикрыв простынею рот, словно её мог кто-то услышать, тихо засмеялась, догадавшись: в парке, прямо напротив окон квартиры, она видела ряд бильярдных столов под навесом — больших, старых, крытых по игровому полю, как положено, тёмно-зелёным сукном, с такими же традиционными, не изменяющимися со временем игроками — сосредоточенными, серьёзными, почти безмолвными.

«А... бильярдисты... не разошлись ещё, играют по ночам», — объяснила она самой себе и, успокоившись, опять нырнула в глубину. Но ненадолго. Всё ещё было темно, ни намёка на рассвет, ни мягкого светового рассеяния в уголке неба, а её вновь позвали звуки. Теперь это был, безусловно, человеческий голос. Какой-то тоскливый, необыкновенно красивого тембра, он покрывал землю с вышины песнею-речитативом, завораживая и куда-то явно призывая. Замолкал на миг и опять возникал. «Спой ещё», — попросила Анна, опасаясь, что голоса больше не будет. И опять догадалась — «утренняя молитва (дом находился у самой мечети), как рано они начинают».

«Это муэдзин с минарета созывает на молитву правоверных», — пояснил он, приехав на следующий день, и добавил по-арабски: «Алла-у'ахбар, алла-у'ахбар... Впрочем, наверное, в записи».

«Всё-то ты на свете знаешь».

«Нет, не всё, просто я “нахватанный”, — улыбнулся он, — или “переначитанный”, меня в детстве называли “переначитанным”».

Так продолжалось все десять ночей — их наполняли звуки: последнего трамвая, тополей и акаций, бильярдных шаров и предрасветной песни муэдзина. «Не перейти ли нам в мусульманство?» — шутили оба.

Как все курортники, съехавшиеся на «бархатный сезон», они купались в море, плавали на прогулочном катере, ели рыбу, персики и пахлаву, бродили по городу, где местами две трамвайные линии сливались в одну и приходилось ждать, пока пройдёт встречный вагон. Город он знал хорошо, так как сначала родные привозили его сюда каждое каникулярное лето, а затем он сам, будучи уже юношей, приезжал на один летний месяц. В последний раз он был здесь в августе своего последнего лета на родине.

«Почему? Почему ты тогда не приглашал меня приехать с тобою сюда? когда мы были молоды», — вопрошала Анна, в который раз бессмысленно разыгрывая иной вариант судьбы.

«Потому что тогда ты никуда бы со мной не поехала».

В узких улочках на них молча смотрели лица обветшалых и прекрасных домов разнообразных, но с преобладанием восточного, стилей; здесь побывали греки, персы, татары, армяне и загадочные караимы, которых, как уточнил местный краевед, угощавший их кофе по-турецки в своём трёхъярусном дворике под виноградной крышей, осталось на Земле всего полторы тысячи.

«Ты ощущаешь иногда, в незнакомых местах и в определённом состоянии, жизни, некогда в них проходившие? Ну вот, как тут. Какие-то люди были детьми, выбегали, стуча парадной дверью, встречались, смеялись, проводили целые дни на море, потом вырастали и уезжали в большие города, которые казались им более интересными... Большие города... Мы с тобою ведь тоже уехали в “большие города”. Хотя, знаешь, я сейчас вспомнила вдруг свою давнюю, студийных времён, строчку: “мне стали безразличны большие города — они не больше скажут, чем эта лебеда...” Смешно, правда? Писала так, а сама уехала. А кто-то никуда не уезжал и старился на одном месте. Заметил, какие тут красивые благообразные старики?»

В конце позапрошлого столетия в другом городе у этого же моря родилась девочка, уехавшая затем с юга на север и ставшая там одной из лучших поэтесс XX века. И хотя в здешних местах она прожила совсем недолго, не более полутора лет, местные жители упорно числят её своей землячкой. Рядом с «домом купца Пасхалиди», отмеченным её мемориальной доской, расположилось литературное кафе. Анна доедала мороженое под детским фото поэтессы, на котором та была запечатлена в добела выгоревшем на морском ветру платье и наголо остриженной.

«Аня плавает, как птица», — вспомнила она неправильное, но меткое сравнение из чьих-то мемуаров. «Вот ты не считаешь её красавицей. И напрасно. Посмотри хотя бы на форму её головы — она идеальна».

«Возможно, — вяло согласился он. — Но как можно назвать красивой женщину, у которой нет зада? Это ведь общеизвестно, что у неё его практически не было, вспомни рисунок Модильяни».

«Я не знала, что красота женщины опреде-

ляется величиной её задницы», — зло выпалила Анна, оскорбившись за любимую тёзку. И тут же со стыдом поймала себя на том, что с ним она говорит по-прежнему, как не подбирающая выражений девчонка с окраины. Так повелось издавна — между ними и тогда вспыхивали ссоры, и оказалось, что годы не избавили её от мечтательного романтизма; он же стал ещё язвительнее.

«Нет, что ты! Мы никогда не ссоримся, а только иногда отчасти не сходимся во мнениях». Он умел её рассмешить, и так, как с ним, она ни с кем не хохотала.

«Проезд Анны ...матовой», — всё ещё смеясь, прочла она вслух, заметив, что умыкание букв с уличных вывесок является любимым развлечением юного поколения этого провинциального приморского городка, умеющего хранить свои звуки.

.....

«Это ты?» — спрашивал он, сжимая её так, что она начинала беспокоиться о целостности своих рёбер.

«Я, я, — искажённым эхом тотчас отзывалась Анна, — или то, что от неё осталось, или то, во что она преобразовалась. А это ты?»

«В сущности, в нашей истории нет ничего необыкновенного... кроме сроков. Теперь, когда я слышу “мы не виделись так давно, ну, лет пять или шесть, наверное”, меня начинает душить смех. И потом, знаешь, попытайся мы кому-то рассказать — никто ничего не поймёт, отделаются общими местами. Ну, что “прошлое вернуть нельзя”, или в него “возвратиться нельзя”, или про пресловутую реку, в которую, как известно, “нельзя войти...” — словом, какую-то банальную ерунду».

«Ну-ну, добавь ещё Лотову жену вкупе с Орфем и Эвридикую. Мы легкомысленные с тобою... или слишком отважные: нашли с кем сражаться — Хронос всё равно пожрёт своих детей».

Предпоследний день их путешествия выдался всё ещё солнечным и безветренным. Они сидели на скамейке приморского парка и ели чебуреки из бумажного пакета, как какие-нибудь малоимущие студенты. Им это нравилось, потому что вся их старая история тоже состояла из километров быстрой, как бы летящей ходьбы по улицам, разговоров и отдыха на парковых скамейках. Правда, тогда они вместе никогда не ели — кроме

одного-двух памятных случаев, когда он угощал её вместе с нагрянувшей в дом оравой голодных юных стихотворцев сырниками, только что приготовленными бабушкой, — дом имел чистый запах книг, кофе и творога, поджаренного на сливочном масле. Вообще же ели они тогда мало и, уж во всяком случае, не думали о еде никогда. Однако теперь следовало сосредоточиться на поглощении пищи особенно внимательно: чебуреки, приготовленные по всем правилам татаркой, с которой он познакомился накануне, неожиданно брызгали горячим и жирным соком.

«Это твой жизненный опыт сказывается», — заметила Анна, имея в виду татарку, — он с охотой и лёгкостью знакомился с людьми, и, она была тому свидетельницей, через пять минут собеседники запросто выкладывали семейные и всякие иные истории, при том, что он ни о чём их особенно и не расспрашивал.

«Не только. Просто мне разные люди интересны. И они это чувствуют».

«Да уж, что-то, а поговорить ты умеешь».

Анна вспомнила, как в прошлогодний приезд в родной город они отправились на рынок, где он, вступая в обстоятельные беседы с продавцами, скупал подряд всё: свежую и солёную рыбу, помидоры, огурцы и зелень, творог, сметану, мёд. С продавщицей мёда они даже обменялись визитками. Анну это сначала смешило: «Ты что, мёд отсюда выписывать будешь?» — потом надоело: «Ну сколько можно?» Уже по выходе с рынка он засмотрелся на чудом сохранившиеся едва ли не с послевоенных времён деревянные прилавки, за которыми мокли под открытым небом старички и старушки с выращенными своими руками некрасивыми овощами. Рядом пристроилось несколько палаток с бананами и цитрусовыми, в них скучали продрогшие за день бабы в китайских пуховиках. Шуба на Анне была длинная, зачёрпывала полами месиво из мокрого снега и грязи, замшевые сапоги безнадёжно испорчены, — она ещё раз позвала его, застрявшего на этот раз у бананов. Самая смелая и красноречивая из баб наблюдала за сценой, упершись руками в крутые бока, и, очевидно приняв их за супружескую пару с известными ролями «жена-стерва, муж-подкаблучник», с неподражаемым местным говором бросила по направлению к Анне: «Та дайте ж ему поговорить!» Помолчала секунду и добавила: «Хоч на базари».

Лепкое бабье словцо, впечатанное в промоз-

глый февральский день, Анна тут же внесла в их небольшой, но ёмкий внутренний лексикон. Там ещё поместился «человек с фонариком» и «девушка».

«Человеком с фонариком» прозвал Анну он сам, когда вздумал непременно приобрести рыбу-кефаль. Не только шаланд, полных кефали, но хотя бы нескольких таких рыбёшек в городе у моря увидеть в наши дни почти немыслимо — выловили давно рыбку, воспетую Бернесом. Но он, как всегда, свёл знакомство с рыбной торговкой и сумел договориться — будет вам ваша кефаль! В назначенный день и час, к вечеру, — прямо детектив какой-то.

В ожидании его с кефалью Анна готовила рис и переживала, не заблудился ли он, так как, несмотря на свои разнообразные и многочисленные таланты, её друг плохо запоминал дорогу, путал улицы, словом, явно страдал «топографическим идиотизмом». «Как ты умудрялся жить почти во всех столицах мира, просто диву даюсь», — изумлялась она. А тут дорога была действительно мудрёная, забрались они почти в самые горы. Следить за варкой мешали звонки по мобильному, следовавшие с интервалом не более трёх минут: «Айвовый сад прошёл? Павильон, где минералку покупали, видишь? Хорошо. Иди прямо, за белым особняком не пропусти дорожку налево вверх, она выведет на нашу улицу».

Перечислив все возможные ориентиры, Анна усмехнулась и подумала, что он всё равно перепутает. И не ошиблась: телефон подозрительно надолго замолк, а потом вновь зазвонил: «Слушай, я, кажется, заблудился, тут гора какая-то...»

«Гора какая-то!» Подумать только... Почему-то очень весёлая, спасительница Анна спустилась по дорожке, держа в руках зажжённый фонарик, — «ради бога, стой на месте, никуда не двигайся, ты что, на Карадаг полез? там же погранзона, подстрелят ещё».

«Не подстрелят, я вижу — тут человек какой-то с фонариком спускается». Слушая сообщение о «человеке с фонариком», Анна давилась хохотом, так как знала, что человек этот — она сама, да и голос доносился уже не столько из мобильного телефона, но ещё чётче и громче непосредственно из окружающего ночного пространства, а вот и куртка его белым пятном замаячила в нескольких метрах впереди.

«Девушкой» же назвал шестидесятилетнюю Анну молодой человек, дежуривший у входа на

пляж. Как выяснилось, он их запомнил с прошлого лета. «Представляешь, он мне сказал, когда я лежаки выбирал: «Да помню я вас, помню, и девушку вашу тоже отлично помню».

«Ну вот и прекрасно, — значит, не ты один помнишь меня девушкой».

.....

...Вдруг — и на мгновение — они замерли. Именно «вдруг» и «на мгновение», сначала ощутив и тут же услышав лёгкое движение за спинами: нечто явно одушевлённое слетело сверху и — не успели они оглянуться, — еле слышно звеня, перелетело через скамейку и легло на землю прямо у ног. Как будто стайка жёлтых птичек перелетела и села. Но это были не птицы, а стайка листьев, летающих без ветра.

«Осень, осень...» — вобрал в себя только что отзвучавшее, молча сказали они друг другу.

Ночью полил дождь, и летнего тепла не стало. Впрочем, ещё можно было гулять по набережной и дышать морским воздухом.





Красноярск
Россия

Иерей Виктор Теплицкий

родился в 1970 г. Окончил Высшие богословские пастырские курсы (1999) и заочное отделение филологического факультета Красноярского государственного педагогического университета имени В.П. Астафьева (2012).

Служит

в Свято-Никольском храме.

С 1996 г. председатель епархиального молодёжного отдела.

Автор стихотворных сборников:

«Осенняя свирель» (1999);

«Прикосновенье к горизонту»

(2001); «Дом на холме» (2005),

книги стихов и прозы «Ванечка»

(2010).

Публикации в журналах «Старое

и новое», «День и ночь», «Город

детства», альманахе «Нужные

люди».

Лауреат премии имени

В.П. Астафьева (2005).

Виктор Теплицкий

О Н ДОЛЖЕН ПРИЙТИ В ЧЕТЫРЕ

ДВЕРИ, КОТОРЫЕ ПРИЯТНО ОТКРЫВАТЬ

Всё начиналось неприметно. С утра, по-быстрому покончив со служебными делами, я зашёл в любимую кофейню. Открыл знакомую дверь. Повесил мокрую куртку на крючок. Оглядел уютный зальчик. Мой столик у окна, по счастью, был свободен. Я извлёк из пакета стопку чистых листов А4 (мой рабочий формат), карандаш, ластик и устроился в кресле в ожидании официанта. Через пару минут ко мне подошёл молодой человек, приличное время работающий в этом милом заведении. Меню в его руках не было. Мне это слегка польстило: «Они уже знают, что я обычно заказываю!» Но едва я произнёс: «Сегодня как всегда...», как он сухо спросил:

— Опять писать собираетесь?

От неожиданного вопроса я как-то замешкался, но всё же утвердительно кивнул:

— Пожалуйста, «американо» и канапе с...

— Нет! Никакого кофе! Никакого сыра!

Сказал как отрезал, стоит и смотрит немигающим взглядом, будто манекен. Я поёжился, оглядел пустующий зал:

— А почему, собственно?

— Почему? — Брови вскинулись, словно стрелки на пружинках. — Да потому, что вы тут часами сидите, строчите, а берёте одну, — указательный палец взметнулся вверх, — одну чашку дешёвого кофе и несчастное канапе. Нам это порядком надоело. Правда, девушки?

Местные официантки тут же окружили столик и застрочили, как по команде:

— Ну сидишь тут по полдня, так закажи что-нибудь конкретное!

— Ни заказа, ни чаевых. Совесть совсем потеряли!

— Другие за это время столько понаберут, что о-ё-й. А этот! Эконом, блин! — Особенно громко возмущалась симпатичная бариста, которая всегда была со мной подчёркнуто вежлива.

— Вот видите, — подытожил молодой человек, — никто уже не хочет терпеть ваши выходки. Так что просим покинуть помещение.

— Да на каком основании!.. — Я пытался сопротивляться, но выходило слабовато. Натиск был внезапным и крепким. В одинаковых коричневых рубашках и фартуках, плечом к плечу, поднос к подносу, они напоминали холодную шершавую стену без единой щели. И всё-таки я продолжал искать брешь в этом кофейно-кирпичном монолите.

— Но ведь я ваш постоянный клиент и имею полное право заказать...

— Один кофе? С кусочком хлеба? — У непроницаемой стены вдруг обозначился какой-то угловатый, будто плохо прорисованный, насмешливый рот.

— Хорошо, я закажу что-нибудь подороже. — Приходилось идти на попятную. В уличную слякоть не хотелось, а стопа бумаги формата А4 призывно ждала.

Но угловатый рот упорно стоял на своём:

— Знаем мы ваши штучки! Сегодня закажете полноценный обед, а завтра снова канapé и опять займёте столик на четыре часа. Прошу вас: покиньте заведение и не устраивайте истерик.

Официант отошёл, давая понять, что разговор окончен. Монолит рассыпался на фигуры в кирпичных фартуках, выстроившиеся вдоль барной стойки.

Я убрал в пакет бумагу, карандаш и ластик, обмотал шею шарфом, надел мокрую куртку. В спину мне мило улыбались.

...Влажный, тяжёлый снег на глазах превращался в грязное месиво. Подняв воротник, я двинулся навстречу ветру и людскому потоку. Где-то через квартал была ещё одна кофейня с каким-то заморским названием.

Открыв дверь, я сразу же почувствовал себя не в своей тарелке: драпированные стены, длинные вульгарные диваны, низкие лакированные столики— всё выглядело ужасающе шикарно. О здешних ценах я даже не рискнул помыслить. Но выбора у меня не было. Я как мог небрежно направился к пустому дивану у широченного окна. Одно из самых больших удовольствий— наблюдать за жизнью по ту сторону стёкол.

Но тут, будто из воздуха, передо мной возник представительный молодой человек в синем жилете со значком на груди. «Администратор»— что-то тревожное зашевелилось под рубахой. Молодец со значком окинул цепким взглядом мою куртку, пакет, и губы его сложились в чётко отточенную улыбку.

— Добрый день! Поработать зашли? С бумагами?

— Ну да... И кофе попить, конечно.

— Кофе, значит. Понимаю. — Он продолжал целулоидно улыбаться, не пропуская меня в зал.— Вы, я вижу, писать собираетесь? Понятно. А ноутбук, простите, у вас с собой?

— Что?

— Ноутбук у вас с собой? Или вы предпочитаете смартфон?

— Мне не нужен компьютер. У меня есть карандаш.

— Карандаш? — Уголки губ потянулись вверх, обозначив на лице какую-то несуразную щель.

— Да. Могу показать.

— Нет-нет. Не надо. Карандаш— это замечательно. Но с карандашами к нам нельзя.

Уголки губ опустились вниз, и щель завязалась в розовый казённый бант.

Дело принимало скверный оборот. Но я не собирался сдаваться без боя.

— А почему нельзя-то? Какая разница— ноутбук, карандаш, ручка, в конце концов?

— Вы бы ещё печатную машинку сюда принесли! Видите, здесь многие работают, но у всех цифровые, понимаете, — и тут его указательный

палец устремился вверх, — цифровые устройства! Бант развязался, и лицо снова провалилось в непроницаемую улыбку.

— Вы понимаете, что такое формат заведения, клиентура?

— Так ведь я и есть ваш клиент!

— Без пиджака и ноутбука? Нет, с карандашами тут не ходят. Милости просим в другой раз. — И рука администратора изящно указала на дверь.

...Я снова во власти ветра, снега и грязной жижи под ногами. С общепитом дело накрылось, дома сейчас жена и старший сын. А мне позарез нужны хотя бы какие-то несчастные полтора часа!

Мысли скакали, снег падал, ноги сами выбирали дорогу. Я не очень удивился, когда они вынесли моё тело из автобуса прямо к стеклянной двери старого доброго книжного магазина на первом этаже моего дома. Стоять возле полок, смакуя цвет и запах книжных корешков, листать новенькие страницы, выбирая какой-нибудь томик, — это было сродни блаженству гурмана, открывающего вожделенную пыльную бутылку.

Я в третий раз стоял у дверей, которые так приятно открывать.

У полок я, как обычно, медлил, готовясь нырнуть в это море исчезающих имён. И уже протянул руку к Кафке, как меня негромко, но строго окликнула крашеная блондинка лет пятидесяти— в модных широких очках.

— Здесь нет ничего интересного. Вон там, — пухлый палец с длинным, ярко накрашенным ногтем указал в противоположную сторону, — эзотерика, психология, бизнес, на худой конец— Мураками.

«Худой конец Мураками», — машинально повторил я за ней.

...Я не помню, как я покинул эту книжную гавань. Помню только, что продавщица как-то внезапно завелась, помню палец с длинным лакированным ногтем, сначала наставленный прямо на меня, а потом взметнувшийся вверх...

...Не знаю, сколько я месил грязь возле дома, пока не вымок окончательно. Озябшая рука торопливо ищет в кармане ключ. Как приятно всё-таки открывать дверь своей квартиры!

Тихонько проникаю в тёплый тёмный коридор. Никто не выходит. Стало быть, жена на кухне, а старший у телевизора. Отлично! Оставляя на полу мокрые следы, крадусь к двери спальни. Пальцы уже касаются ручки-защёлки, когда меня настигает извиняющийся голос жены: «Ой, Юра, там папа отдыхает. Он днём приехал. Погостит несколько дней. Может, ты сегодня в какой-нибудь кафешке поработаешь, пока я тут готовлю?»

...Я стою перед закрытой дверью собственной спальни. А на улице ветер и снег. Он падает на асфальт и на глазах превращается в грязное месиво.

ОН ДОЛЖЕН ПРИЙТИ В ЧЕТЫРЕ

Он должен прийти в четыре. Вчерашний звонок—нежданный и неожиданный—вмиг переворошил всё. Будто ветер шаркнул по опавшей листве, сметая ветхость, сухость и мою всегдашнюю грусть желтого цвета. Пыль поднялась и мгновенно развеялась четырьмя буквами, высветившимися на голубоватом экране телефона.

Да, он был немногословен. Просто сказал, что «завтра заскочит», но от короткой фразы в комнате стало свежее. Мне показалось, что и за окном потеплело, и чёрного городского снега стало меньше, а белого февральского солнца—больше. Настолько больше, что этот снег начал наконец-то таять. И чтобы это проверить (а мне ужасно захотелось в этом убедиться), я стала медленно подниматься с дивана.

Мама дома не было, бабушкина комната, как обычно, закрыта (там всегда бормочет телевизор). И я решилась. Почему? Не знаю. Наверно, потому, что он сказал, что «заскочит». Прыгучее, смешливое слово вдруг вскипело во мне ключевой водой, от которой стынут зубы. И я, будто сделав жадный глоток, решительно сбросила плед и ухватилась за спинку дивана. Косное тело нехотя потянулось за рукой. Я села.

И где-то зашевелилась боль. Но и слово продолжало бурлить во мне тремя весёлыми пузырьками-гласными. Оно теперь жило во мне своей собственной жизнью. И я поняла: мне надо увидеть жизнь—настоящую, не умолкающую ни на секунду. Дойти до окна. И там—за стёклами—она. Играет и кипит. И что ей сырой городской ветер или обезображенный гарью снег? Она шумно бьётся в окно тремя весёлыми гласными.

Я всё-таки поднялась. Даже не знаю, как это получилось. Ноги не хотели отрываться от дивана. Как будто слово дошло только до верхней половины тела, а нижняя продолжала немотствовать. Но всё-таки через спинку дивана, край письменного стола, дверцу шкафа я добралась до стены.

Какие глупые картинки на обоях! Ничего не выражающие, штампованные лепестки-линии. Как я раньше этого не замечала? И сколько я стояла, уткнувшись лицом в бумажные узоры? Помню только бестолковый шелест в голове: «Он говорил немного. Сотовая связь и всё такое. Он обещал. Мы будем общаться. На кухне? В комнате? Полчасика? Час? Больше? Стоп. Прекрати мечтать, дура! Тебе же хуже будет. Я должна отучиться мечтать? Но почему?! Стоп! Стоп, я сказала! Хватит! Сейчас я просто должна сделать шаг и, держась двумя руками за стену, двигаться боком, переставляя эти свои непослушные ноги».

Я медленно двинулась. Вперёд? Назад? Теперь всё относительно. Теперь у меня всё—относительно, и всё—медленно. В этой комнате жизнь замедляется. Она не скачет. Она плавно останавливает

свой ход. Как и время. Настанет момент, стрелки совпадут и застынут в вечной немоте. Хотя он говорит, что это не так, что время вольётся в вечность, а вечность—это безостановочное движение. Вперёд. Назад? Он говорит, что всё определяет наш свободный выбор. У него он есть. А у меня? Почему-то, глядя на комнату, заклеенную грубыми обоями, заставленную громоздкими, угловатыми вещами, приходят мысли цвета поздней осени—точь-в-точь как на моих рисунках.

Я прошла больше половины пути. Столик у дивана, заставленный банками с мазями, заваленный таблетками и одноразовыми шприцами, остался позади. Со всем тем, что поддерживает жизнь, но почему-то напоминает о... чём-то другом. Не хочу произносить это острое серое слово.

Я упрямо двигалась дальше. Знала бы о моих подвигах мама! И как хорошо, что у бабушки её вечные «новости». Я уже ходила к окну без посторонней помощи. Не дошла. На моё счастье, мама тогда вернулась быстро.

Когда я обогнула книжную полку, у меня закружилась голова. Как в прошлый раз. Стена куда-то медленно поехала. Я помнила: нужно быть ближе к стене и крепко-крепко держаться за неё руками. Как альпинисты, когда идут над пропастью. Он рассказывал мне про горы, и сам бывал в них не раз. Я тоже альпинист! Ха! Только они карабкаются вверх, а я двигаюсь куда-то в сторону. Они всё подальше да повыше—от суеты, а я прямо к ней, в самый эпицентр. Мне это надо, просто необходимо. Глоток чужой жизни!

До окна оставался метр. Метр до чужого шумного мира. Жалкий глоток иллюзии? Может быть. Но я медленно и напряжённо продолжала свой путь. Ведь когда он придёт, мамы не будет. Мне нужно его встретить, проводить на кухню, напоить чаем. И мы будем разговаривать! Целых полчаса! А может, больше? А может, время замедлит ход и вольётся в вечность? Ту, которая движется вперёд. И я буду нужна! На целую вечность! И на целую вечность у меня будет жизнь без столика с лекарствами и мазями. Настоящая!

Вчера я дошла до окна моей комнаты. А сегодня кажется таким глупым вчерашний порыв.

Я стояла, держась за оконную ручку. Смотрела. Слушала. Долго. Сначала я улыбалась. Потом стали неметь руки, по ногам побежала дрожь. А потом это противное чувство беспомощности, страха и отчаянья. И в этом отчаянии я забыла про чужую жизнь. Я уже искала пути к отступлению. Только глаза бегали по комнате, тело же застыло в судороге и боли. Тело сдалось. Я будто висела над пропастью и чувствовала, как предательски разжимаются пальцы. И когда я уже собралась закричать, в замке зашевелился ключ. Мама!

Она, конечно, меня отругала. Но я знаю, что, уложив меня на диван, она будет тихо плакать в своей комнате. И уже укрытая пледом, уже без дрожи, я ей сказала, что завтра придёт он.

Скоро четыре. Я сижу в коридоре на пуфике, в руке у меня телефонная трубка (на всякий случай), но я жду звонка в домофон. Я открою ему сама. Мамы нет, и у бабушки сегодня не бормочет телевизор. Я слышу, как скрипят половицы под её неспешными шагами. На кухне всё приготовлено: две чайные пары, печенье в вазе, конфеты на блюде, тёплые пирожки под салфеткой, заварник укутан полотенцем; два стула—рядом. До его прихода остаётся совсем немного времени—всего несколько минут. Я вижу в зеркале своё отражение, часть прихожей, часы на стене и две тоненькие стрелки на серебристом циферблате—одна уже застыла, другая ещё движется. А вдруг он не придёт? Нет, такого не случится! Потому что сегодня я настроена жить. Жить—и точка! Жить столько, сколько будет длиться наша встреча. Знать бы только, сколько это по времени? А впрочем, зачем? Сколько бы ни было, я буду каждую минуту проживать; впитывать в себя, как последнюю каплю в пустыне. Ведь если ты кому-то нужен, пусть даже на короткое время, пусть даже на «заскочить», значит, есть смысл жить. Но хватит умничать, ещё немного, и в тишину коридора ворвётся трель нашего звонка...

Я сижу перед входной дверью с телефонной трубкой в руке и слышу, как в комнате у бабушки привычно бормочет телевизор.

ШЕЛЕСТ ДЫХАНИЯ

Во сне он часто слышал звук её дыхания—еле уловимый, как шелест страниц не раз перечитываемой книги. Ночью он вчитывался в знакомые строчки, но, проснувшись утром, ничего из прочитанного не помнил.

Он всегда просыпался чуть раньше неё и наблюдал, как солнце меняет цвет её волос. Он знал количество её ресниц, и на правом веке их было больше на три. Когда она просыпалась, он притворялся спящим, чтобы не потревожить мелодию её пробуждения.

Ей нравилось вставать раньше него, почти бесшумно ускользая из комнаты и готовить завтрак в ожидании звука его шагов. Так всякий раз начинал звучать их новый день, всякий раз не похожий на предыдущий.

Когда она выходила, притворив дверь, он, не открывая глаз, пытался вспомнить то, что было написано на тех страницах—во сне. Но память держала врата закрытыми.

Шли годы. Они старели и видели, как начинают стареть их дети. Он ещё помнил шелест страниц книги из сна, но стал забывать, как выгля-

дит сама книга. В его глазах светилась мудрость, в её—нежность. В волосах обоих печаль оставила свои пометы. Он всё также просыпался раньше, наблюдая, как тень тюлевых штор прячет её ресницы, но он знал, что на правом веке их всегда на три больше. И даже когда ему поставили смертельный диагноз, он не забыл об этом. Их дни теперь звучали несколько иначе—приглушённо и неспешно. В один из таких дней он понял, что проживёт ещё три года и что за это время он вспомнит всё прочитанное им во сне—в шелесте её дыхания.

Когда подходил к концу третий год, он услышал неторопливые шаги смерти. Тело почти не слушалось и зачерствело, как хлебная корка, но душа всё ещё напоминала гибкую ветку, склонённую к земле под тяжестью плодов. Он отказался от обезболивающих лекарств. За три дня до прихода смерти он впал в беспробудное состояние сна. Врачи называли это комой, но он знал, что так открываются врата. Его сон длился и длился, и в нём было пусто и неудобно. Но вдруг он уловил нечто, будто ветер скользнул по осенней траве, и тогда он увидел книгу у себя на коленях. Выцветшие листья, запах кожаного переплёта—сомнений быть не могло: та самая книга! Он медленно переворачивал страницы, не столько всматриваясь, сколько вслушиваясь в написанное. Да, слова этой книги звучали! И такой знакомой была эта мелодия! И вдруг он узнал. Это была мелодия его каждодневного пробуждения, шагов, движений, голоса и молчания, его сна. Книга была аккуратно написана от руки одним почерком. Её почерком! Чуть размашистым, с небольшим наклоном вправо. Он узнал его сразу. Дочитав почти до конца (последние три страницы были пусты), до сегодняшнего утра, он закрыл кожаный переплёт, но мелодия не умолкла. Теперь он знал, как звучал ежедневно и еженощно в шелесте её дыхания. И ещё он понял, что в книге чего-то недостаёт, а именно последних аккордов. Он пробудился и вышел из комы.

Она была рядом и молчала. Его губы уже не могли разжаться—смерть иссушила их, превратив в чёрную трещину; веки отяжелели, как ветви поздних осенних яблонь, но слух цеплялся за еле уловимые звуки жизни—звуки её дыхания. Теперь каждый её вдох-выдох звучал по-особому: для него и только для него. И в этом почти беззвучном шелесте он ясно различил только одно слово. И уже знал, что, когда уснёт, у него в руках снова появится книга, на последних страницах которой будет написано всего одно слово. Это будет его имя. Оно будет аккуратно выведено на всех трёх страницах размашистым почерком с небольшим наклоном вправо.





**Штутгарт
Германия**

Инна Иохвидович родилась в Харькове. Окончила Литературный институт имени Горького.

Прозаик, эссеист, критик.

Публикуется в русскоязычной журнальной периодике России,

Украины, Австрии, Бельгии,

Великобритании, Германии,

Дании, Израиля, Италии, Финляндии,

Чехии, США, в литературных сборниках, альманахах и в

Интернете.

Автор пятнадцати книг прозы

и одной аудиокниги.

Лауреат международной литературной премии «Серебряная пуля»

издательства «Franc-TireurUSA»,

лауреат газеты «Литературные известия» (2010),

лауреат журнала «Дети Ра»

(2010).

Инна Иохвидович

Н А ПРИСТАВНОМ СТУЛЕ

КОНЕЦ ЖИЗНЕИСТОРИИ

(БЫЛЬ)

Сейчас Николай шёл по ночной улице, возвращаясь с работы. Сторожем нынче, в середине девяностых, работал он, хоть и был кандидатом физико-математических наук. Ночной город он не любил ещё больше, чем дневной. Если днём раздражала толкотня у светофора, в подземном переходе, в автобусе, трамвае, троллейбусе, в метро, то ночью, когда он шёл с дежурства, гулкостью внутри него отдавались шаги за спиной, и следовало собраться, чтоб дать отпор кому-то, ещё неизвестному в лицо, но точно — врагу. Или вдруг откуда-то долетал какой-то, тоже неведомый, но неприятный звук, хорошего точно не суливший.

Николай Александрович Порошин сызмальства слыл человеком мрачным, к общению не склонным, язвительным, подчас даже желчным. Он не обижался на это всеобщее мнение, не поддававшийся самообману, он и сам всё это признавал. Потому был человеком одиноким, не только без собственной семьи, но даже и без просто подруги или друга. Единственно привязан был к младшему брату своему и ко всем отпрыскам его от разных браков и даже внебрачной племяннице, правда, только до тех пор, пока они детьми оставались.

А ведь мальчик Коля до рождения братишки был обыкновенным мальчишкой, безо всяких признаков грядущей мизантропии. Вернее, до того момента, пока он не заметил вдруг мамин живот! И того, как внезапно, или он раньше не замечал, изменилась мама. Он смотрел в её лицо, на щеках появились какие-то коричневые пятна, веснушки стали особо яркими, глаза-то, глаза смотрели, и, о ужас, будто бы не видели его, Кольку, сынишку сынулю, сыночку, ведь как она его раньше называла?! Глаза, наверное, никого не видели, ужаснулся было мальчик, они словно бы вовнутрь себя повернуты, туда смотрели?! «Мамуля! —хотелось кричать мальчугану,—ты же как слепая, это же я, Коля! Почему ты не видишь меня? Ты, наверное, перестала меня любить, я тебе отчего-то стал не нужен? Почему? Что это там, внутри тебя происходит? Вчера во дворе я как следует отлупил Серёгу, он мне сказал, что ты родишь мне брата или сестру, что вы с папой барались и ребёнка сделали, я ему не верю! Скажи мне, что это не так, я тебе поверю, а живот у тебя вздулся оттого, что ты заболела, сходи к врачу, и он вылечит твой живот, и глаза будут тоже обыкновенно смотреть... Ну, мама!»

Ни о чём, никому, ни отцу, ни, тем более, маме не сказал он ни слова, только не замечаемый ими, замкнулся, затворился в себе самом...

А через недолгое время мама принесла из роддома брата, Димку, за-

вёрнутого в синее одеяло. Коля смотрел в сморщенное, красное лицо младенца и, кроме лёгкого отвращения к обезьяноподобной мордочке, не испытывал ничего. Его только удивляло, что это существо постоянно требует внимания маминого, и это уже немного еще не раздражало, но уже вызывало небольшое напряжение. Когда новорождённого стали купать, Коля не зашёл в ванную, под предлогом, что только мешать будет.

Но самым большим испытанием для мальчишки явилось, когда мама, держа Димку на руках, освободила из лифчика одну грудь и ткнула вытянутый розовый сосок прямо в крохотный, будто ненастоящий, Димкин рот. Коля почувствовал, как что-то поднимается к горлу, но успел сглотнуть и тем самым задержать рвоту.

Пошёл в уборную и там заплакал горько и неостановимо, как совсем-совсем маленький. Слезы лились и лились, тогда он не знал ещё, что это в его жизни последние слёзы и что именно сейчас стал он взрослым.

А то, что произошло через неделю, и вовсе изменило Кольку. Мама во дворе вешала детское бельё на верёвку сушиться и подставляла рогатину, чтобы верёвка не провисала. Коля сидел за столом, делая уроки, Димка спал. Вдруг мальчик услышал не только какое-то журчание в пелёнке, но и запах, мгновенно будто бы заполонивший комнату. Он не ошибся, это был смрад от кала и мочи. Коля развернул пелёнки и увидел крохотное, с красноватой кожей тельце, с задвигавшимися неправильно-смешно ручками, ножками, залитое мочой, загаженное коричнево-зеленоватым калом. Ребёнок то ли кричал, то ли плакал. Оглушённый открывшейся подноготной, мальчик был не в состоянии принять какое-либо решение. Он попробовал было заплакать, как и младенец, ничего не вышло, но почувствовал жалость, сотрясавшую его тело...

— Мама! — закричал он в раскрытую форточку. — Беги быстрее, Димка укакался!

И, подбежав к раскрытому ребёнку, стал гладить его по головке и утешать, сам себя не узнавая.

Брату-подростку, а потом и юноше, Николай повторял, почему-то всегда вспоминая предавшую его когда-то покойную уже маму:

— Никому никогда не доверяй, люди только с виду хорошие, а на самом деле дерьмо. Я ещё никогда не ошибался! И это хоть ужасная, но правда! Если мне не хочешь поверить, посмотри у своего любимого Ремарка: «Никогда не очаровывайся, чтоб потом не разочаровываться».

Брат же его будто не слышал, потому бесконечно влюблялся, женился, чтоб потом развестись, дружил со многими, чтоб потом жаловаться Ни-

колаю Александровичу на предательство самых считавшихся верными друзей... Тот снова ему повторял своё, ставшее просто заклетию, внутреннее, горем давшееся знание, а тот вновь не слышал. Николай Александрович себя философски утешал: «Прав был Марк Аврелий, как ты ни бейся, человек всегда будет делать одно и то же...»

Так и жил, сам в себе, вокруг него был словно бы невидимый круг очерчен, не допуская близко никого.

Николай Александрович услышал их голоса ещё издали, подвыпивших то ли подростков, то ли уже парней — в ночной тишине любой разговор звучит как громкий. Обыкновенная беззлая матерщина выпивших.

«И всё потому что лето, не лень им по улицам шататься», — подумал он, стало ему неожиданно так тоскливо, так вдруг этой тоскою сердце залило, словно эти парни шли именно к нему, именно по его душу.

Они приблизились, шли ему навстречу, а не догнались сзади.

— Дядя! Дай на бутылку, старый козёл!

— Во-первых, у меня нету, а во-вторых, если бы и были, то тебе бы именно не дал, — отвечив ему он самому маленькому из них, обратившемуся прямо к нему.

Внезапно стало ему спокойно, он был готов, только обречённо, когда они с криком и гиканьем, с каким-то удовольствием избивали его, успел, перед тем как отключиться, подумать: «Прав же я оказался, дерьмо...»

НА ПРИСТАВНОМ СТУЛЕ

Вы не хотите пересесть? Смотрите, ряд почти пустой.

Анна Егоровна вздрогнула от неожиданности, ведь обращались к ней?!

— Нет, нет, что вы, спасибо вам! Мне и здесь удобно, — торопливо проговорила она, благодарно улыбнулась в ответ, глядя в приветливое лицо женщины; она, как всегда, примостилась на приставном стуле...

— Как хотите, дело ваше, — недовольно проговорила женщина и стала читать программку. Этим, наверное, она как бы давала понять, что разговор окончен. И Анна Егоровна уже не осмелилась продолжить его.

Да и сама впала в задумчивость, да так, что Пасхальный концерт в Большом зале консерватории начался без её обычного трепетного вслушивания...

Аня даже в детском саду слыла незаметной.

Её будто чем-то изначально напуганная душа не могла переносить даже чуть повышенного взрослого голоса. Сонная девочка в темноте зимнего утра, она только обиженно поднимала бровки. Зато воспитательницы ею нахвалиться не могли. И говорили матери: «Она ж у вас как мышка, не слышно, не видно! Эх, если бы все дети такими были!» Взрослой она прочла мандельштамовские строки «о себе»: «Ещё обиду тянет с блюда невыспавшееся дитя...» Прочла их матери, та лишь недоумённо посмотрела на дочь.

Да и в школе её словно бы не замечали, как будто она была невидимкой. Иногда девочке казалось, что учителя смотрят сквозь неё, как через стекло. Ей это даже нравилось, не хотелось этого своего присутствия. И когда Аню изредка всё ж вызывали к доске или просто обращались к ней, она тушевалась. И пыталась понять и не могла, ни девочкой, ни девушкой, ни взрослой женщиной, истоков этой, почти врождённой, робости.

Самой же ей нравились люди шумные, весёлые, яркие... В школьные годы любила не только в кино ходить, но и собирала целые фотоальбомы артистов кино. Она обожала кино, его необыкновенный, волшебный мир. Хотя знала наверняка, что если б ей представилась возможность сниматься в кино или выступать на сцене, она бы точно отказалась! Ведь даже стоять у школьной доски было мучением, невмоготу было, чудилось, что сердце бьётся прямо в горле.

Тогда мама повела её к врачу, обнаружившему у Ани учащённый пульс — тахикардию.

— Наверное, сердце-то бьётся у тебя от испуга, — говорила мать, — видно, оттого, что ты послевоенная, в утробе ещё войною напуганная.

Отец и мать работали бухгалтерами в строительных организациях. Потому одними из первых и получили изолированную квартиру в Черёмушках, выехав из полуподвала на Трубной.

Жизнь в изолированной квартире показалась Ане почти райской, после соседского шума и грохота, доносившегося с кухни.

Сама же она, как раньше, так и в новой квартире, собственное успокоение находила в книгах. В них она как бы полностью «растворялась», становилась бесстрашной, мужественной и ловкой, как герои и героини Вальтера Скотта, Фенимора Купера, Майн Рида...

Поступила Аня в Библиотечный институт. Среди девушек-сокурсниц, нешумливых, каких-то безлико-бесцветных, многие из них уже носили очки, Аня почувствовала себя хорошо, спо-

койно. Было ей приятно отсутствие мужчин. Они ведь, жадные до женского тела, оскорбляющие своим облапыванием, были кем-то вроде инопланетян, такими же агрессивными и страшными. Она и представить себе не могла, как бы какой-то мужчина взял её за руку?! Даже гипотетически! Для Ани чьё-то, пусть даже детское, женское или животных, как кошки или собаки... любое прикосновение было немыслимо! Как нарушение её неприкосновенности, вторжения в личное пространство, нарушение некой её «эфирной» оболочки... Потому она не то чтобы похлопываний или объятий, она и рукопожатий, самых лёгких, нейтральных, избегала... Одевалась так же, выбирая блёклые оттенки любого цвета. Косметикой, естественно, не пользовалась, разве что губы, чтобы не обветривались, красила бесцветной гигиенической помадой...

Так получилось, что из-за низкой самооценки ей никогда и ни с кем не пришлось подружиться. А ведь дважды так хотелось...

В первый раз это желание охватило её ещё в первом классе, когда целый год посчастливилось ей проучиться в женской школе. Девочка та, хохотушка, крупные локоны обрамляли её кругло-румяные щёчки, представлялась Ане сказочной принцессой. Она покоряла-заражала своей весёлостью весь класс, даже всегда молчаливо-пасмурная Аня бездумно-счастливо смеялась и ничего НЕ СТРАШИЛАСЬ!

Но как подойти, как заговорить с Катенькой?!

Сколько Аня способов ни придумывала, чтоб хоть как-то сблизиться со своей любимицей, да так ничего за учебный год и не надумала. А уже на следующий, на второй год, все школы сделали смешанными — с дерущимися и бьющими даже девочек мальчишками, с вдруг ставшими отчаянными кокетками девочками — и где не стало внезапно пропавшей Катеньки. Хохотушка исчезла, уехала, её отец был военным.

Во второй же раз у Ани это случилось в зрелом, чуть больше сорока лет, возрасте. Она работала в библиографическом отделе научной библиотеки, и к ним в отдел пришла новая сотрудница. Это была высокая молодая женщина в джинсовом костюме (она предпочитала носить джинсовую одежду, и брюки, и курточки, и жилетки, и рубашки, и платья...), с такими же кудрявыми, как и у незабвенной Катеньки, волосами. Поначалу сосредоточенная на своей работе Аня не обратила на эту некрасивую, наверное, с неправильными чертами лица женщину никакого внимания. Но уже через три или четыре недели была от неё в

восторге. Отчего была она в таком возбуждении, и объяснить бы не смогла. Вроде ничего особенного в этой Ольге и не было, ничего как бы особо интересного та не говорила и не делала, разве что независимая с начальством была да читала стихи так называемых неофициальных, а может, даже и запрещённых, поэтов. Да муж её, как говорила она, был из этих самых поэтов. Для Ани всё в ней, в Ольге, любо было. Всё-всё, даже капельки слюны в уголках рта, когда она читала стихи.

В дни, когда у Ольги болела дочь—младшая школьница, Анна Егоровна места себе не находила, так было скучно, серо, тускло, тоскливо, рабочий день резиново тянулся. А с нею, несмотря на множество приходящих к молодой женщине знакомых и бесконечные разговоры её по телефону, для Анны Егоровны день летел, она не успевала оглянуться, как приходилось уходить с работы. А ей хотелось быть и быть на службе и слушать даже пустяковую Ольгину болтовню, слушать не наслушаться... Говорили про неё разное, что она людьми манипулирует, что она «ловец душ», как мужских, так и женских. Может, в том и была правда, да Анну Егоровну это не смущало, главное было, что Ольга позволяла себя обожать, иногда одаривая ошарашенную Анну Егоровну улыбкой. Бедной Ане и того достаточно было.

Счастье личной жизни Анны Егоровны, у которой никогда этой самой личной жизни не было, длилось полтора года. Рабочие часы—праздник, время после работы, выходные, отпуска, Ольгины больничные—противные длинные будни... «Солнышко моё»—так называла Ольгу Анна Егоровна, за глаза, конечно.

Но «солнце» зашло, переехала Ольгина семья в дальний спальный район, сама женщина уволилась.

У Анны Егоровны тем временем заболела, став лежачей, давняя пенсионерка — мать. Через какое-то время слёг и отец. В квартире, превратившейся в настоящий лазарет, приходилось ей ухаживать за обоими, и времени на воспоминания да на раздумья не оставалось. Через несколько лет, тихо, как и жили, друг за дружкой отошли они, единственные люди, что любили Анну Егоровну. Осталась она одна-одинёшенька...

В 90-х пришлось, как и другим, тяжело, но в начале двухтысячных назначили пенсию. А зарплата с пенсией было уже что-то, жить можно! Хотя цены и подскакивали буквально на всё, от платы за коммунальные услуги до продуктов питания, но старалась Анна Егоровна сберечь ещё денег на

книги да диски, пришедшие на смену пластинкам и кассетам. На кино или театр денег уже не оставалось. Про отпуска на море или в горах можно было позабыть навсегда, настолько дорогими стали путёвки, да Анна Егоровна за десятки лет отвыкла от отпускного отдыха.

Если раньше книги сопровождали её «бегство» из мира, то в последние десятилетия чувство «ускользания» давала только музыка. Она вырывала её из бесконечности раздумий, унося неведомо куда. Когда-то Анна Егоровна была заведующей Большого зала консерватории, да и нынче посещала, только по-другому, чем раньше.

Бывшая сослуживица, тоже пенсионерка, вдова и всезнайка, ей присоветовала: «Ты ж чего в Большой зал не ходишь? Можно ж бесплатно ходить, только что сидеть придётся на приставных стульях. Да нам не привыкать!»

— А можно? — счастливо всплеснула руками Анна Егоровна.

— Конечно, и на ранние сеансы в кино бесплатно можно, Лужков пенсионерам разрешил.

Анне Егоровне бы радоваться, что может она, как и когда-то ходить в Большой зал. Да как-то она узнала, что эти приставные стулья предназначены на случай аншлагов. О них нынче и не вспоминалось, никто уж такого и не помнил. Это её печалило и озадачивало, неужели никто не хочет, подобно ей, «уплыть» из этого не лучшего из миров?! Всё вспоминала она кого-то из древних, о том, что музыка создаёт пространство, где обитают наши души. Теперь же она восседала на приставном стуле в начале пустого ряда кресел.

Сегодня был пасхальный концерт, в зале были телевизионщики. Они мешали Анне Егоровне «уплыть». Да ещё в антракте, в перерыве, эта дама посоветовала ей пересесть с приставного стула в кресла, за которые нужно было платить. Как она могла объяснить этой женщине, она, робкая, запуганная ещё до своего рождения; она, боявшаяся всего—мира, власти, людей; она, всю жизнь, только теперь ей стало это ясно, просидевшая «на приставном стуле»... Вот этот стул, неудобный, без спинки, и был её, только её стулом... Её настоящим местом.

Когда эта женщина по окончании концерта проходила мимо неё, Анна Егоровна, встав со стула, тихо сказала:

— Это моё место!

Женщина непонимающе подняла плечи...





Бийск
Россия

Сергей Викторович Филатов родился в 1961 г. в Омске. После окончания Алтайского политехнического института работал по специальности. Одновременно учился в Литературном институте им. Горького.

Стихи и проза публиковались в краевой, российской и зарубежной периодике, в коллективных сборниках, в антологиях. Автор шести поэтических книг и двух книг прозы. Член СП России.

Сергей Филатов

ВЕТЕР, БАЛАЛАЙКА, ПРЯНИКИ

АЛЬБУМИН, ЗВЁЗДЫ И КОБЫЛЬЕ МОЛОКО

Ночь. В степи хорошо, спокойно, не то что дома. Воздух на травах настоян, тихо, слышно, как далеко в речке рыбина большая плеснулась, и снова тихо. Ванька лежит ничком на сене, глаза вверх широко открыл. Там звезды по всей ширине неба рассыпаны, будто слюдинки у реки на песчаной прогалызине, на той, куда они с пацанами купаться бегают.

Только искупаться нынче редко удается, некогда—пары пахать надо. А это обычно—с раннего утра и—пока темнеть не начнёт, и так—с начала лета и до самого сентября. А не дашь дневную норму, бригадир отругает при всех: «Вот, Ванька с Колькой, стервецы, опять фашистам помощь чинят, норму не дают!.. Ишь... кобылье отродье!..» Да ещё и пару крепких словец пристегнет вдобавок, обидно, слёзы на глаза наворачиваются...

Вообще-то дядя Кумарбек добрый, натянет свою шапчонку поглубже, так, что старенький мех на глаза нависает, ругается, а сам улыбается под шапкой. Однако и с него начальство строго спрашивает, вот и ругает пацанов, чтобы взбодрить их. Чего ругается старый, руганью ведь дела не поправишь? Лучше б кормили их посытнее... Только в этом вопросе Кумарбек не поможет, и рад бы, да где ж её нынче взять, еду-то?

Только всё равно не прав он, дядя Кумарбек, никакой не помощник Ванька тем фашистам. Да он и в глаза-то их, фашистов, никогда не видывал.

Вот отец его, Михаил Лапшин, — тот видал, даже «памятку навечную-увечную» от них в ноге имеет. Помнит Ванька, в 41-м 22 июня прискакал в ихнюю Светкоммуну посыльный с главной колхозной усадьбы. К столовке прискакал. Собрал воедино всех, кто в ту пору на работе был: «Вой-на!»—

говорит. И список зачитал, длинный такой список, почитай, все мужики светкоммунские, кроме старых да малых, в нём: «Так вот, собирайтесь, значит, товарищи, Родину защищать от немецко-фашистских захватчиков». На следующий день батя на фронт и ушёл, со всеми мужиками соседскими, с Ванькиным старшим братом Семёном...

А в августе ранило батю. Пулей вражеской ему половину нижней челюсти разворотило, да в ноге осколок от немецкого фугаса застрял. Три месяца в бийском госпитале батя пролежал, совсем рядом от родных мест. Лечили его, лечили... мать пару раз к нему ездила, туда, в госпиталь, каждый раз дня на два, больше её из колхоза не отпускали, работать-то некому. Как возвращалась из Бийска—ревела жутко. Ванька мать жалел, но виду не подавал, верилось ему—батя у него крепкий, выкарабкается батя, поправится, и война закончится. Семён воротится, а там уж заживут...

Из Бийска комиссовали батю подчистую—не годен, да и то верно, кому на фронте такой солдат нужен, если он даже жевать толком не может. Мать ему натолчет в миске картохи ли, хлеба, когда был, да на стол ставит. Чуть ли не с ложки кормит батю.

Впрочем, как вернулся батя в Светкоммуну, тоже без дела сидеть не смог, бабам в колхозе помогал: дрова в столовку навозит, воду. Иногда и за топор, за пилу брался... Но раны покоя не давали, буквально на Ванькиных да мамкиных глазах таял. Особенно по ночам у него болело, когда спать ложился. Днем-то занят был, некогда о болячках думать, а ночью хоть волком вой. Да чего греха таить, волком и выл.

Ванька оттого домой и не идёт. Всё равно там не выспишься, батя всю ночь проворочается, про-

стонет, а мать рядом с ним тоже не спит—то воды подаст, то встать с кровати подмогнёт, если батя на двор соберётся...

Понимает умом Ванька, долго батя не протянет. Но всё равно оттого ему ещё тоскливее на душе дома становится. А уж матушка когда причитать зачнёт, то и вовсе сиро бывает, хоть беги куда глаза глядят...

Лежит Ванька, на звёзды глазеет. Хорошо ему в стогу, лежи да смотри, пока не уснешь. И про голод как-то забывается временами, иногда только и вспомнишь, когда в животе сильно уркнет, а так ничего, терпимо. На звёзды смотришь да слушаешь, как мыши внизу шуршат, тоже, наверное, пожрать чего ищут?.. Всем нынче голодно—и людям, и мышам. Война...

Когда в сене лежишь, а над тобой звёзды,—чего только в голову не ползет. То одно, то другое, но всё равно всё к мысли о еде возвращается. Вот раньше, до войны, жили они сытно вроде, Ванька-то помнит—не голодали. А только батя всё одно ворчал: «Ну вот, свалили всё в один котёл, теперича и ложкой из него не зачерпнёшь! Вот то ли дело раньше...»

Что там раньше, сам Ванька того не помнит. Но от отца с матерью кое-что слышал. А раньше, до революции ещё, на месте поселка Светкоммуна монастырские земли были.

Монастырь тот затеял богатый барнаульский купец Малкин, который ещё в 1862 году начал эту идею продвигать. В ту пору здесь вокруг алтайцы жили, а торговля с ними большую прибыль купцам приносила. Вот и нужно было Малкину здесь постоянное место обжигать. А чтобы разрешение ему от властей получить, стал купец власти письма писать, в коих убеждал власть, что «в этом мужеском монастыре», де, крайне заинтересована Алтайская духовная миссия. Ссылался при том на записку состоящего при миссии некоего иеромонаха Иоанна. Якобы говорилось в записке, что «члены миссии живут порознь, по целому году не общаясь между собой». Потому-то миссии крайне необходимо иметь центральное место в виде приюта. Там, по мнению монаха, могли бы найти «помощь и пособие на первых порах» прибывшие на Алтай.

В итоге ходатайство купца об уступке под монастырь «пустолежащих» будто бы земель было удовлетворено, а организация монастыря была признана во всех отношениях «желательной». А в 1864 году императором Александром II был высочайше утверждён здесь «общежительный мужеский монастырь».

Со временем влияние монастыря распространилось на всю близлежащую долину, а проживавшие вокруг алтайцы были поставлены перед

выбором: убираться им из долины или платить монастырю установленную аренду. Поскольку перспективы переселения для них были ещё менее привлекательными, чем житие «под монастырём», многие алтайцы предпочли остаться на обжитом месте. За право поставить юрту в этих долинах каждая семья должна была платить монастырю по рублю в год; те же, кто сеял ячмень, платили по рублю за пуд высеянных семян... Платили и за пастбища—за одну голову крупного скота по 25 копеек и ещё по 5 копеек—с головы каждой мелкой скотины... За сено, за право пользования лесом... А коли алтаец ещё хлеб сеял, то должен был он отдавать монастырю одну десятую часть урожая под видом руги, так называли по тем временам отсыпной хлеб, отдававшийся в виде жалованья представителям духовенства.

Постепенно монастырь разрастался и вширь, и втолщ, обживался всё большим числом насельников. Люди приходили сюда не только с близлежащих Улалы, Бийска, Барнаула, но и из центральных областей России. Со временем у монастырских появились свои мельница, дегтярная печь, печка для обжига кирпичей, большое молочное стадо и маслобойня, монахи стали разводить птиц и садить фруктовые деревья и огороды...

Ванька с ребятами раньше частенько бывал на монастырских развалинах. Огромный, одичавший со временем фруктовый сад, опустевшие, заросшие травой и кустарником остова братского корпуса и храма, а за храмом, чуть поодаль, ближе к холмам,—монастырское кладбище. Могилки монахов заросли, и холмики их почти сравнялись с землей.

Особенно любили собираться на кладбище. Трава здесь была густая, а на едва заметных холмиках росла самая крупная и сладкая клубника. Места вокруг были вообще клубничные, а здесь, на кладбище, особенно.

Увидел одну ягодку, нагнул, а рядом ещё пять, присел—ещё десять поманили. Так увлечёшься, что ничего вокруг не замечаешь. Складывает Ванька в рот ягодки, да жадно, почти не пережевывая, глотает, точно не успеет все их съесть—опередит кто-то из товарищей. Глотал, глотал, да за что-то ногой босой зацепился, ну и содрал кусок дёрна, а под ним краешек плиты чугунной. И буквы на ней. Любопытно Ваньке, расчистил он дальше надпись, а там «братъ Иоанн»—надпись и даты с... по...

Какой-то момент перепугался Ванька, а ну как там под плитой пусто, провалится плита и он вместе с ней туда. Но страх быстро прошёл, показал плиту друзьям. Они её полностью откопали, тяжёлая плита, втроём через силу с места подняли. Никакой пустоты там, конечно, не было, однако решили плиту на место положить. Мало ли...

Тогда, до революции, здесь же, на монастырской земле, на месте маленьких староверческих заимок, стали возникать небольшие поселения. Одним из них и образовалось село Зыково. По тому времени в селе было до восемнадцати дворов, и народ обитал самый разный. Прежде, конечно, это сами Зыковы—семья переселенцев-старообрядцев, которые облюбовали эту долину ещё задолго до появления монастыря.

Было и несколько семей, переселившихся с Украины. Как рассказывала Ваньке его ровесница-соседка Маша Пугачёва, мать её приехала сюда с родителями одиннадцатилетней девчонкой, ещё в 1910 году. А перед тем, как ехать Зыковым на Алтай, цыганка наворожила матери, мол, им на новом месте «на скот счастье будет». Вот и пригнали они с собой сюда скотину, привезли пшеницу, картошку, семена. Отстроились на новом месте неподалёку от монастыря, рядом с зыковской пасекой.

Постепенно в Зыкове стали строиться и алтайцы, которые жили вокруг отдельными урочищами, кочуя с одного пастбища на другое. Богатые селились обособленно, чуть за деревней, держали обыкновенно большое хозяйство, огромные стада, выпасали их на выгонах далеко за деревней. А бедные нанимались в батраки к русским и к своим зайсанам. Однако совсем бедных было немного, большинство хозяев в Зыкове держали крупнорогатый скот, коней, овец, сажали картошку—словом, на еду хватало. Пшеницу сеяли мало, в основном для хлеба. Питались преимущественно мясом и молоком.

Отец Ванькин был мужик мастеровитый, только к 17-му году, так случилось, хозяйство его как-то в одночасье ополовинилось, две дойные коровы пали, овец пришлось продать, да и на посев почти ничего не осталось. Можно было и у соседей на посевную пшеницы перехватить, однако в ту пору зайсаны и мужики побогаче, услышав, что в соседнее село приехали красные, целыми семьями собрались переселяться в Монголию, подальше с глаз новой власти, угнав с собой весь свой многочисленный скот. А Михаил с семьёй вынужден был на месте остаться, не последнее же бросать. А ехать куда-то за журавлём в небе он не решился.

Удалось ли переселенцам из Зыкова на новом месте заново поднять хозяйство, никому из оставшихся не известно, уехали они, как в воду канули. Да и не мудрено, времена были такие, что люди запросто пропадали, как говорится, «без суда и следствия».

Чуть позже на центральной усадьбе был образован сельский совет. А ещё через год всё монастырское хозяйство и постройки Советом этим были решительно конфискованы и переданы вновь созданной на месте монастыря коммуне. Правление находилось на центральной усадьбе, а отделения в небольших селах, вроде Зыкова. А чтобы окончательно

избывать тёмное прошлое, недолго думая, все деревни переименовали. Так Зыково стало Светкоммуной.

Монахи тоже разбрелись кто куда, большинство тоже бесследно исчезли. Из всех монастырских в Светкоммуне прижился один блаженный Илларион, которому, похоже, и идти-то было особо некуда. Он и в монастыре-то жил на правах приживалка, в своё время настоятель приютил его из сострадания, а единственным послушанием ему было помогать в меру своих сил в монастырском саду.

Прибавшись к коммунарам, отец Илларион возился с ихними самыми малыми ребятишками—что-то вроде детского сада на общественных началах—рассказывал им всякие волшебные истории, большей частью из Священного Писания. А ютился по-прежнему в сторожке в старом монастырском саду, который после ухода монахов скоро захирел, яблоньки в нём одичали и уже не давали такого богатого урожая.

Коммунары, так же из простого человеческого сострадания, оставили блаженного при кухне, иногда помогал он светкоммунским бабам—то дров наколоть, то воды поднести, а бабы соответственно поставили его на пищевое довольствие в общественной коммунарской столовой, где сами питались да кормили своих мужиков...

Конечно, всего этого Ваня Лапшин не помнил, да и не мог, поскольку родился лет через семь после того, как монастырские владения коммуне отошли, но от родителей и соседей-коммунаров обо всём этом, конечно, слышал. Нередко, особенно зимой, отец рассказывал ему, будто некую сказку о том, как жили в то далёкое «раньше», как пришла на монастырские земли неожиданно-нежданно советская власть и все стали работать сообща и дружно, строить какой-то счастливый коммунизм. Каким он будет, этот коммунизм, отец Ване объяснить не мог, но вместе со всеми предпочитал верить, что будет он светлым и счастливым для всех. Да и как не верить было по тем временам, себе дороже...

Впрочем, кое-что из того «раньше» и Ванька застал. Помнит он и коммунарскую столовую, когда женщины-коммунарки готовили сразу на всех, и обедали все вместе—и взрослые, и ребятня. Сидели за столы весело, с шутками, с прибаутками. У ребятни в столовой был свой отдельный стол, где они полностью хозяйничали, сами носили с кухни, сами разливали похлёбку по мискам—всё сами, и от этого тоже было радостно на душе. Помнит он и посиделки в нардоме, бывшем доме Зыковых, уехавших в Монголию. Когда ребята постарше танцевали под гармошку с девчонками, а они, малыцы, подглядывали в окна и исподволь

похихикивали, почему-то тогда им очень смешными казались эти народомовские танцы.

Запомнил Ванька и блаженного. Иллариона ребягня любила, чувствовали — добрый он, хотя имя у него, конечно, странное, и головой он как гусь постоянно кивает, но начнет рассказывать, заслушаешься, не то что родители.

Особо запомнился рассказ о рождении младенца Иисуса. Ванька живо представлял себе — вот Иосиф с беременной Марией отправляются в далекий Вифлеем... Правда, не совсем понятно Ваньке, зачем им обязательно нужно ехать в тот Вифлеем, неужели ради того, чтобы их сосчитали, ведь, как Илларион говорит, от Назарета до Вифлеема, ни мало ни много, более двухсот верст будет. Да и остановиться им в том Вифлееме особо не у кого — ни родственников, ни знакомых. А народу в Вифлееме, опять же по словам Иллариона, собралось на ту перепись видимо-невидимо... и вынуждены были Мария с Иосифом найти приют в хлеву для скота.

И Ванька снова представляет Марию с Иосифом в том хлеву среди запахов сена и навоза, таком же тесном, как загон для дойного стада у них в коммуне. А Илларион дальше рассказывает и рассказывает: «Марии же наступило время родить, и родила она Сына своего Первенца, и спеленала Его, и положила Его в ясли...»

А рядом с яслями — Ванька снова вспоминает светкоммунский загон — нет, не коровы, а овцы ходят, от них тепло, и шерсть у них, наверно, мягкая.

Непонятно Ваньке, зачем-то этот вифлеемский хлев находится в пещере, так утверждает Илларион и поддакивает себе, а сам по-гусиному головой всё кивает и кивает, так смешно... Но чует Ванька, всё равно от овец идет живое тепло, и сено пахнет свежо, с примесью каких-то нездешних волшебных трав, видно, вифлеемских...

...Тут Ванька почему-то вспоминает, зашел он как-то к своему другу Толе Тайдычакову, а тот сидит, нянчит своих младших братьев и сестру. Вся малышня в большом ящике с сеном ползает, голенькие, чумазые, но весёлые, хохочут. Видимо, сено щекотное.

А Толя рядом сидит в мамкиной юбке, которая у него на плечах завязана. Хотел было Ванька Толю гулять позвать, но посмотрел на него и спрашивает,

— Чего так?.. В юбке...

А Толя отвечает:

— Видишь, штанов нет, порвались совсем. Вот мамка юбку на время и дала...

И смешно Ваньке, и друга жалко. Помнится, выпросил он тогда у матери свои старые холщовые штаны, мол, а то играть совсем не с кем, да отнёс их Толику:

— На, носи...

...А Илларион всё рассказывает и рассказывает. Вот ангел Господен является пастухам, которые сторожат стадо, «...и слава Господня осеяла их; и убоялись страхом великим. И сказал им Ангел: «Не бойтесь, возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям: ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель. И вот вам знак: вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в яслях...»

Смотрит Ванька на звёзды, они — то блесками слюдяными мерцают, то дорожками в разные стороны разбегаются, а то и ровными рядками идут друг за другом, что борозды на свежевспаханном поле, где-то среди них та, Вифлеемская. Только далёко она. И сеном степь пахнет, родным, светкоммунским...

Одно плохо, в животе нет-нет да уркнет, раз, потом ещё. Всё-таки, сколько на звёзды ни смотри, а голод совсем не пропадает, есть всё равно охота. Поскорее бы уже уснуть, завтра опять пары пахать...

Как и все светкоммунские пацаны, Ваня Лапшин с малолетства к лошадям приучен был. В деревне, почитай, лет уже с шести-семи ребяташки с лошадьми управлялись не хуже взрослых мужиков. На водопой, бывало, водили, когда и в ночное на выпас выгоняли.

А чуть постарше, лет с десяти этак, помогали взрослым свозить силос. Грузили его на волокуши, типа саней. Потом везли к силосной яме, там бабы волокуши выгружали, и опять — вперёд на загрузку.

Зачастую и пары мужикам помогали пахать. На конной тяге, старыми плугами. Обыкновенно кто-то из мужиков или из тех, кто постарше, за плугом шёл, а ребятню седоками к себе брали. В каждый плуг пахари впрягали по две пары лошадей, на одной из лошадей передней пары обыкновенно подсаживали пацана, чтобы, значит, он лошадьми правил. А что, кони в колхозе к пахоте привычные, их особо даже не нужно было направлять, сами вдоль борозды шли. Самое главное для седока — не прозевать, когда борозда закончится, да развернуть упряжь вовремя и аккуратно, чтобы точно через определенный интервал в следующую борозду войти...

Только так-то до войны было. А как забрали мужиков — почитай, всех в неделю-полторы — осталось тогда их шесть человек — седоков. Двоим по пятнадцать лет, а ещё четверо, в том числе и Ванька, те вообще тринадцатилетние. Среди них и девочка одна была — Маша Пугачёва. Бедовая девчонка, под стать фамилии, хоть и соплюха, казалось бы. Потом, когда вырастет — Ванька уже решил, — он обязательно позовёт ее замуж, станут они вместе жить да хозяйство вести, как взрослые.

Но это потом, после войны, когда фашистов одолеют... В общем, так, седоки-то они седоками, но вопрос остро встал, а пахать-то кому? Так и стали седоки пахарями. Бригадир ихний, дядя Кумарбек, посмотрел на них, головой молча покачал да рукой махнул,

— А-ай... Пашите!

Только без седока пахарю как? За Машей Пугачёвой увязался братишка—десятилетний Васька. У Ваньки младших не было, только старший, и тот на фронте. Вот и позвал Ванька с собой Колю Пугачёва, Машиного младшего, ему только-только девятый годок пошел. Другие новоявленные пахари на них поглядели, да тоже малышню к себе взяли. А что? Лошади колею знают, да и пацаны на лошадях крепко сидят.

Конечно, почувствовал Ванька, — за плугом это не на кобыле верхом, тут главное ручки плуга крепко и ровно держать, чтоб отвал за плугом шёл. Трудно, конечно, ему, тринадцатилетнему с плугом управляться, но старается. Да и все стараются, по шестьдесят, а то и по семьдесят соток вспахивают...

А осенью ещё—уборка, вязка снопов, потом снопы скирдовать надо... Частенько и так бывает, только отпахаются они, приезжает дядя Кумарбек и говорит: «Ну, теперя, снопы скирдовать бы-стренько». А куда деваться, не будешь скирдовать, снопы влажные станут, потом жаться плохо будут, а значит, меньше хлеба на фронт нашим солдатам пойдет...

Почти засыпает Ванька, всё перед глазами расплываться начинает. Но голод не отступает, урчит в животе, даёт о себе знать. Самим-то им хлеба почти не выдают, только что на трудодни, а там всего-то на один жевок. А работа трудная, изнурительная. Ванька видел, на его глазах одна женщина, когда силос разгружали, работала, работала, как все, и... упала замертво. А у нее, Ванька знает, трое детишек осталось. Куда их? Хотя, подумать, кому нынче легко—война.

Скоро ли она закончится, проклятая? Вот старший брат недавно из-под Воронежа письмо прислал, пишет: «Мы тут фашиста бьём. Вы уж там потерпите, родные. Скоро, скоро победим. Вернусь, всё легче будет. Ванька, матери и отцу помогай, ты уже большой, а сейчас и вовсе из мужиков старший в семье. Батя, а ты выздоравливай, мы ещё с тобой выпьем за нашу Победу!» Хорошо бы, коли так. Только сводки с фронта идут о больших потерях и с нашей стороны. Вон Пугачёвы похоронку получили, Тайдычаковы... да, почитай, полсела осиротелых. Только и слышишь, то там, то там—бабий рёв по селу бродит. Здесь, в степи как-то тише, спокойнее.

И снова это урчание в животе, Ванька невольно вспоминает вчерашних сусликов, которые были у них на обед. Они приспособились, вырывали волосы из кобыльих хвостов, плели силки и ловили в степи сусликов. Обдирали шкурки, варили тушки в солдатском котелке. Вчера попалось три зверька, ими и поужинали. Только что такое три крохотных тушки на двенадцать голодных ртов!..

Еще иногда дядя Кумарбек привозит им альбумин, выдаёт граммов по 200–250 на человека. Альбумин — это такая жидкая масса, что-то среднее между молочным обратом и творогом. Ванька от кого-то слышал, что делают его из коровьего молока где-то в Белом Ануе. Где он, этот Белый Ануй, Ванька не знает, но альбумин съедает с удовольствием. Вкусно, но мало. Голода альбумином не перебьёшь.

Иное дело—кобылье молоко. Дядя Кумарбек выделил светкоммунским старухам четыре конематки, старухи доили их и делали кумыс. Кумыс этот потом куда-то отправляли, но и бабушкам тоже немного перепало. Пацаны видели это и соображали по-своему, у них под плугом в одной из упряжей ходила дородная ожеребившаяся кобыла Параша. Вот только доить кобылу никто из них не умел.

Как-то раз прошли они несколько кругов и решили слегка передохнуть. Тут как тут—Парашин жеребёнок, он рядом пасся. Сразу под мамку и за сиську, молоко сосать. Толик Тайдычаков на это дело смотрел, смотрел и говорит:

— Бабки там лошадей доят, кумыс пьют. А мы тут никак не можем!

Подошёл, отогнал жеребёнка, а сам вместо него пристроился прямо к соску. Пацаны над ним смеются: ну чё, Толик, нашел себе титьку!

А он на них внимания не обращает, знай сосёт. Напился молока и говорит,

— Ну всё, ребята, сытый я теперь!

Пацаны смекнули, и туда же, за ним. Оказалось, очень даже можно, соски у кобылы, будто специально, упругие, в разные стороны торчат, сразу четверым пристроиться легко. Молоко тёплое, чуть сладковатое на вкус, и травами пахнет. А Параша стоит себе спокойно, точно так и надо. Маша увидела, сперва поворчала на ребят:

— У малого молоко отымаете!

— Брось ты... Всё не высосем... А жеребёнок, он всегда при кобыле, голодным не останется. Лучше молоко попробуй!..

Маша бочком, бочком, потом попробовала. Видать, и ей понравилось, да и есть шибко охота. Словом, напились все, потом и жеребёнок подошёл, и ему что-то осталось, вымя-то у кобылы вон какое!

Конечно, дядя Кумарбек пожурил пацанов из-под своей меховой шапки. И как догадался только? Выговорил:

— Ребята, чё ж творите-то? Жеребёнку маленько оставьте!..

А Толик на своём стоит:

— Да чё ты, дядя Кумарбек, неужто, мы всё высосем?.. Жеребёнок-то, он всегда при кобыле...

Вздыхнул Кумарбек и рукой махнул:

— Ладно, пейте, кобылье отродье. Бог с вами...

С тех пор и пьют они кобылье молоко, в голодуху-то хорошее подспорье.

Облизнулся мечтательно Ванька, уже во сне. Перевернулся на бок, подсунул руку под голову и блаженно почувствовал, как звёздные борозды в небе слились где-то впереди в один струящийся плавно свет, тёплый и сладковатый, пахнущий травами, будто кобылье молоко.

ВЕТЕР, БАЛАЛАЙКА, ПРЯНИКИ

Всё здесь знакомо, всё исхожено-перехожено на сотни раз; нога каждый камешек помнит, да и как не помнить, сапоги-то старенькие совсем, подошвы поизносились, ступишь—вот они, камешки, словно босой ногой чувствуешь: голыш обкатанный, рядом ещё голыш... а этот острый, в ногу норовит впитаться. Много их здесь, камешков на обочине Чуйского, шагай себе по ним да шагай...

Сколь раз—от родного Чепожа до Бийска, назад—от Бийска до Чепожа; то по этой стороне реки—по тракту, то по другой стороне Катуня—через Грязнуху, через Алтайское, через Аю... туда и обратно, туда и обратно. И всё с ней, с балалайкой за спиной. Куда ж без неё, без кормилицы?..

Сегодня как-то особо солнце жарит, духота, и пить уж больно хочется. Ну да ничего, Фёдор привык терпеть, и родник, он уж недалёко, вон там, у поворота, сразу под горкой среди густых, тенистых зарослей ивняка. Журчит он, родной, в тенёчке по галечкам круглым журчит, а вода в нём вкусная да холодная, в самый жаркий день зубы ломит, особенно после первого глотка.

Там-то, у родничка, и передохнёт он, там и отобедает. Слава богу, сегодня неплохо в чайной подзаработал, вот всегда бы так. Да ещё и бабы на рынке пирогами угостили, расщедрились нынче торговочки-милашечки:

И-эх,

По базару походил бы,

Свою милку полюбил бы.

Я умею чай варить,

Умею чай заваривать,

Умею девочек любить,

Умею подговаривать...

А во фляжке, вот она, водка булькает, мужики

в чайной поделились. Да, сегодня можно будет и подольше вздремнуть у родничка, не всегда так удачно выпадает, чаще:

Эх...

Покурил бы «даточку»,

Да нет на её бумажечки...

Фёдор неторопливо, чинно, со значением собственного присутствия, спускается к роднику, знает, спешить будешь, обязательно самое главное упустишь, самое приятное не ощутишь. Вот спустился, оглянулся вокруг, котомку на траву положил, тоже не спеша. Трава-то нынче сухая, стало быть, не промокнет в котомке ничего, особенно балалайка, её-то, родимую, он пуще глаз бережёт. Не дай бог, намокнет она да рассохнется.

Ну вот, теперь и попить можно. Вода в роднике прозрачная, на дне каждую веточку видать, каждую травинку, каждую песчинку малую.

А сквозь густые ивовые прутья сверху лучики солнечные пробиваются, да со дна чешуйки слюды время от времени проблескивают. Прилагодился Фёдор поудобнее на четвереньках да прямо к воде губами припал. Сперва пил её жадно, долго пил. Потом уж медленнее стал—на вкус пробовать, глотками. Сглотнёт, глаза прищурит—хорошая вода, правильная, не иначе—живая...

Ну вот и напился, утолил Фёдор жажду. Встал, тряпицу из котомки достал. Расстелил. Тряпица хоть и мятая, но чистая, скатерть как-никак.

А пироги огромные, такие только в Сростках тётки на базаре продают. В газету старую, ненужную завернутые. Интересно, с чем они?.. Откусил один—ах ты, его любимый! — с картошкой да с грибами. Тёплый ещё, вку-усный! Прожевал не торопясь, потом только к фляжке немного приложился. Там-то не вода, ясно дело, но с устатку тоже иногда полезно бывает.

А как трапезу закончил, аккуратно все остатки обратно в котомку сложил, только тряпицу стряхнул да бульжник ей застелил. Достал «кормилицу», посмотрел, подумал, сыграть—не сыграть? Себе же для души да на сон грядущий... Нет, пожалуй, не стоит, разморило чегой-то, в сон шибко клонит. Балалайку рядом на бульжник застеленный уложил, бережно, как живую, будто дитя. Себе же котомку под голову бросил и фуражкой глаза сверху прикрыл, чтоб солнце не беспокоило, значит:

И-эх, баю-бай,

Засынай!

Голубёнок сизонькай!..

Уснул быстро, намаялся всё ж в дороге.

Он ведь, Федя не всегда бродяжил. И родители были у него, хотя был отец, нет ли, точно не помнит; а мамка-то—наверняка, и дом был у них

в Чепозе, недалёко от Эликмонара, что по дороге от Чуйского в сторону Чемала. Только давно это было, вспоминается да и верится с трудом, точно и не с ним вовсе.

Сейчас вот спит он, матушку во сне видит, знает, что матушка это, а лица у неё различить не может, не помнит, точно в тумане каком оно, лицо её. Говорит она что-то, а голос глухой, нездешний какой-то, будто эхом занесённый непонятно с какой стороны.

Помнит ещё Федя, мамка в детстве смеялась. Бывало, спросит он её:

— Мамка, а батя-то у нас где?

А она шутит:

— Да он, что ветер, Федюшка, у нас—то там, то тут... Вот тебя ветром и надуло.

— Как это?

Интересно Феде.

— Обыкновенно.

Мамка смеётся.

— Дуло-дуло и надуло тебя, такого любопытного...

Смешно ей, мамке, а Феде непонятно. Щёлкнет она его по носу и опять хохочет.

Уж постарше стал, сообразил, — залетный какой-то мужичонка, видать, мамку обрюхатил, сделал дело да уехал потом восвояси. Только ветер этот подорожный до сих пор у Феде в голове гуляет, оттого и тянет его куда-то постоянно. Не раз уж задумывал остановиться он, обосноваться где-нибудь, осесть, как все люди нормальные, да не получается ничего. Только решится, только изладится, отойдёт с дороги день-два, отмоется от пыли да грязи, отпарится, а на третий день—будто ветер налетит, опять в дорогу Федю покличет, и всё—потянуло... Неважно Феде куда, главное — идти.

Вот так и ходит, песни поёт, людей веселит да радуется. И фамилия у него такая—ему под стать, не то Тилилинский, не то Тилилецкий, это уж кто как назовет. А Фёдору и по боку—хоть горшком, лишь бы не в печку. Да и, правду сказать, не обижает его сильно-то никто, больше любят да жалеют, особенно девки да бабы. Давеча вот на базарчике пристали:

— Федь, а Федь, ну сыграй ту... жалостливую... про любовь...

Феде что, он и жалостливую могёт. Сел здесь же на скамеечку, призадумался... Это обязательно так надо, видел он, как настоящие артисты призадумываются всегда, перед тем как начать, чтобы, значит, не сразу, а выждать маленько—пусть потомытся бабы, созреют, чтоб Федину песню слушать. Только потом струны слегка тронул, опять выдержку дал, и заплакала, зарыдала балалайка, что душа, —про милого, про

любовь безответную, про слезы горькие бабы:

Эх, да нельзя берёзе

К дубу перебраться...

Слушают бабы, а слезы текут. Умеет Федя так, чтоб до слёз!

Только умолкла, затихла балалайка, а уж мужики с чайной кличут:

— Федя, айда к нам! — Весёлые мужики, верно, поддатые крепко. — Хорош из девок слезу гнать, у нас здесь друго spoём, с «картинками»!..

Пожал Фёдор плечами, будто перед бабами извинился, да к мужикам в чайную. Слышал, как бабы вслед на мужиков переругивались:

— Ишь, паразиты, сами с утра водку жрут!.. Ещё и Федюшку spoить норовят!..

— Это Васька, чёрт непутёвый, с утра налима залётным шоферам продал. Сидят теперь, ироды, выручку егонную спускают...

— Пока всю не спустят—не угомонятся.

Знает Федя, сначала попросят мужики плясовую да со свистами, с трелями чтоб соловьиными! И это он могёт, балалайка не умолкает, частит, и Федя ей в такт подсвистывает, ладно так, художественно, — ноги сами в пляс идут.

Потом частушки запросят мужики, поначалу приличные им петь начнёт:

Меня били-колотили

Два ножа, четыре гири...

По базару побродил.

Больше так не делай!

Делай, делай,

Голубёнок белый...

Но они, неугомонные, «картинки» затребуют, а громче всех Васька, тот самый, что налима шоферам продал. Он нынче «на коне» —удачлив, а стало быть, веселее и пьянее прочих. Нынче он всех угощает, щедр и добр нынче Васька.

Сам-то Федя с «картинками» не шибко любит, стесняется их петь. Но народ просит, сильно просит, и то понятно, разгулялись мужики не на рупь—не так часто такая удача приваливает. И поёт Фёдор, потому как им нынче в картинках откажешь? Правда, сами слова матерные будто прожёвывает, невнятно так их поёт, точно бубнит. Но мужикам всё одно весело, ржут, ровно жеребцы молодые. Да тут же и Феде стопку всё наливают и наливают. Выпьет он одну, вторую, а потом:

— Извини, народ, Федя после допьёт! — Сливают водку со стопки во фляжку.

— Да брось ты, Федя! — Отбирают мужики фляжку у него, полную её водкой заливают и возвращают.—На вот! Хватит тебе в дорогу! А эту стопку пей—не жалея, чужая не своя,

ляжет как милая, а вдогонку — не лишняя!..

Но Федор твёрд. Знает, путь впереди далёк у него, а пьяному—и того дольше будет.

— Эх, тили-тили, два ножа—четыре гири, Тилилецкий ты—Тилилецкий и есть...

А то! Федя согласен, пусть Тилилецкий. И не знают они, не догадываются, что Ершов он отроду, вообще-то, Фёдор Ершов... Только когда это всё было?..

А балалайка—тили-тили, тили-тили... Может, и верно, лучше оно так—Тилилецкий. Привычнее.

Когда из чайной Федя вышел, почувствовал, всё же лишку выпил, уговорили чертяки неугомонные, да и сам зачем их слушал—пьяный умного не посоветует. Идёт Фёдор через базарчик, покачивает его слегка, тут-то баб на жалость и пробило, тут-то они на пироги и раздобрились, голубы—а как иначе их назовёшь, Федя баб любит, они Федю жалеют, он их—так и раскудахтались:

— Возьми-ка, Феденька, пирожка в дорожку, тепленький ищё!

— Ан и моего возьми, след раз расскажешь, чей пирог вкуснее был...

— Эх, голубы! — Федя рукой махнул, в шутку махнул, но этак безнадёжно. — Знали бы вы, почему Федя до сих не женился...

— А ты скажи-расскажи, милай, вот и будем знать. Неужто по себе невесту не нашел?

— А как же найти-то?.. Вас эвон сколько, и каждую люблю!.. Как одну выбрать, чтоб не пожалеть потом? Опять же выберешь, других обидишь, вы ж вона какие—нежные да вкусные...

— Экий ты, Федя... Охальник...

Делают вид, что конфузятся, а сами хихикают потихоньку в платочек. — Ветренный да непостоянный...

Что есть — то есть, тут они правы. Почитай, в каждой деревеньке по Чуйскому — ну не в каждой, ну через одну — у Феде своя тайная жалейка есть. Это он с виду такой неказистый, а так — огого мужик! — и руки на месте, да и всё остальное тоже. А баб одиноких да брошенных, да недоласканных, их — вона сколько! — бери — не хочу.

И кажную-то он пожалеет, для каждой свои слова найдет. И они от Феде многого не требуют, понимают—зашёл, пожалел-приласкал—и за то спасибо, не так часто у мужика на плече им выспаться удаётся. А Федя добрый, ласковый он. И безобидный.

Правду сказать, есть у Феде одна, что пуще других к себе тянет, но не настолько, чтоб совсем и навсегда. Галей её зовут, в Усть-Ише обитает.

Но дорога сильнее, там простор, там ветер, там полынь по обочинам... Там—свобода! Сам себе Фё-

дор Ершов—хозяин, куда хочет—туда и идёт, и песни поёт, какие хочет, а не какие начальству надобно, потому и слушают его, потому и к себе зазывают...

Но и он, Федя человек не такой простой, как кажется. Не все это понимают, но те, кому дано, видят—нет, не простой Федя, талантом не обделённый, есть в нём от милости Божией. Точно—есть. Портрет Федеин как-то один художник нарисовал. Из Киева художник, с самой художественной академии, из тех, что на настоящих художников учатся.

Недалеко от Аноса это было. Федя случайно на художников вышел, они там, у костерка похлёбку готовили, Фёдор на запах и вышел. Художники—мужики правильные оказались, накормили Федю, всё честь по чести, потом уж за жизнь начали расспрашивать. Как узнали, что Федя на балалайке играет, попросили, чтоб, значит, исполнил чего-нибудь. Один из них—Иван, как потом оказалось, родом со Сросток, так и сказал:

— Фёдор, а исполни что-нибудь, пожалуйста, уж не побрезгуй!..

Если просят, Фёдор—всегда пожалуйста. В лучшем виде им всё исполнил. Да и художникам понравилось. А этот, друг Ивана—Евгений, ему и предложил:

— Поживи с нами, Фёдор, пару дней, я тебя нарисую...

С хорошими людьми чего не пожить, опять же поговорить с ними интересно, да и они Федю слушают внимательно, уважительно, кормят вот, угощают.

Тот, который рисовать Фёдора взялся, фамилия у него странная—Муза. Он так Феде объяснил, мол, Муза—женщина такая, которая приходит обнажённая, ну или почти обнажённая, к художникам или поэтам, они сразу вдохновляются и рисовать начинают или стихи писать. А коли и он, Федя, — человек творческий, то и к нему приходиться должна, стало быть. А он, как придёт, на балалайке играть да песни ей петь... Чудно!

Представил Федя, вот пришла к нему Муза, голая, а он давай ей наигрывать своё «эх, мать-мать...». Нет, что-то здесь не так... Какая тут игра, ежели баба голая?.. Сыграть, это уж после можно, как дело сделают...

Но всё равно интересно. Битый час Федя перед Евгением сидит, не шелохнется, хорошо хоть комаров нет. А Евгений посмотрит на него так внимательно, как изучает, и мажет чего-то там кисточкой. Феде интересно туда, за этюдник, заглянуть, чего там у Евгения получается, а вдруг не похож он, Федя, на себя? Но терпит. А как иначе, сдвинешься сейчас, испортишь всё, так ему Евгений объяснил. Сиди, мол. Не шелохнись. Вот и сидит Федя, старается.

Однако, видно, зря Фёдор боялся, хороший художник Евгений. А уж как он похож, шибко похож, как есть он—и лицо его, и рубаха, и бала-лайка, всё Федино. Ему понравилось, он и поблагодарить Евгения не позабыл:

— Красиво! Спасибо тебе...

— Не за что.

Ещё Евгений сказал, что картину эту—он её всё этуодом называл—выставит где-нибудь в Киеве на своей персональной выставке, и тогда Фёдора много людей увидят, узнают, что есть на Алтае такой лихой балалаечник Фёдор Тилилецкий. А потом, может, он её сюда, в Сростки, пришлет, пусть и здесь все на Фёдора смотрят и знают, не простой он человек, Федя, —весёлый, а то и грустный бывает, но талантливый шибко... Так потом всё оно и вышло, правда, Федя про это уже не узнает.

Да разве ж только художники талант Федин понимают и чувствуют!.. Вот, не так давно прибился Федя к артистам, к съёмочной группе. Опять же, шёл мимо, да зашел. Те тогда фильм снимали, а жили в деревне Шульгин Лог, в школе. А с ними Иван, тот самый художник со Сросток. Приглянулся Фёдор чем-то главному ихнему—Макарычу. Тот, оказывается, родственником каким-то Ивану приходится.

Феде самому интересно, он и сам, как-никак, артист хоть куда, и хочь не документов у него с собой, да и вещей не густо—телогрейка да бала-лайка, — Макарыч всё равно его не прогнал, оставил. Так и сказал:

— Зачисляю тебя на полное довольствие.

Жил здесь же, в школе, Федя со всеми артистами, и кормили его со всеми сытно, и относились уважительно. Макарыч ему даже сняться в фильме предложил и деньги выписать велел. Вот только бухгалтер заартачился, не то чтоб вредный был, просто никак сообразить не мог:

— Как же я ему выпишу-то? На кого? У него ж никакого документа с собой нету!..

Да Федя и сам от денег отказался. Глупости всё это и заботы лишние. Возьмёшь те деньги—бумажки да медяшки,—потом идешь в магазин, на нужные вещи меняешь. Зачем такие сложности. Так и сказал Макарычу:

— Не надо денег, дайте сапоги яловые, телогрейку да штаны тёплые, а то холода грянут, а я—как есть весь из дырок...

Макарыч мужик понятливый, правильный, хоть и исподлобья пристально глядит, но всё вмиг понял. Распорядился, чтоб окромя запрошенного купили Феде ещё пару брюк и рубах несколько. То-то Фёдору радости было, а киношникам смеху. Как здесь не засмеёшься, надел Федя всё это на себя сразу: штаны на штаны, рубаха на рубаху, да тело-

грейка сверху, хорошо хоть сапоги одни купили...

— Не жарко ли тебе, Федя? —Серьезно его спрашивают, а сами вот-вот прыснут да со смеху на землю повалятся.

— Не-е, не холодно... А ежели и тепло слегка, так жар, он костей не ломит.

Непонятливые какие-то люди, странные. Действительно, складов своих у Фёдора отродясь не бывало, бросить жалко—новое всё, только раз и надёванное. Так и ходил он весь «наряженный».

Поначалу-то кое-кто из киношников к нему пристально приглядывался, мол, что за человек такой, ещё и Макарычу высказывали, мол, пригляд нужен, а ну как стянет чего-нибудь! Только Макарыча не проведёшь, видит он людей насквозь, понимает, Федя не такой, не воровливый.

Уж очень он шибко к киношникам привязался, а Макарыч к нему, тоже жалел, видать. А уж как Федину балалайку слушать любил, сильно хотел, чтоб в фильме егонном она прозвучала. И название-то у фильма подходящее, балалаечное— «Печки-лавочки». Самое что ни на есть Федино название.

До чего Феде любопытно, как он там, в кино глядеться будет. Когда отснятое с Макарычем просматривали, удивлялся, неужто вправду он, а ведь и точно он, как живой, вот и щурится хитро, вот девкам подмигивает, а девки на экране молодые, забористые... А вот по струнам пошел—тили-тили:

*Закурил бы «даточку»,
Нет на её бумажечки.
Посмотрел бы на народ,
Да нет мойй милашечки.
Делай,
Голубёнок белай!..*

Федя на себя глядит, а Макарыч думу мыслит, как бы куда ему Федю в кадр приспособить: не то на пароме, когда Ивана провожают, не то ещё куда... Додумал всё же, в начале самом, когда надписи идут, кто в фильме снят, Федя поёт и одновременно как шторка—то с левой стороны экрана он, то с правой. Вроде как всё равно те надписи никто не читает—Макарыч так ему объяснил, — так пусть хоть Федю послушают, настроятся на фильм.

После того как эпизод с Федей отсняли, по просьбе Макарыча второй режиссёр, женщина, которую Фёдор побаивался—баба, а как мужик в штанах ходит, курит какие-то вонючие сигареты,—определила ему работу ходить с мегафоном и зевак от съёмочной площадки отгонять. Видимо, хотел Макарыч, чтоб Фёдор подольше с группой побыл, да и самому Феде то интересно было. Вот и старался он со всей ответственностью, важный ходил с мегафоном, покрикивал, чтоб не мешали, значит, работать, фильм снимать.

А когда и вовсе съёмки закончились,—пришла

пора киношникам в Москву возвращаться. И понимал всё Федор, что расставаться придется, но всё в душе надежда теплилась, а вдруг скажет ему Макарыч:

— Давай с нами, Фёдор! Будешь в Москве на сценах выступать, деньги большие зарабатывать...

Один из киногруппы ему подрежь так говорил, мол, понравись Макарычу, возьмёт он тебя в Москву... И хоть не верил ему Фёдор, но очень уж ему того хотелось. А вдруг и правда скажет!..

Не сказал. Что ж, ему виднее, знал, наверное, что-то про московское житьё-бытьё. То знал, что Феде неведомо. Грустно так и устало на Фёдора поглядел, молча, исподлобья, как всегда, только ещё теплее и жалостливее. А кто-то из киношников сказал ему, вздохнув:

— Художническая, Федя, у тебя душа...

Как чувствовал тогда Макарыч, что после первого же просмотра смонтированного уже фильма первый заместитель председателя Госкино Баскаков прикажет: «Сморщенного старика, самодеятельного, выбросить из фильма...» А после исчезли из монтажной и коробки сольного Федеино концерта, где он заносил балалайку за спину и за спиной перебирал струны, наигрывая свою «Мать-мать...», и поёт так, что все без исключения плачут. Все, только не Баскаков. Чёрствый он, видать, человек, бесчувственный. Но даже Макарыч ему противостоять не сумел—начальство!..

Вот и думай, какие там песни в той Москве поют. И под чью балалайку?..

Лучше уж так, по тракту. Хоть и хлопотно это, много ходить приходится, но ничего, сегодня он до Усть-Иши дойдет, а там Галя, там баньку протопит. Малого своего увидит. Хоть они с Галей вместе и не живут, а сынок у них есть, кроха еще—третий годок пошёл. Забавный такой, на Федю шибко похож. Увидит его, ручонки тянет, а мать ему:

— Глянь-ка, сынка, кто к нам пришёл? Что за гость?.. Да то ж папка пришёл! Гляди, чего он нам принёс-то?

А как же, принёс. Нынче Васька-рыбак шибко гулял, потому и очень добрый был, вот и купил Феде кулёк пряников:

— На, — говорит, — малому своёму отнесёшь! Пусть порадует пацан.

Было бы предложено, а если ещё от чистого сердца, то Федя завсегда—пожалуйста, вон он, кулёк-то с пряниками, в котомке. Всё он сыну передаст, как Васька ему наказал, расщедрившись спяну.

Разморило Федю нынче хорошо, проснулся он далеко за полдень. Тень уже сильно увеличилась, да и солнце не так светит, теперь и идти легче будет, зноя такого нет. Умылся из родничка. Снова

про сына подумал, недалеко уже до Усть-Иши, повезёт—он попутку остановит, меньше чем через час там будет.

Сынишка... Малой, конечно же, пряникам обрадуется, а больше—ему, Феде. Он мальчика обязательно на руки возьмёт, поднимет его высоко, подбросит три раза, потом даст ему балалайку, пусть он струны потрогает, попробует их, ясно дело—интересно ему это. А балалайка, она вся расписанная, на ней все киношники свои подписи поставили, чтоб память, значит, Феде осталась.

И малому тоже интересно, будет он водить пальчиком по росписям ихним, чего-то своё лопотать. Одному ему и понятное.

Соседка Галина баба злая, как-то Гале высказала, мол, недоделанный у тебя малец, от такого же недоделанного. А Федя думает—это от зависти, самой-то ей тоже мужиковой ласки в недостатке отпущено, еённый-то мужик от неё же в город сбегал, теперь там шоферит где-то...

Знает Фёдор, вообще, бабы, если недоласканные, — злые становятся. Их лучше тогда зазря не трогать. Вот сегодня на базарчике случайно Фёдор услышал, одна баба постарше другую—помоложе наставляла:

— И чего ты, так всё и оставишь? Начальнице своей все с рук спустишь? Она тебя премии лишила, а ты ей—пожалуйста, мол, нате вам... Негоже так, ты письмо прокурору пиши, мол, так и так, незаслуженно денег лишают... Увидишь, как она завертится!

— Да я чего... Боязно как-то... Не то правда написать?..

— Да напиши, поди...

Это та, что постарше, поучает.

Вроде как и не настаивает, подбивает исподволь. Для начала возмутилась будто немного, а потом—ух, хитра бабёнка! — вроде как тоже засомневалась, но масла в огонь всё подливает и подливает. Феде со стороны это хорошо видно.

— Конечно, можно и не писать... Но с другой стороны, и напишешь—от тебя не убудет...

— Да вроде как за дело лишили премии-то... Вроде как по закону...

— За дело—не за дело, пока разбираются, нервы она себе потреплет, начальница твоя... А то и, глядишь, связываться не захочет, всё на обратный ход пустит...

— Нешто взаправду написать... Хоть и за дело, а всё обидно!

— Напиши, от тебя не убудет...

Слушал Фёдор и не понимал, откуда злости-то столько, разве ж так можно, взять и написать на человека?.. Точнее, понимал, у той, что постарше, видно тоже зуб на эту начальницу есть, только

самой-то ей зачем писать, когда чужими руками случай подвернулся. Сейчас вот эту молодую дурёху настроит!.. Эх, бабы, бабы—мужиков бы им хороших, враз бы про письма все забыли!.. А так, разве можно?..

Видать, можно. Вот Макарыч ему рассказывал, дай Бог ему здоровья, на него-то, на Макарыча, сколько уже таких писем писано. И всё больше каким-то «анонимом», что за имя такое? А может, кличка... Мол, не так всё он, Макарыч, пишет; земляков, мол, своих порочит всяко; не такие они, мол, у него в рассказах да в фильмах... А как не такие, много Фёдор с Макарычем разговаривал, много смотрел из того, что он снимает, —да всё там правда, правда—как есть.

Понятно, не всем она по нутру. А тем более Макарычева: он жёстко режет её, матку, прямо. Вот Федя, ежели критикует кого в своих песенках, так всё с юморком, ну похихикают, ну внимания не обратят или вид сделают... А кто так и не поймет, что про него. Все вокруг поймут, на человека посмотрят так улыбкой, а ему—что с гуся вода. И так бывает...

Но не у Макарыча, шибко уж он всё в лоб, шибко серьёзно. Может, оно и правильно, только долго он так не протянет. Завалит его с головой письмами «аноним» этот—будь он неладен, —какое же сердце с такой ношей справится!

А Федя, он хоть и простоват, но в этом отношении Макарыча мудрее, пожил, повидал. Опять же бит не раз:

*Эх,
Били-колотили
Три ножа, четыре гири...*

А что малого касаемо, так в Федю он. Хороший парнишка, только доверчив очень. Что ему ни говорят, всё за чистую монету принимает. Он и сам, Федя, такой же, только учёный больше, не раз уж на том доверии обжигался. Теперь-то и на воду дует:

*Эх,
Умею чай варить,
Умею чай заваривать!..*

Он, Федя, десять раз нынче подумает, прежде чем что-то на веру принять. Ну а уж по поводу недоделанности мальчика—тут вовсе зря соседка Галина наговаривает. Хороший малец, ладный. И Феде вон как радуется. Конечно, если со стороны глядеть, —других он не лучше. Но и не хуже. А если с Фединой стороны—так его он, кровинка! И пряники вот ему...

Вышел Фёдор на трассу. Пошагал бодро, быстро. Хорошо по обочине шагать, по камешкам. Мимо, по тракту, машины проносятся, махнёшь им рукой—не останавливаются. Может, торопят-ся сильно, может, просто Федю в компанию брать

не хотят, и то верно, неприглядный вид у него, ежели из машины смотреть. Оттуда ведь, на полном ходу, в душу не заглянешь. Да он на них не в обиде, нет—и нет. И дальше себе шагает. И вольно ему, и хорошо.

Наивны те, кто полагает, что главная дорога там, по асфальту. Главная—она здесь, на обочине. Там что, мелькают деревья, дома, когда и человек промелькнёт, но быстро всё, одним мгновением, промелькнуло—и забыл, и ничего ни в душе, ни в сердце не осталось, ну или почти ничего. В лучшем случае, осело всё где-то глубоко, да так глубоко, что сразу и не отыщешь. Как пыль: один слой, тут же на него другой оседает, не успеет всё улечься и успокоиться, как сверху третий ложится—и так до бесконечности.

Другое дело, когда по обочине шагаешь. Вот берёзка, прямая стоит. Здравствуй, родная! А рядом сестрёнка её, сторбилась, видать, когда-то макушку бурей подломило, так она веточкой в сторону пошла. И ты здравствуй!.. А чуть дальше, Федя хорошо помнит, рогатая есть. У неё ствол раздвоен, из одного два в разные стороны идут, точно реки—Бия с Катунью, только наоборот. Хотя с какой стороны глянуть. Можно и так представить, что сверху, от неба, от света солнечного они исток свой берут—там, вверху, веточки у них тоненькие, колышутся, а на них листики свежие, что ручейки. Любит он так вот представлять да додумывать, пока шагаешь—времени много. А здесь вот, в метре от земли, они, два ствола этих в единый сливаются, а уж он, единый—что река Обь,—вливается в общее: иначе говоря, в землю уходит... Что-то в этом есть, так Федя думает. В конце концов, всё в этом мире с землёй роднится, землёй становится, после во что-то иное перерастая.

Вот и люди, они—тоже. Чуть подалее за берёзками, немногим в стороне от Чуйского, кладбище есть небольшое. Могилок на нём немного, но ухоженные. Сразу видно, деревенское кладбище. Когда Федя в Бийске бывает, то на выходе, прямо у начала дороги, в сосновом бору—огромное кладбище есть. Старое. Там все больше могилки заросшие, как брошенные, видно, —давно их никто не убирает. Хотя, почему как, брошенные, видно, и есть.

Всё же город есть город. Это не в деревне, где связи родственные—они вот, всё на поверхности. Этот тебе—брат, этот—сват, а тот вон рыжий да косматый—сёдьмая вода на киселе. Но всё равно все они друг про друга знают, все друг друга помнят. Здесь память у людей долгая, потому и могилки ухоженные.

В городе иначе, чем он больше, тем память в нём короче остаётся. Скажем, просто переехал ты

на соседнюю улицу, и всё у тебя новое: улица, дом, квартира, и сами соседи... А старое, ну помнишь поначалу, вроде даже тянет туда... но через пару месяцев ты про него и знать забыл. И всё это в порядке вещей в городе, ты не общаешься со старыми знакомыми, не разговариваешь, общих интересов нет, да и не было никогда, так, по-соседски встречались, ну, здоровались, и всё—к чему помнить?..

Федя это понимает, но не разумеет. Это как по тракту, ежели на машине проехать—одно, а ногами обочину всю от начала до конца промерить—совсем иной расклад получается. Сам-то он больше пешочком предпочитает, хотя вот нынче и он туда же, — поскорей бы до Усть-Иши добраться. Давно малого не видел, сегодня что-то особенно шибко к ним с Галей потянуло.

В конце концов повезло Феде. Тормознул он грузовую. Шофёр какой-то заполошный немного и подозрительный. Федю взглядом измерил недоверчиво, мол, во что одет, на рожу, значит, каков... Потом только кивнул:

— Ты, это... давай в кузов залазь.

В кузов значит в кузов. Феде даже лучше, там ветерок и продувает—всё не в кабине париться, — да и ехать недолго осталось, ну, полчаса, не больше.

Кинул он котомку в кузов, сам залез. Устроился поудобнее, кепку свою снял, тоже в котомку засунул, чтоб ветром не сдуло, значит:

Эх,

Есть по Чуйскому тракту дорога.

Много ездит по ней шоферов...

Оно на машине, конечно, быстрее. Вот волосы ветром треплет, бороду раздувает, лохматит. Опять же березки да тополя—только мелькать за бортом успевают по обочине. В лица их Федя уже не всматривается, просто здороваётся со всеми сразу, с каждой уж отдельно—то после, в другой раз. Сегодня простите, торопится Федя, к сыну с женой торопится, вон уже и ишимский мост вдали показался...

Шофёр тоже торопился, домой спешил. Оттого и заполошный такой был. Сейчас этого блаженного в Усть-Ише высадит, а там до Горного минут тридцать ходу...

Он не успел понять, что произошло. То ли кочка, то ли камень... Машину резко кинуло к кювету:

— ...твою мать! — только и успел крикнуть. Колесо за обочину выскочило.

Два раза машина кувыркнулась и... встала на колёса. Ещё минуты две он сидел ничего не ображая, ошалело смотрел вперед, в одну точку. Потом отпустило, сознание стало возвращаться. «Живой, слава Господу!» — промелькнуло в голове. Попробовал стартер, двигатель завелся. «Надо же,

неужто цел». — Он огляделся по сторонам. Метров за пять здесь же, в кювете, валялся мешок этого блаженного, чуть дальше балалайка, а вокруг неё по зеленой траве были рассыпаны пряники. Почему-то это бросилось в глаза более всего, пряники на зелёной траве, тёмные, как родинки.

Сам пассажир лежал ближе к машине, как-то неестественно скрючившись, слипшиеся на затылке волосы были в крови. Лица не было видно, Фёдор лежал уткнувшись в землю. Не шевелился.

«Жив—нет ли? — подумалось. — А ну как нет?» Водитель испугался. Почувствовав, что дрожь в руках немного унялась, он включил скорость и надавил на газ...

Третий раз за день Фёдор сегодня проснулся. Первый—утром, второй—там, у ручья, и вот сейчас... Сразу вспомнил, как он летит через борт, потом удар головой—и всё, дальше—тьма. Пошевелился, странно, боли не чувствовалось. Поднялся тогда, взял балалайку—цела, родная, только покарябалась слегка, —уселся на камень неподалёку от обочины и играть стал.

Шофера мимо едут, смотрят сидит мужик окровавленный весь, на балалайке плясовую наигрывает. Остановиться боятся, мало ли. А Федя играет себе и играет. Один, болезный, молоденький парнишка, совестливым оказался, тормознул, спросил:

— Что с тобой?

Федя, как смог, объяснил ему. Рассказывает, а сам балалайку из рук не выпускает, точно подыгрывает себе:

— Дык, это... Домой я ехал... перевернулись вот... А этот... шофер, так уехал, наверное... не помню...

Видит парнишка, весь в крови мужик. Страшно ему тоже, да и посадишь сейчас в кабину—всю сидущку уделаешь. Федя, как ни ушибленный был, понял, видно, эти его сомнения:

— Ты езжай, —говорит, —до Маймы. Там в больничке про меня скажешь, пушай приедут, заберут...

— Ладно, я счас!.. я быстро!..

Не соврал парень—молодец—прислал-таки за Федей машину. Только поздно было, не дожил он немного. Что тут скажешь, погрузили его мужики—санитар с водителем. Санитар вокруг походил, осмотрелся, водителю сказал:

— Гляди-ка, пряники! Видать, сладкоежка был мужик-то...

— Угу, — буркнул водитель, он видно не в настроении сегодня был, а может, сам по себе такой, неразговорчивый...



Юрий Милославский

ИЗ РАССКАЗОВ О ВРЕМЕНИ

Нью-Йорк США

Юрий Георгиевич

Милославский – прозаик, поэт, историк литературы. Родился в Харькове.

В 80-е годы постоянный автор журнала «Континент». Почётный член Университета Айовы (США) по разряду изящной словесности (1989).

Член американского ПЕН-центра. Автор романа «Укрепленные города» (1992), повести «Лифт» (1993), циклов рассказов «От шума всадников и стрелков» (ARDIS, 1984), «Скажите, девушки, подружке вашей» (ТЕРРА, 1993), книг-исследований «Знамение последних времен» (2000) и «Странноприимцы» (2001); воспоминаний об И.А. Бродском (2007, 2010); сборника «Возлюбленная Тень» (2011).

Моя мать, Анна Валентиновна Усова, носившая до замужества фамилию Закачурина, была родом из мельчайшего городка на восточном побережье Крыма.

В 50-х—и до начала 60-х гг. прошлого столетия в тех краях у нас ещё оставались кое-какие родственники, что позволяло практически каждое лето возить меня к морю без особенных затрат, которые наша семья вряд ли смогла бы себе позволить. Когда я немного повзрослел, мама, — давно, видимо, этого дожидавшаяся, — принялась с увлечением водить меня по своим памятным местам, что для меня, по правде сказать, всегда бывало неинтересно. Мне показывались дома, где прежде будто бы жили какие-то замечательные, но исчезнувшие люди, или располагались кафе, где подавались необыкновенно вкусные пирожные (надо ли говорить, что ни самих кафе, ни пирожных в природе уже не существовало?). В парке мне показали участок, на котором находилась танцевальная площадка, куда мама впервые пришла с одноклассницами. И наконец, я увидел поместительное здание, где и по сей день находилась школа, в которой мама училась с 1925-го по 1934 год (затем деда-путьца перевели на иной участок, тоже, однако, в пределах Тавриды).

Знакомство с маминой школой произошло летом 1961 года, около восьми часов утра. Мне должно было исполниться тринадцать. Повзрослел я рано, и потому свою школу я ненавидел, своих учителей терпеть не мог, ни малейшего уважения к ним не испытывал, зато начинал активно покуривать, попивать и тискать девчонок.

Итак, мы очутились у главных дверей старого гимназического корпуса. То была длинная—от угла она продолжалась до полуквартала в направлении приморской набережной, —о двух, но высоких этажах постройка, фасадом своим выходящая на широкий короткий проулок, называвшийся, разумеется, Школьным, угловым же торцом—устремлённая к трамвайной линии одной из главных магистралей города. Я говорю: «устремлённая», поскольку это зеленовато-коричневое с белёсым налётом здание было достаточно далеко отодвинуто и от проезжей, и от прохожей частей улицы: его предварял обширный двор—прямоугольная вытоптанная площадка с несколькими акациями, огороженная низким каменным бордюром. На узкой его части, поближе к школьной стене, сидел какой-то человек. Приблизясь, я безошибочно определил его как «местного», —прежде всего, по тусклой, даже грязноватой скучной одежде и плоской кепке. Заметно было, что он погружен в дремоту, по всей вероятности—с перепоя.

Мы двигались прямо на него. Мама увлечённо, даже с хохотом, рассказывала мне о каком-то преподавателе, произносившем слово «смешно» с ударением на первый слог: «сме́шно»: «Закачурина, что вам все смешно?»

Мамин смех, за который её постоянно бранила бабушка, потревожил сидящего на бордюре. Он, не распрямляя при этом туловища, исподлобья,

чуть пригляделся, — без особого, впрочем, внимания, — своими почти бесцветными, бывшими на-верняка когда-то совершенно прозрачными, как у большинства крымских славян, узкими глазами, высоко посаженными на состоящей из многочисленных железисто-тёмных от загара и гадкого питья складок—тощей физиономии, и произнес:

— Закачурина, дай три рубля.

Едва остановясь, мама достала из своей курортной сумки-корзинки утлый, с клапаном на кнопке, кошелёчек, вытащила оттуда свежую, зеленоватых тонов, трёшку и передала её в лениво приподнятую, тоже темноватую, невытую руку.

— Ага-ага, — сказал пропойца, кивая при этом головой.

— Ну, беги дальше.

— Кто это? — спросил я, как только мы последовали его совету.

— Наш пионервожатый, — комическим шепотком отозвалась мама, оглянувшись.

Между тем пионервожатый уже снялся с бордюра и довольно бодро направился в противоположную от нас сторону, где, кажется, находился рано отмыкающийся винный ларек.

— Пионервожатый? — переспросил я.

— Да; Тоже Коля, как ты. Бороденко. Он из деревни какой-то, под Мелитополем. Физкультурник.

— Сколько ему лет? — Мне было непривычно видеть старика на этой, требующей постоянного нарочитого оживления, должности.

— Не знаю, — вздёрнула плечи мама. — Он лет на десять или даже побольше старше. Двадцать с чем-то, может быть...

— Мама, что ты?! Ему как нашему деду...

— Ну, какому там деду, — как бы задумавшись, не сразу найдясь, ответила она. — Ему двадцать...

И тотчас остановилась. Корзинка, куда она успела вернуть кошелёк, бывшая у правого запястья, поехала к её локтю, потому что она вдруг со всплеском взялась ладонью за щеку, захватывая при этом и скулу. При этом корзинка накренилась — и чуть было не выронила наземь мамин прекрасный, на самшитовых планках, шёлковый расписной веер, который я же и подарил ей на Восьмое марта (деньги на его покупку были мною собраны из разнообразных, не всегда легальных, источников).

— Ой, — произнесла мама испуганно. — Что-то мне плохо стало с сердцем, сыночек. Давай постоим в тени две минутки.

Её лицо, — несколько обвисающее по сторонам, лицо тогдашней, небогатой, постоянно в рабочих и домашних трудах, сорокадвухлетней женщины, — несуразно разведённой, живущей с ребёнком вместе с родителями; отчасти мило-

видное, кроткое, но болезненное, с кожей, требующей особого ухода по склонности к раннему увяданию, — мамино лицо, — совершенно, ни в одной подробности своей, не сходное с теми многочисленными детскими и девическими (в большинстве — прибрежными) её фотографиями, которыми полон был наш семейный альбом с перламутровыми накладными лебедями на крышке, так что узнать её, тогдашнюю в теперешней, было делом невозможным, — мамино лицо побледнело до того, что на слегка раздвоенном хрящике её приподнятого угловатого носа стали видны — в виде чёрных точек — расширенные и забитые поры.

К ней уже приходилось вызывать «скорую помощь», но не из-за сердца, а из-за нездоровой от юности печени.

Но на моё предложение усадить её на всё тот же школьный бордюр, от которого мы ещё не весьма удалились, а самому побежать в курортную поликлинику, которая находилась буквально в нескольких десятках метрах от нас, — и пригласить оттуда врача, мама отозвалась резким и поразившим меня ледяной своей серьёзностью отказом.

— Нет; никуда не ходи; постой спокойно; сейчас у меня всё пройдет; я просто перегрелась.

— Мама! Да когда же ты могла? Мы же даже на пляже ещё не были...

— Молчи! — с гневом прикрикнула она. И повторила трижды: — Молчи, молчи, молчи.

Я не то чтобы оробел, но, скорее, растерялся. И, чтобы, как я полагал, отвлечь и развеселить её, решил засмеяться:

— Ты, мама, чудачка, — в нашем семейном обиходе часто употреблялось это южное выражение. — Отдала старому пьянице наши деньги на мороженое и ещё говоришь, что ему двадцать лет.

— Мол-чи-и!!! — на этот раз тихо, но с настоящим исступлением вновь потребовала мама. — Замолчи совсем. Ничего не говори, ничего не спрашивай. Или я сейчас уйду, а тебя оставлю. Прямо здесь.

— Но ты же плохо себя чувствуешь...

— А значит, я сейчас умру, — перебила меня мама.

— Хочешь? Вот прямо здесь упаду и умру. Сразу умру. Хочешь?!

Я онемел от никогда не испытанного прежде страха.

Но мама уже пришла в себя; что-то в очертаниях и окраске её лица переменялось к прежнему; улыбаясь, она наклонилась ко мне и громко поцеловала в самое ухо.

— Страшно, а? Страшно? — При этих её словах мы уже оба смеялись. — Всё. Я выздоровела. Быстро пошли искупаемся — и домой завтракать.

Тетя Лара (двоюродная; в далеком прошлом—известная на побережье красotka) уже помидоры с огурцами режет для салата.

Фотографии пионервожатого я не видел, — т.е. мне на него никогда не указывали. Предположительно, что на самых ранних снимках он присутствовал на заднем плане, — среди прочих сухощавых мускулистых молодчиков, обнажённых до пояса либо в белых «соколках». Во всяком случае, повторюсь, ни он для мамы, ни мама для него ни при каких условиях не могли быть узнаваемыми. Но там и не произошло ни единовременного, ни последовательного узнавания, — не только как церемонии, процедуры, но и как события, сколь угодно «компактного».

Я оказался свидетелем того, как вследствие какой-то ничтожной неисправности, «заскока» в работе темпоральной системы на одном из её участков произошёл своего рода сбой, отчего постулируемое временное «расстояние», накопившееся между данными двумя индивидуумами, резко сократилось (я сознательно определяю произошедшее так, будто бы вместе с Шопенгауэром поддерживаю нелепый миф о «равномерности течения времени во всех головах»; это делается мною исключительно для удобства изложения).

Важно отметить, что, судя по всему, оно не исчезло совсем, но именно уменьшилось: от «объективных» тридцати с лишним лет—до «субъективных» мгновений. Нам возразят, что напрасно-де субъективное и объективное заключены здесь в кавычки. Со временем ничего не стряслось, а вот в пропитанных скверным алкоголем нейронах бывшего физкультурника произошло нечто инволюционное, возможно из области ретроградной амнезии, когда осознание настоящего путается, а прошлое, напротив, помнится в мельчайших деталях и т. п. В таком состоянии позволительно допустить до сих пор не классифицированное патологическое обострение чувства прошлого, феноменального внимания к нему, что и позволило больному мгновенно узнать одну из своих пионерок, вспомнить её фамилию и т.д. При этом самого себя в настоящем он «не забыл» и потому обратился к прохожей немолодой даме с естественной в его настоящем положении просьбой (т.е. исходя из настоящего времени). В свою очередь, сознание дамы, в этот период также всецело ориентированное на прошлое, можно сказать, поглощённое им, оказалось способным признать в старом пропойце—своего давнишнего весёлого жоака. Признать, —т.е. принять это знание. Но откуда оно явилось к ней? Нельзя исключить и вероятность своеобразной суггестии, прямого

эмоционального и даже психического (телепатического) контакта, — ведь, в конце концов, мы все ещё недостаточно осведомлены о происходящих в мозгу процессах.

Я, конечно, готов допустить, что самих себя мы знаем ещё хуже, чем природу времени, но без малейшего колебания оставляю закавыченными «субъективное» и «объективное»: ничто не дает нам оснований считать, будто о времени мы знаем всё же достаточно, чтобы безоговорочно отнести описанный мною случай темпорального короткого замыкания—к области психиатрии.

То, что мама, окружённая, так сказать, вещественными, материальными феноменами милого ей прошлого, оказалась способной взойти в него,—и встретиться там с тогдашним своим знакомцем, вполне может сойти за бродячий сюжет множества фантастических повестей. Впрочем, позвал её в это прошлое—пионервожатый, явившийся, таким образом, инициатором встречи; он узнал её—и она ответила ему; в этом и заключается некоторое своеобразие явленного нам сюжета.

И всё же я склонен считать, что зачинщицей была именно моя мама: она находилась в состоянии невысказанной отчаянной просьбы,— просьбы о воссоздании того парадиза, эдемского курортного парка, частью которого она некогда была; сегодня мне это внятно. И просьба-мольба её была исполнена на уровне «объективном», пространственном. В пределах этого, совсем небольшого, участка случайно оказался мой тезка—пропащий физкультурник. Кстати, случайно ли? —или в горьком умилении утренней похмельюги, когда в мозгах ни с того ни с сего загорается ослепительный и безнадежный свет понимания: неужели это всё? —да, всё.

— А что ж мне теперь делать-то? — а ничего,—загорается, но сейчас же и гаснет, — бедняга с насколько не меньшею, чем когдатошняя юная его пионерка, со всею силою пожелал и взмолился: «Раю мой, раю...» — и его мольба была признана достаточной, чтобы ему перепала хотя бы эта мамина трёшка?

Пусть так. Но в моём предварительном знании о времени есть и ещё нечто, особенно противящееся пересказу. Поскольку время—есть явление тварное, постольку не исключается, что оно может иметь и определённый плотский облик. Эта плоть времени, даже будучи, как правило, невидимой для нас, вероятно, оказывает своё прямое воздействие на те физические/тварные же объекты, с которыми мы находимся в соприкосновении. Тем самым время даёт себя увидеть как таковое. Мы же приписываем времени воздействие

исключительно косвенное—т.е. убеждены, что наблюдаем его, видя, например, старение, превращение в прах, либо, напротив, расцвет, созревание и т.п. Доказательства того, что все эти перемены—происходят под действием фактора времени, связаны с ним,—отсутствуют. Мы лишь допускаем (по взаимной договорённости), что именно время, мол, наложило свою печать на это человеческое лицо, на это здание, на эти его подгнившие, изрезанные ножами подростков, лестничные перила. Откуда мы это взяли?

— А ниоткуда. Из всё того же произвольного допущения, что время идёт, движется, и мы движемся в нём/вместе с ним, а наблюдаемые нами перемены—есть признаки работы/движения времени.

Я всегда, лет, пожалуй, с пяти, хотел увидеть время.

Заботясь о моём образовании, мама не раз приводила меня в краеведческий музей, где обращала моё внимание на битые глиняные горшки, каменные наконечники стрел и проржавевшие остатки железных орудий. Там были, конечно, и более привлекательные предметы, вроде мечей с узорными рукоятями, крупных золотых гребешков с украшениями в виде столкнувшихся лбами косматых чудовищ, выпуклых элементов рыцарских панцирей с кружевной чернью.

— Здесь всё старое? —спрашивал я.

— Это не старое, Коленька, а очень-очень древнее, из курганов, из раскопок,—отвечала мама. — Это нашли глубоко в земле. Почитай—ты же у меня хорошо читаешь,—что здесь пишется.

И я прочитывал те или иные цифры в римском написании, за которыми стояло: «...до н.э.» или «...н.э.»,—но не видел бесспорных признаков, действительно отличающих это древнее от нового, будь оно целым и чистым либо поломанным и грязным.

Мною владели сомнения.

С бабкой (переехавшей к нам после того, как отец и мать расстались) мы частенько ходили на рынок, называемый по старинке Рыбным. На пути к нему долго сносили разрушенное бомбами здание. Однажды я заметил на очищенном от строительного сора участке высокую конусовидную кучу каменного щебня. Воспользовавшись тем, что бабка остановилась поговорить с приятельницей-соседкой, которая уже, побывав на Рыбном, возвращалась к себе, нагруженная двумя чёрными хозяйственными кошёлками, я подобрался к щебёнке—и без труда обнаружил там множество наконечников стрел; нашлось также и три-четыре фрагмента каменных топоров.

Постоянно встречались мне во дворах и на

улицах насквозь проникнутые ржавчиной железные листовые обрезки, из которых можно было выкроить экспонаты для нескольких музеев кряду, и, конечно, вдавленные в грунт глиняные черепки. В подобных случаях (как утверждают некоторые сочинители) дитя либо восторженно бросается к старшим, показывая им найденные свидетельства жизнедеятельности первобытных/древних людей, либо—старательно припрятывает свои сокровища, начиная составлять свою собственную тайную коллекцию древностей.

Подобная глупость мне никогда не приходила в голову. Напротив, я обрадовался, что наконец-то выяснилось действительное происхождение всех этих «наконечников» и «топоров», помещённых в музейных витринах.

То есть мои подозрения были оправданными.

Но я не подавал виду, что это жалкое враньё, с помощью которого меня пытались перехитрить, мною уже разоблачено и отвергнуто, так как не хотел понапрасну расстраивать маму. Было ясно, что обманывать ей приказали на службе или в школе, где она состояла в родительском комитете. Я понял, что мне не разрешается видеть время—так же, как, например, голую женщину, и эти запреты вызывали во мне общие по своей природе чувства.

Томление продолжалось до моего перехода в шестой класс, когда делу помог случай.

Из комнаты во флигеле, или, точнее, в пристройке, примыкающей к чёрному ходу нашего дома, был увезён в больницу старик по прозвищу «Градоначальник». Считалось, что будто бы он состоял в родстве, а то и приходился младшим братом одному из последних наших губернаторов царской эпохи. То был маленький, болезненно искривлённый, но вместе с тем судорожно-быстрый человек, одетый в, казалось, облипший на его теле буроватых тонов «утиль» и всегда при низко напаянном матерчатом картузе с большим прямоугольным козырьком.

Позднее за этот картуз его прозвали ещё и «Маленковым»; и мы, мальчишки самого начала 60-х годов, разумеется, толком на ведающие, в чём состояла соль прозвища и кому изначально принадлежала эта фамилия, тем не менее сразу же отыскивали её обидную, уничижительную основу, пронзительно выкрикивая на разные голоса: «маленькой, маленькой!!»

По неизвестным причинам наши крики приводили «Маленкова-Градоначальника» в неистовство, и он, притом довольно ловко, гонялся за нами, а настигнув, пытался посильнее ударить ногой, что ему изредка удавалось. Впрочем, при появлении кого-то из взрослых он сразу же остав-

лял нас в покое и переходил на обычный свой шаг.

Но его увезли. Те же, кто наблюдал за произошедшим, рассказывали, что «Маленков» еще «рыпался» и лепетал, когда его размещали в фургоне.

Прибывший по вызову участковый опечатал дверь умирающего в больнице жильца, наклеив на замочную скважину особенный бумажный прямоугольник, от которого тянулись две нити, объединённые сургучной лепёшкой. Все это, однако ж, не помешало нашим ребятам поздним вечером проникнуть в «маленковскую» комнату; меня, одиннадцатилетнего, взяли с собой. Щель между наружными покоробленными оконными рамами с лёгкостью пропускала нож; его лезвие достигло крючка, а гвозди, на которых держались шпингалеты, вылетели вон при первом нажиме. С внутренними рамами также долго не замешкались, только чуть было не наделало шуму стекло, что, разумеется, никого бы не остановило: окно располагалось в тыльной стене флигеля и выходило на высокий, не слишком тщательно установленный дощатый забор, а за ним—простиралось незаселённое, поросшее кустарником пространство, где, судя по всему, давно предполагали начать какие-то земляные работы.

Ребята были навеселе и оттого не столько искали денег и ценностей, сколько дурачились: они роняли на пол стаканы и тарелки, перехватывали друг у дружки знаменитый «маленковский» картуз, примеряя его перед зеркалом, вделанным в шифоньер; а в конце концов разбили и самое зеркало, запустив в него увесистым настольным предметом, который, как я теперь понимаю, служил подставкой для чайника или самовара.

Несомненно, нас могли услышать—и, при желании, увидеть, но кто бы стал вступаться за «Маленкова»?

Раздражал недостаток света: под потолком горела одна-единственная лампочка без абажура — свечей на двадцать пять, да и она то и дело мигала. Но у старших нашлись карманные фонарики; впрочем, и я захватил с собой бывший в те дни новинкой китайский походный «рефлектор» с цилиндрическим серебристым корпусом.

Подурчась еще немного, старшие принялись обшаривать комнату, причём в толстой книге, из числа стоявших на полке, сразу же были найдены несколько десятирублёвок, а затем и полусотенная. На меня внимания больше не обращали, потому что подобных томов оказалось до нескольких дюжин и обыскать их надо было внимательно, так как улежавшиеся в книгах одиночные, а в особенности новые купюры могут и не объявиться, если страницы всего лишь перетрясти.

Предоставленный самому себе, я подобрался к высокой тумбочке-шкафчику со скошенным верхом, — то была, вероятно, вышедшая из обихода мебель, называемая конторкой. В среднем её отделении, под лежащими там бумагами, отыскался обтянутый чёрной кожей продолговатый коробок на защёлке. Едва я сместил её, лампочка в комнате вновь и вновь мигнула, а затем и погасла. Это вызвало смех, ругань и небольшую суматоху, покуда кто-то из нас не забрался на стол, чтобы попробовать всадить инвалидку поглубже в патрон, если только она не перегорела вовсе. Затея отчасти удалась. Жалкое устройство ещё периодически вспыхивало, но было понятно, что ему приходит конец. Поэтому я, кое-как пристроив на выдвинутом ящике фонарик, занялся своей находкой. В коробке, который не сразу позволил себя приоткрыть, лежала крупная и, очевидно, тяжёлая серебряная рюмка с червлёной насечкой и тремя золотистыми накладными цветками. Их развёрнутые на зрителя перламутрово-белые лепестки плавно мерцали. Моё внимание привлекли яркие алмазные крупинки, что составляли центры каждого из цветков. Чем дольше я смотрел на красивую «маленковскую» рюмку, тем сильнее утверждался во мнении, что её увезенный хозяин не отмыкал коробок с тех пор, как убрал его подальше от посторонних глаз. До меня, в продолжение скольких-то трудно предствимых подростку лет, за этой рюмкой не наблюдал никто, и, в отличие от музейного хлама, её не подсунули «Маленкову» обманом за день до нашего вторжения.

Уже протянув руку, чтобы поскорее присвоить найденное, я увидел, что прежде замеченное мною мерцание в действительности не исходит от лепестков и вообще никак с ними не связано. Над поверхностью рюмки, полуокружив её, но отнюдь не прикасаясь, разместилось некое туманно-студенистое сосредоточение-сгущение неопределённой консистенции. Оно словно бы состояло из бесчисленных мелких частиц, напоминающая этим участок солнечного луча, когда тот становится видимым благодаря парящим в воздухе пылинкам. Я попробовал было направить на него /?/ свой фонарик, но эффект оказался обратным ожидаемому: освещённая туманность переставала быть видимой.

Я тщательно прикрыл коробок и вернул его туда, где он был обнаружен, стараясь не потревожить накопленной в нём временной (как мне представлялось) сущности.



**Жуковский
Россия**

Игорь Михайлович Михайлов

родился в 1963 году в Ленинграде. С 1982 по 1984 год служил в ГСВГ (группа советских войск в Германии).

В 1989-м закончил филфак МГПИ им. Ленина. Работал сторожем, дворником, социальным работником, грузчиком, журналистом в местной газете «Современник», в подмосковной газете «Домашнее чтение», в «Московской правде», в журнале «Литературная учёба». Ныне – редактор отдела «Проза» журнала «Юность». Ведущий колонки «Стиль жизни» в «Независимой газете».

Публикации в газетах «Комсомольская правда», «Общая газета», «Алфавит», «Московская правда», «Книжное обозрение», «Независимая»;

журналах «Московский журнал», «ОМ», «Четыре сезона», «Golf style», «Юность», «Литературная учёба», «Коростель».

Автор книг: «ЗАО Вражье» (М.: Юность, 2003), «Письма из недалёка» (М.: «Художественная литература», 2011);

литературный редактор книги Корrado Ауджиаc «Модильяни» (М.: «Молодая гвардия», 2007, серия ЖЗЛ).

Лауреат премии журнала «Литературная учёба» в номинации «Проза» за 2002 год. Лауреат премии имени Валентина Катаева в номинации «Проза» за 2006 год.

Игорь Михайлов

СТАРЬЁВЩИК ЛЕОНИД

БЕЛАЯ ЛЕБЕДЬ НАД ЧЁРНОЙ ВОДОЙ

Проснуться однажды в Ростове – всё одно, что погрузиться в русскую смуту: раскол, убиенный Димитрий, череда Лжедмитриев и прочая. Первым делом сам-то Ростов и есть смутьян.

Попробуй с первого раза растолкуй кому-нибудь, а прежде самому себе, куда тебя ветром задуло: в Ростов Великий, что на озере Неро, в Ростов-на-Дону или ещё куда дальше и глубже.

Солнце брезжит сквозь сито занавесок. И ещё не ясно, кто ты и где.

Южный Ростов – городишко провинциальный, пыльный, необъятный, жаркий, как сковородка с семечками. А этот – северный, пошедший мерить широкими шагами окрестные земли от мери.

Русская история темна, как эфиоп! Или – Неро.

Неро по-итальянски – «чёрное». Хотя при чем тут итальяшки, которые, если куда и добрались, то скорее до Ростова-на-Дону? В Крыму они памятников по себе оставили немало.

А тут что?

Судаль и Владимир, где Тарковский снимал «Андрея Рублёва», находятся чуть в стороне. Не те ли итальянцы, которых князь пригласил на оглашение колокола, наследили, обозвав его чёрным? А может быть, чернота мазутная увязалась за ним, когда стало ясно, что купаться здесь нельзя?

На берегу возле лодки, напоминающей корыто из пушкинской «Сказки о рыбаке и рыбке», или корыта, напоминающего лодку, старуха лузгает семечки. Наверное, всё та еще, что хотела стать царицей морскою.

Кажется, что если ничто неизменно на свете белом, то именно здесь, на этом мертвеном побережье, обложившем Ростов Великий, словно данью с живописного пейзажа, открывающегося туристу с автострады.

Город окаймлён водной гладью, и светлые храмы над черной водой – Спасо-Яковлевский и Успенский соборы – напоминают лебединые шеи на барском пруду.

Это и есть русская сказка, нравоучительная до приторности, сладкая, как мятный пряник. А на поверку – драма: баба у разбитого корыта жизни...

Тёмные лики русской истории обращены в самое себя. Светлые в своей простоте лица ростовчан на берегу обращены к ветру. Он бродит по глади озёрной, как песок в пустыне, гонимый назойливым, будто комар, жужжаньем моторки. Вдоль берега лопухи.

Японцы будто бы предложили очистить озеро. Взамен пожелали всё, что на дне, себе забрать. Но им ответили: «не нужен нам берег турецкий и Африка нам не нужна».

Но всё это не в счёт и невпопад, словно предисловие к книге, которую никто не читает.

В Ростове вдруг одолевает чувство великости и одновременно малости. Особенно рядом с Успенским собором.

Крепостные стены плотно держат его купол в своих руках, как свечу на ветру. Внутри Митрополичьи палаты с лепными украшениями, церквушки, каждая на свой манер, но все пятиглавки, прудик, ажурные ворота, лабиринты входов и выходов, куда можно войти, будучи уверенным на все сто, что ты в сегодня, а на выходе ты в этом уже не так и уверен. А может быть, не уверен вообще. Зачем и куда надо было выходить из этого русского средневекового рая, за каким лихом?

Нынче Ростов—антикварная лавка. Успенский собор поутру сияет, как начищенный самовар. Вокруг торговые ряды, из которых, если приняться, тянет овчинными тулупами, навозцем, пенькой. Хотя на поверку—китайский ширпотреб.

Тут бы и осесть. Торговать какой-нибудь сувенирной дрянью на Соборной площади или шинами, напиваться вдрабадан в трактире «Алаверды», а потом всё по Лескову, по «Чертогону». Всё ведь рядом. Под рукой. И кабак, и церква.

С Ростовом надо породниться, хотя бы во имя того, чтобы не быть чужим. К чужим здесь относятся подозрительно.

Вечер распустил над городом черные крылья. На Соборной площади молодежь оттопыривается.

Достучаться в старинные двери до кремля—как будто в учебник по истории угодить. Вот сейчас выйдет какой-нибудь Иван Васильич насупленный и научит мерзавца посохом, как любить советскую родину, и сделает из твоей лысины там-там.

Где-то среди всех этих декораций, лесов деревянных и лабиринтов находится гостиница. Деревянные Митрополичьи палаты. Скрипучая лестница, тяжёлые подовые перила. Всё основательное, как в доме у Собакевича.

Хочется севрюги с хреном. И раз уж никто не трогает, то провалиться вот в эти тартарары русской истории с её опричниной, смутой, боярами. И особливо с боярынями с бровями собольими. Хочется опуститься до великого загула, раз уж всё так повернулось. Раз такие пироги с котятками. Кино, вино, домино...

Консьержка рисует на бумаге сложную схему, на которой, следуя по стрелочке, можно не только поместить машину на стоянку, но и осуществить задуманное.

Иду по стрелочке: налево, потом опять налево. Потом ещё раз, и еще много-много раз. За камен-

ным забором глухо брешет цербер. Я пытаюсь его себе вообразить и пугаюсь собственного воображения.

Стучу в дубовую дверь:

— Иван Васильич дома?

Никого!

И ещё раз: разбудим декабристов, Герцена и всех, кто живой, по списку. Чего нам, татарам?

Ростов в великой спячке.

— Это кто, террористы?

— Да, — говорю, — а что, не похоже?

— А холодная водка есть?

— Нет, — говорю, — предупреждать надо!

Вместо декабристов и Герцена—охранник под мухой и потому улыбается по всю ширь своей железной улыбки. Он после того, как ощутил в своей ладони ясак, отводит мне лучшее, «элитное», место возле забора с лопухами.

«Элитное» — потому что он сам свою колымагу сюда ставит. Стало быть, как для себя старается.

— А это всё, — он тычет рукой во тьму русской истории и ряд каких-то фургонов и вагончиков, — московские паразиты. Кино снимают!

Понимающе чмокаю губами. Вот обложили ростовский Кремль данью. Да не силой взяли, а количеством.

И потом мы долго и не без удовольствия кроем чохом в ночи всех: олигархов, итальянцев, и заодно—московских паразитов. И никого не боимся. Потому как охраннику уже сам черт—не брат. А я—под покровом кремлёвских стен.

В Митрополичьих палатах есть искус спрятаться, и причём насовсем, от настоящего времени, от Москвы, московских и не только паразитов и даже не очень паразитов. И не московских. И переселиться в прошлое. Удрать куда глаза глядят!

Утро розовое, как зефир. Владычный двор, митрополичий сад—Песнь песней. Птички щебечут, словно ангелы шепчут, турист ласково шаркает тапочками по булыжной мостовой, в центре двора небольшое зеркало пруда!

В его чистую утреннюю первозданную тишину смотрит, как кажется, сам Саваоф, и купола омываются лазурью.

Стало быть, ночные мои мытарства не напрасны, думаю я, раз я в раю?

Выхожу во двор, в глубине натянуто белое полотно экрана, светильники, фильтры, вальжные бояре в кафтанах и кушаках, с накладными бородами покуривают в сторонке.

Московские паразиты!

Прошлое, настоящее, всё смешалось. В городе с белыми храмами над черной водой...

ВЕНЕЦИЯ МИНОРЕ

Каждый плавающий и путешествующий выдумывает свой город, который порой не совпадает с общепринятым мифом, растиражированным в рекламных буклетах. Я выдумал свой. И забылся в нем...

Венеция миноре похожа на брошенного своим хозяином пса, лежащего у кромки воды.

Вся туристическая свора от вокзала Санта-Лючия устремляется вперед по Терра Листа ди Спания, хотя до Понте Риальто по правой стороне куда быстрее. Но кто об этом задумывается: быстрее, медленнее. В Венеции всё растворяется без остатка.

В том числе и остатки разума.

Турист в массе своей любой гений места превращает в место общего пользования. Тысячеглазое чудовище в домашних тапочках и клоунских маечках.

Да кто они такие? Да по какому праву?

Просто канальство какое-то!

А мне кажется, что я здесь был задолго до того, как помню себя. Мне кажется, что я здесь жил всегда. Только не знал, что имя этому—Венеция.

Венеция миноре.

На той (в итальянском есть презрительное обозначение *codesta*) стороне, чуть было не сказал Стикса, ну да, конечно, маслянистые воды Стикса, которые делят Венецию пополам, на маджоре и миноре, маленькую и большую, светлую и тёмную, едва теплится жизнь. Если она там вообще существует.

А эта тропа—для завязатого обывателя, привыкшего сполна отбивать потраченные деньги дежурными, включенными во все туристические путеводители видами. Это всё равно, если бы вы, желая зайти в магазин, ввалились бы в витрину.

На левом берегу не разобрать горячее биение тока крови о стенки сердца. Или даже упругого тока воды в канале, если этот город-вамп вынул вам сердце. Здесь обязательно подтолкнут, вынут душу вместе с руками. Или хамоватые официанты ввергнут тебя в омут товарно-денежных отношений.

Нет, на этой тропе войны покоя не найти. Даже ночью. Днём взгляд рассредоточен из-за пёстрой толпы, словно глаз у мухи. Туристический карнавал. Свет какой-то пресыщенный, словно лихорадочный румянец на щеках гуляющей девки. Тысячи ног стирают брусчатку до безликости половика. Эхо твоего голоса гулкое и чужое.

Но с приходом темноты световую рассеянность поглощают разноцветные огни ресторанов. В кафе и на улице за столиками—всё та же тол-

па, жадно пившая твою кровь днём. А теперь они медленно из соломки цедят одиночество и тоску вперемешку с тишиной улиц.

Туристическая тропа ведёт с толпой из города. А та—обратно. В потёмки, кромешную тьму венецианской изнанки.

В Венеции маджоре принадлежишь толпе. В Венеции миноре принадлежишь себе. И весь этот затхлый, лишённый воздуха и неба мирок, этот морок, этот призрак города, который витает бог знает где—твой. И больше ничей!

Словом, стоит столкнуть лбами Венецию земную и небесную, чтобы послышался хрустальный звон осколков муранского стекла. И Венеция маджоре прекратила бы свое существование!

Джудекка. Рыбацкие сети, словно выброшенные волнами на просушку, напоминают распятие, которым хотят образумить стихию. Но лагуна всё же берет свое. Она непокорно выворачивает суставы шестам и выскальзывает из мелких чешуйчатых ячеек, словно рыба, оставляя после себя лишь пустоту и тину.

Последствия этой борьбы заметны разве на Канале Джудекка, который, как и Канале Лунга от туристической тропы, запыленно бежал от Канале Гранде.

Вдоль набережных Джудекки измождённые баркасы, угрюмые буксиры с облупившейся краской, рыбацкие лодки, какие-то безрадостно уткнувшиеся носом в пристань ялики, уставшие плавучие краны, словно боксёр, повесивший перчатки на канаты. Этакой речной пролетариат, приходящая, которая спрятана подальше с глаз долой, словно внутренности океанского лайнера из рассказа Бунина «Господин из Сан-Франциско».

Бог его знает, от чего произведено это название: Giudessa. Утверждают, будто бы на острове Джудекка селились евреи. От чего позднее произошло гетто. Тёмная история, как и вода в канале.

И дома здесь довольно мрачноватые. Какие-то сутулые, не то усталые. Наверное, бурая тина, которой опутаны пристани, пакгаузы, подточенные волнами, будто кариесом, сваи, придаёт Джудекке оттенок болотистой ряски. И тянет своей свинцовой тяжестью его на дно.

Труженик вапоретто, надсадно отфыркиваясь, словно пёс, выброшенный своими хозяевами освежиться, прилежно гребет лапами к берегу. Тучка выхлопов сизым облаком взвивается к небу, обволакивая его голубизну, словно в фольгу.

Арка пакгауза—немое рыдание сатира, деревянные ступени, спускающиеся к воде буднично, словно к асфальтовой мостовой, деревянные

столбы отдают холодом карцера—тёмное чрево города, подземелье. А рядом сиятельная церковь Иль-Реденторе (Христа Спасителя).

Парадный фасад с беломраморными колоннами и скульптурами скрывает за своим портиком довольно примитивный кирпичный барабан с колокольней, как две капли воды напоминающей Сан-Анджело. Только поменьше. Миниатюрный слепок с оригинала, брошенного на другом берегу.

Отражённое в серой лужице канала небо — тусклое, словно театральная бутафория, которую побросали в угол и забыли.

Пожалуй, именно здесь и ощущается острее всего, что Венеция—это бутафория, кулисы театра комедии, который призван тешить праздную толпу, решившую весело потратить свои деньги.

Вдоль канала и острова разбросаны обломки прежнего величия. Сюда ссылают за ненадобностью, списывают по старости: дома, целые архитектурные детали, кварталы, эркеры, балконы, арки, потускневшие цвета, фрагменты набережных, невзрачные лица. Да и того же Палладио, который на противоположном берегу ни на кого так и не произвел впечатления. Там и своего добра хватает с избытком. А здесь хоть что-то, хоть как-то. Все эти набившие уже оскомину домики с балконами и стрельчатыми окнами, пёстрый, арлекиний наряд.

Венеция миноре—задний двор ресторанов, куда выходят на перекур измотанные жизнью и службой кухарки и гувернёры, посматривая на пассажиров вапоретто весьма недружелюбно.

Но здесь как-то легче дышится и проще. Нет парадной чопорности и натянутости. Джудекка—затрапезье Венеции. Задворки.

Джудекка, словно нож, разрезает эту сухую корку Венеции миноре пополам. Противоположный берег безмянный, словно не окликнутый никем прохожий. Нищий сгорбленный старик. Породниться с ним—все равно что признать своё худое родство. Но—мне кажется, что я этой дорогой ходил и хожу всегда. Только не знал, что имя этому—Венеция. Венеция миноре.

Мой маршрут прост. Через мостик надо махнуть направо и, скользя тенью вдоль обшарпанных стен лабиринта узеньких улочек, устремившихся к Понте Риальто или по своему разумению. Куда глаза глядят.

Улки все сплошь весьма забавные: degli scalzi. То есть—разутые, босые. Ну так и есть—здесь живут или во всяком случае некогда обитали—босяки, ремесленники, швеи, посудомойки,

проститутки, бандиты и прочий сброд: двор Горшечников (Corte cazza), улица Гусятников (Calle delle Oche), улица Красильщика (Calle del Tintor), набережная Сисек (Fondamente de Tette) и прочая. А нынче, видимо, ютятся их потомки.

Хождение по туристической тропе обязывает. Усреднённая пошлость путеводителя рекомендует заглянуть на Сан-Марко, взобраться на Сан-Анджело, зевая, пялиться на портреты дожей. А потом всё это забыть.

Куда как милее бесцельное блуждание почти впотьмах, интуитивно, открывая, словно тайну мироздания, тайну этого места, тайну моего с нею родства. Что может быть лучше, чем бороздить просторы подсознания! Потаённых комплексов и пороков? Ведь тебя никто не видит. И ты никого.

Маленький, постыдный, заветный городишко. Только мой, и больше ничей!

Какое блаженство плавать по его улочкам, когда твоя тень переплетается, словно виноград, с прозрачными нитями, которыми опутан весь город, весь этот огород и всякий, кто попался в его сети.

Это плавное, тихое почти вживание в маленькое, сжатое в кулачок пространство. Погружение на дно. Когда журчание воды в узком проулке, просвете, рукаве гулким эхом отдаётся в тебе и почти совпадает со стуком твоего или какого-то общего с Венецией сердца. Когда небольшие, извилистые улочки легко перепутать с изгибами судьбы на ладони. И даже почувствовать сладостную горечь одиночества. Или даже, может быть, отчаяния, когда вдруг исчезнут указатели «per Rialto» или «per Santa Lucia», и твоя жалкая тень, тревожно бьющаяся в узком колодце, как пульс, в поисках выхода, утратит всяческий курс.

Где я? Куда дальше?

Разве не эти вопросы я задаю себе повседневно? А вот здесь, в Венеции миноре, — и ответ. И ответ этот в отсутствии ответа. Выхода нет, и не ищи.

Но в какой сладостной тревоге пойманной птицей бьётся сердце!

Связь с реальностью и со всем, что было с тобой минуту назад и будет минуту спустя, потеряна. Она затерялась, словно копейка в прорехе карманной. Нет никакой Венеции, и смысла нет, возможно, его и не было.

Весь большой город с дворцами и музеями, площадями и каналами ужасно до маленькой коммунальной квартиры, по которой жильцы шагают в стоптанных тапочках и трусах к соседям за спичками или заваркой. Где сушится бельё, греются на солнышке старики и высоко в простен-

ке голубеет потрепанный парус неба. И мостики с воробьиный скок, и улочки не дальше выдоха. Да и названия совсем уже не парадные, миноре: Ponte de Tette, fuondamento de Tette. Мост Сисек, набережная Сисек.

Вроде как ты—шёл в комнату, попал в другую, как в «Горе от ума». Тут какие-то неодетые барышни. Визг, пьяный хохот.

Там, на витрине, на рыночной площади, негры с дамскими сумками. А здесь их тут никто не отличит от подъездной тьмы, синих теней, сырых углов, утлого вымысла твоего большого воображения. Здесь они все—сарацины, мавры, ну или на худой конец—Отелло.

Ведь бывшая владычица морей заарканила его где-нибудь неподалеку от своих берегов, в Сенегале или ещё где. Но даже у Шекспира не хватило фантазии дать ему прописку в Светлейшей. Ревнивец, задушивший свою жену, обречён. То есть, так или иначе, а в городе ему нет места.

Его соотечественники ныне на левой стороне торгуют сумками, подолгу расстилая белую простынь на асфальте, словно любясь тем, как она трепещет во влажной и голубой купели венецианского простора, растворяясь в ней.

И кажется, если вынести негров за скобки, то это город влажной простыней стелется к твоим ногам, он колеблется у тебя под башмаками, как булькающие водой в чайнике волны под бортом у вапоретто. Или—это всё зыбкий предутренний сон, солнечный луч, струящийся сквозь ресницы, как если бы мы проявляли в ванночке негатив черно-белой фотографии.

Неправдоподобный, обманчивый, лживый, дождливый, вымороченный!

И что это за белая простыня, что это за оказия: сменное белье публичного дома на fuondamente de Tette или белый саван?

Сон, смерть, зыбь, рябь, волны, призраки... Всё повторы, как круги на воде. Всё это уже было, было. И будет.

В Венеции трудно не быть банальным. Но все слова не в счет.

Или по венецианским понятиям: всё остальное включено в счет.

Prego, signiore! Va via, vattene, via di qua!

Пошёл вон!

Пробил час. Или, вернее, — негры, потомки Отелло, на башне.

Ты-то думал, что всё остановилось и замерло, когда ты уехал отсюда. Ан нет. Ты каждый раз, уезжая отсюда, умираешь. И только возвращаясь, видимо, всё же воскресаешь вновь. В городе, выдуманном тобой, имя которому Венеция миноре...

СТАРЬЁВЩИК ЛЕОНИД

Осень, словно перекидной календарь, спешно перелистывает страницы, и время осыпается позолотой. Тополя облетают, словно командировочный в парикмахерской, обритый наголо. На тротуарах бродит одутловатый, шалый, с синяком под глазом ветер странствий. Лица у всех вытянуты, как у килек в пряном соусе, выловленных из банки. Килек, которыми тот же час и закусят.

Воздух прохладный, как бутылка водки из холодильника.

На платформе дядечка в огромном пиджаке на вырост, напоминает гнома. Он устало бредёт с мешком, останавливается возле очередной урны, будто ялик у пристани, подолгу притираясь к причалу. Не торопясь натягивает белые матерчатые перчатки и, примерившись для того, чтоб не уйти туда с головой, решительно ныряет вовнутрь. За новой порцией жестяной дряни. Потом подолгу кряхтит, курит, глядя с потаённой нежностью вдаль. Глаз его остекленел, повлажнев, запотев, как будто вставной...

Осень в Александрии особо пронзительная, как утро в вытрезвителе. Но для того, чтобы проверить, не обманка ли это, не ловушка ли все-сильного Хроноса, который пожирает все звуки и смыслы, можно добраться до блошиного рынка! Надо побрататься со старьём Александрии, уходящей на дно, погружающейся в забытие своей ветхой с прорехами памяти.

Как найти это прошлое? Да проще пареной репы. Для начала с привокзального бульвара можно перейти улицу, что напротив автобусной остановки, где в ожидании пыльного пазика, словно жениха, пляшет невесёлый хоровод: стайка усохших невест—бабуси с котомками, памятный мужичок с пивом, сжимая бутылку красной, как у пингвина, рукой, и полная розовощекая девка. В автобус она вряд ли влезет, а на остановке толкётся так, для понту, за компанию, потому что одной не весело.

Рядышком—палатка с надписью «Сила чебуречная».

Ну так вот, остановку надобно обогнуть, словно мыс Горн. А после углубиться в подворотню, напоминающую дыру в бетонном заборе. Далее взять вдоль пятиэтажных домишек, вытянувшихся во фронт, обогнуть большую лужу, что возле нового кирпичного дома, напоминающего вставную челюсть, минуя дедушку в валенках на стуле, которого забыли во дворе родственники, а потому он теперь—музейный экспонат из архео-

логического музея. Или—Хронос, ибо сидит тут всегда, и зимой, и летом. Он вечен, он уже в веках.

После дома будет помойка, а за нею, словно за сада, блошинный рынок. Словно почесал в затылке, а вычесал блоху.

Обойти его никак нельзя. Разве сделать крюк по проспекту Ленина. Но там такие убитые тротуары, что хочется повеситься на фонарном столбе, грустном, как знак вопроса. Вопросы, оставшиеся без ответа.

В прошлом году, говорят, мэра Александрии посадили. Он воровал так вдохновенно, что город чуть было не запсел.

Посильную лепту, хотя и вольно или невольно, вносит в это всеобщее запсение и блоха.

Бабки с барахлом, какой-то вяленый, как вобла, дед с велосипедными цепями, набором ржавых шурупьев и лоснящихся маслом железных кишок, словно он распотрошил не один велик, а целый знаменитый некогда Харьковский вело-завод (ХЗВ). Помойка, треснувший, как плитка шоколада, тротуар, серенький муар неба,—довершают картину. Но только Леонид предает ей завершающий аккорд, напоминающий прощальный всхлип трубы.

Леонид—не овощ и не фрукт, а что-то среднее между квашеной капустой и питьевым грибом в трёхлитровой банке, символ всеобщего закипания и окисления. От его унылого вида киснет утешное молоко, кефир створаживается, а небо похоже на крышку от алюминиевой, помятой невзгодами, кастрюли.

Но Леонид упрям, как его тёзка под Фермопилами супротив персов. Помнится, у Георгия Иванова был такой стишок «Свободен путь под Фермопилами»:

*Свободен путь под Фермопилами
На все четыре стороны.
И Греция цветёт могилами,
Как будто не было войны...*

Словом, то ли супостаты-персы всё же взяли свое, и теперь Леонид грустит, как будто его должны посадить на кол, то ли безнадежная грусть—нынче один из самых ходовых товаров. И если бы не шорты adidas, которые, видимо, ведут свою родословную из этих же мест или близлежащей помойки, быть бы Леониду греком. Но он не грек, и даже если и грек, то не это главное, главное, что он—старьевщик.

Все порядочные старьевщики вымерли в конце 70-х годов прошлого века. Помнится, бродили по дворам какие-то оборванцы с тележкой и истошно кричали: покупаем тряпки, покупаем тряпки!

Потом, в перестройку, они куда-то сгнули со своим тряпьем, безжалостное время спустило их в мусоропровод, и вот теперь объявился Леонид. Посреди Александрии.

Он—последний из могикан, торговец старым хламом и тряпьем на всем белом свете. В Александрии—точно.

Лицо у Леонида печальное, словно у старого самовара в чулане. Печалью, словно пылью, окутаны и все те вещи, которые аккуратно разложены на газетках, ковриках, обрывках, многочисленных дерматиновых чемоданах, сумках. Барахла у Леонида немало, маленькая вселенная с солнцем. Кажется, что один край его газетки начинается у чугунной вокзальной ограды, где бродит усталый гном со своей жестяной ношей, а конца и краю у другого нет и не предвидится. На глаз все эти газетки могут достать до самого рынка. Или туда дальше.

Бескрайнее поле тряпья, но не свалка, а тут каждой тряпочке—своё уважение, свой профит и эксклюзив.

У каждой вещицы своя—мелодраматическая—история. У каждой вошки своя бирочка.

Вот сломленная жизнью кофемолка. Кофейного, разумеется, окрасу, с подпалинами. Леонид с подернутыми неизбывной печалью глазами говорит, что кофемолка работает. Но одного взгляда, одного только вида кофемолкиного достаточно, чтобы убедиться в обратном.

Но это—не вранье. Ведь для Леонида каждая вещь как живая, и у неё есть своя за пазухой душа. А потому она, кофемолка, в принципе до сих пор может первоклассно перемалывать зерна. Ну или, во всяком случае, не может не перемалывать.

Должна!

Ведь кому, как не ей, и молоть-то? Ведь—это вам ни какой-нибудь Китай, а чистый ХВЗ.

Он ощупывает её своими узкими, как у лора, пальцами, будто пытаясь обнаружить пульс.

Потом пускается в довольно заунывные и многосложные рассуждения о наличии в её нутре какой-то загадочной пружины или жизненной жилы, которая, если даже кофемолка подведёт, никогда и ни при каких обстоятельствах не ломается, не иссякнет. А так и будет кружиться, как вечный двигатель. Сама по себе и, заметьте, без всякого электричества.

Я сочувственно щёлкаю языком, говорю о том, что при напряжении 120 вольт никакая кофемолка или другой электро-ящер, пусть даже ХВЗ, не будет подавать признаков жизни, хоть ты дербализни его об асфальт. Никакой Китай не устоит

перед 120 вольтами! Но Леонид упрям и говорит, что ЭТА будет! Эта—советская. Её не задушишь, не убьешь. Ну или, во всяком случае, голыми руками не возьмёшь.

И вот я решаюсь, я думаю, что такая героическая кофемолка мне просто необходима. Но я убедил себя в этом сам, без посторонней помощи, без Леонида, без его печали. Мне нужна кофемолка, как образец стойкости и непокорности судьбе и всемогущему Хроносу. В Питере есть такой проспект—Непокоренных. Питер не покорился фашисту в блокаду. И моя кофемолка будет застывшей в пластмассе музыкой протеста безжалостному произволу времени, его могучей, словно персы под Фермопилами, силе и настойчивости. Мол, нас, советских, голыми руками не возьмёшь!

Или вот—капкан. Огромный, как разинутая акуля пасть. Это только спервоначалу кажется, что такой величины капкан в тех благословенных местах, где отродясь не водилось ничего крупнее мыши, вещь бесполезная.

Отнюдь! Не водилось, так заведётся. Время-то какое! И не то ещё возьмёт и заведётся. Жизнь пошла такая, чего уж там, надо быть ко всему готовым.

И капкан, как ни крути, вещь нужная и полезная. Ведь кто не думает о будущем, будет плакать горячими слезами потом, когда это будущее станет уже прошедшим, а ничего не изменишь!

И это верно, как и то, что уже осень, и листья осыпаются с памятника Ленину, словно парик!

Печаль Леонида бескрайня. И потому только светла. Уж не всё так и плохо, кажется, покуда он тут, покуда торгует: сломанными кофемолками, книгами с потёртыми от старости корешками, злобно ощерившимися капканами на всё, что под руку подвернется, пробковым шлемом с отщипанным кусочком на макушке, словно бывший его хозяин, заядлый велосипедист, оголодав, пробовал подзаправиться этим самым пробковым шлемом, но дальше макушки не пошёл, внезапно подавившись, как будто Леонид своей неизбывной печалью.

Печальный Леонид окутывает всё окружающее пространство вуалью, целой упаковкой марли из близлежащей аптеки с антрацитовым крестом над входом, окутывает печалью, печаль окутывает Леонида, Леонид окутывает город. Весь двор с помойкой и новеньким кирпичным домом, возле которого новенький асфальт, уложенный настолько криво, что во время дождей тут образуется Мариинская впадина и там тонут

кошки, брезгливые мопсы и чуть было, говорят (врут, наверное) не ушла под воду с виду вполне приличная дама, толстая и неохватная, словно степь под Житомиром. Но, видимо, вовремя спохватились, вызвали МЧС, тем более он тут неподалеку, через два квартала, рядом с плакатом, на котором сурово хмурит брови Шойгу. Вот Шойгу-то и не подвел. Молодец, Шойгу, недаром медалями награждён, учуял беду, свистнул своих молодцов, те быстро прикатили на пожарках, трубя на весь свет, словно конец света архангел вострубил. Примчались его соколики в касках и сапогах с отворотами, каски все аж так и светятся, шланги свои распустили, побежали в разные стороны, давай их разматывать, налево, направо, взад, вперед, потом куда-то с лестницами чуть ли не на небо побежали. Бегали, бегали, как угорелые... Так бы та тётка и пошла на дно, словно круизный пароход, да вовремя спохватились. Словом, вытащили. Впрочем, и чёрт с ней, с тёткой-то.

Сквозь плотные слои Леонидовой печали не пробивается даже солнце. То ли ему совсем не интересно смотреть, что тут Леонид расположил на своих мятых газетках, то ли оно уже всё видело, знает, что было и будет вчера, сегодня и завтра.

Поэтому в Александрии как бы всегда осень. Даже летом и весной. Всё какое-то слегка печальное и туманное, как засиженное мухами стекло.

Осень в Александрии—настоящая осень, отечественная, а не китайское фуфло!





Давид Паташинский

СТРАНИЦЫ ИЗ ДНЕВНИКА

Манси, штат Индиана

США

Давид Паташинский

родился в 1960 году в Москве.
Стихотворения публиковались
в журналах «Волга», «Зарубежные
записки», «Крещатик», «Новый
берег», «Октябрь», «Сибирские
огни», «Слово\Word»,
в различных альманахах,
а также в интернет-изданиях.
Автор книг стихотворений
«Немного цвета»
(СПб.: Пушкинский фонд, 2006),
«Рассвет перед сном»
и «Случайная почта»
(обе – М.: Водолей Publishers,
2008).

* * *

не кричи на меня ты на западе я на востоке
ты на юге а я беломором душу свою грудь
или севером горьким табачным коричневым соком
ты меня позабудь

мне простые такие простые мне так по простому
только сложные тоже а что мне на лестницу встать
и запеть чтобы слышно всему татарстану
и промокшие письма листать

голубые глаза ярче каменных роз незабудок
а ещё говорить я давно разучился вполне
выхожу на перрон воздух тонок и зыбок
и летит паровоз на волне

моей памяти там где студента студёная штучка
поднимается колом из старых но славных штанов
я тебя разлюбил понарошку но как-то почти что
чтобы снов

не смотреть а цветные заместо по краю кровати
пробежали лучи и сычи и мечи,
я за всё чтоб ты знала сегодня останусь в ответе
потому помолчи

помолчи обо мне непутёвом по облако голым
неподкупным а кто бы ещё предложил подкупить
остальное доверим советским хрустальным глаголам
чтобы страшную пить

чтобы белую брать до нутра до пронзительной жизни
замирающей в наших никчёмных стволах
ты моя до сих пор вот поэтому будет мне счастье
в самых чёрных делах

26 января 2012

* * *

Не выберу никак, не выберу страны я,
погоста тоже нет, сплошная чехарда,
а руки у неё как прежде ледяные,
и губы иногда,

она меня совсем, почти совсем не любит,
хотя поцеловать умеет так светло,
что словно дерево, меня под корень рубит,
как по воде весло.

А за окном всё нет, страны всё нет чудесной,
сичу себе и жду, пока не осенит,
и только космонавты страшной песней
вонзаются в зенит,
и только голытьба автобусов усталых
плетётся в свой унылый будуар,
в глазу хрустит сухой, безжизненный
хрусталик,
и покидает пар

разинутые рты мальчишек околотка,
ату меня, Москва, я холодом пропах
и снегом занемог, и не поможет водка,
когда на каблуках

она проходит неизменно мимо,
походкой тихой маленьких волчат,
но губы синие под коркою кармина
давно молчат.

3 февраля 2011

* * *

если есть свидетель небытия
то его отдадим под суд
у земли обугленные края
и меня за края несут

там у воздуха тлеет воздушный плен
самый огненный раскардаш
а земля подняла меня с колен
и спросила ты что мне дашь

ничего не дам дорогой земле
сердца камень горит дотла
вы и сами найдёте его в угле
где печаль светла

18 ноября 2012

* * *

ты не умер но ты не один
барокамер таинственный ящик
до сибирского сна невредим
посреди дураков настоящих

где та удаль и где те костры
у сестры только гладкие букли
ветки времени страшно остры
мы готовы для пакли и купли

а за окнами бьёт молотьба
по ушам прихожан и прохожих
и мальчишка одетый в кожан
на меня никогда не похожий

23 февраля 2012

* * *

в груди звенит фарфор и ложечки немые
а может не мои да кто их разберёт
и фосфорный босфор весь в лошадином мыле
уснул во весь огромный рот
и бабочки судьбы становятся судьбее
и утренний ночник синее на снегу
а я себе бреду радею и робею
глазную утирая курагу

волшебники кому вы палочки давали
зачем мою метель разбили пополам
ну всё не по уму в разваленном подвале
и дверь с петель и воздух по углам
гуляет и поёт о маленьком паяце
земля давно кругла и вертится едва
и на рассвете мне приснятся
прозрачные слова

25 января 2012



* * *

Я человек восьмидесятых, а что штаны на мне висят, их стирать не буду никогда,
как воробьи, живём в пыли мы, вечерним злом неопалимы, цветёт шалфей и лабуда.

До удивленья невредимы, висят неплохо габардины, трещат полозья корабля,
в груди горчица гладит сало, ты так охотно отплясала, и выше ростом конопля.

Мы, может, просто дети бездны, Москве все возрасты любезны, и воздух сух, и ветер прян,
и среднерусская полоска, на всём печать чужого лоска, не верь бумажным якорям.

Я человек второго сорта, а ты попробовал рассол-то, смотри, оставишь в голове
друзей, которых до поры бы, Петрова-Водкина две рыбы уйдут ногами по траве.

Вчерашний день закат не помнит, во глубине печальных комнат живут такие же, как я,
немолодые бедолаги, читают книги из бумаги, чужой эпохи сыновья.

23 июля 2008

* * *

мой белый шум, чернеет тишина,
идёт-бредёт и хлебушка не просит,
светлеет осень, даль разрешена,
над крышами стремительно разносит
котов пушистых страшные хвосты,
и тёплое видать, но не спасти.

настанет вновь привычная среда,
четверг существования не зная,
в крови кипит пустая лебеда,
багряная, торопится лесная
тебя запомнить ложная тропа,
душа моя, ты всё-таки слепа.

душа моя, ты так мне дорога,
сердцами разделяясь на свирели,
мы будем жить под знаком четверга,
когда листвой осенней догорели
мой белый шум, моя смешная тень,
и серый день торопится на вечер,
придерживая каменные стен
ночные скособоченные плечи,
в глазах огни горят сторожево,
идёт-бредёт, не помнит ничего.

4 октября 2006

* * *

Этот воздух мне истоиво выставлен
у прозрачного льда в полынью,
если сердце закончилось выстрелом,
я об этом потом допою,

я об этом унылой околицей
прогуляюсь субботой хмельной,
что мне ветра в лицо беспокоиться,
под огромной голодной луной.

Что мне времени страстного прятаться
под подолом, под ситцем его,
наступает судьба-неурядица,
горизонт разломив углово,

где на самом на деле, на саночках
увезут меня завтра в Сибирь,
чтобы песню дурного Сан Саныча
навсегда, навсегда разлюбил,

никогда чтоб попал на глаза к нему,
лучше снег окровавленный ешь,
чтобы воздуха выставку к завтраму
поместили в сожжённый Манеж.

27 декабря 2012

* * *

мы шли тропой, она вела глубоко, восток гудел, и запад гомонил, и озеро сверкающего бока легло под солнце каменных чернил, а мы брели, и птицы в нас смотрели, как в зеркало полуденной воды, и набухали грозовые стрелы, дающие прозрачные плоды, и день настал, и ночь настала позже, и лунный свет под кожу проникал, мы становились медленней и старше, и каждый оказался пятипал, потом опять предутренне вскричала сухая даль на пальчиках росы, ей вторила печальная волчара сквозь колкие, но нежные усы, мы шли всегда, не зная, не гадая, тропа вела, мы думали о ней, она была совсем немолодая среди сухих, обветренных камней, потом мы испугались, но не помню, наверное, увидели змею, и под ногами скрученные корни сплетали нам историю свою о времени и о его горючей внезапной сущности неосторожным нам, о том, что всё решает только случай, когда цветным не доверяем снам, мы шли тропой, она вела и пела, и каждый куст смотрел, как крокодил, и поднималась травяная пена, и ветер нам загривки холодил

26 мая 2009

* * *

Гудело горькое в груди, а он всё шел себе, пахал,
а ты ещё к нам приходи, великовозрастный пахан,
а ты заточку не томи, а ты дырявого не строй,
а если Боже сохрани, так это плаванье не кроль,
и эта кровь не для мужчин и их событий без конца,
... пшеница знает свой почин, и пот с корявого лица
на землю тёплую пролив, он шёл и песню угадал,
а где-то Берингов пролив и смерти ласковый миндаль,
а где-то сказано в ружье, и барабанит дождь в бадью,
и тихо плачет мужичье, прильнув к забвенному бабью,
и раздаётся на версту, и горло Родина свела,
и ты всё помнишь бересту, что завивалась от ствола.

26 марта 2007

* * *

я вышел из больницы стариком,
я там лежал, не думая, о ком,
смотрел в стекло, не принимая сразу,
прозрачное, прозрачное оно,
и жизни затянувшуюся стразу
втянуть хотел сквозь чёрное окно,

а там, смотри, сверкают фонари,
а там, смотри, гуляют и смеются,
и света золотые янтари
сквозь время остановленное льются,

и кажется, придёт оно уже,
и что-то есть в распахнутой душе,
как солнце в изумлении колодца
что красоту удерживал внутри,
и ты в себя сегодня посмотри,
прислушайся, о чём тебе поётся

9 сентября 2012

* * *

давно я в испании не был
а может недавно я был
не хлебом единым а небом
слезой лошадиных кобыл

и только наотмашь как прежде
в надежде его кулаки
и падают в руки невежде
лазоревые кульки

а помнишь когда на село нам
прозрачное солнце брело
и стала вокруг барселона
и медленно рассвело

12 марта 2012

* * *

Хочу у зеркала, где муть, где улыбаётся мне мать,
где вспять давно не повернуть, но ты пытаешься опять,
где сон туманящий лежит китом усталым на снегу,
и ты пытаешься пожить, а я, как видно, не смогу,
я вижу мачты тополей над тёплой площадью морей,
а ты сегодня не болей, ты выздоравливай скорей.

Ты отражаешься в меня, я остаюсь совсем один,
налью тяжёлого вина, себе и раб и господин
в одном лице, в душе одной, а то и вовсе без души
в стране, негаданно родной, в ночной обыденной глуши,
где сон туманящий берёт, и я останусь на плаву
до самых каменных ворот, где звёзды падают в траву.

14 августа 2009

* * *

люблю тебя только не я только я не люблю
в голубой степи где смеются и плачут авгуры
где друзья прислонились к расшатанному колю
сохраняя речь за стройность её фигуры

любил тебя ты думаешь это опять не я
а помнишь ты доверяла моим ладоням
а в небе застыла солнечная полынья
давай упадём в нее и утонем

степь страна и россия степь и семья тайга
люди разобрались по очагам а тепла нема
смотришь в окно там не найти врага
забыл тебя теперь ты живи сама

8 ноября 2012

* * *

богу — богово, цезарю — кесаря, куму — кумово,
от человека меня отличает лицо и тулово,
когда встречаются, дай, говорит, по кумполу,
и на взлёт

мигом отправился, бродского бья по вымени,
вы бы знали, как перегрели вы меня,
от человека останется просьба в имени,
вешний лёд

тронется, того и гляди, присяжными,
люди и бабы, смотрят глазами страшными,
солнце встает над озорными башнями,
день восьмой

от сотворения, где мы себе оставлены,
сами себе стали такие сталины,
окна закрыли ставнями, вот и стали мы
поговори со мной

прямо о вечном, временное не хочется,
там, где душа, чешется, будто кошечка,
на коготок, хвостиком — ухочешься,
так легка,

а в остальном богу досталось богово,
а человека, как ни стучи в рог его,
определяем в чёрное это логово,
жить пока

01 марта 2013

* * *

мой город прост, как пахота пехоты,
мой город пуст, как тестовый протест,
а что кусал на ужин молоко ты,
и волк не съест

мой город пьян надеждой и туманом,
его протяжны горькие дожди,
а что достать не вышло задарма нам,
ты подожди

ты погоди, поправим, подрисуем
построенные папой чертежи,
и не смотри, что жадно колбасу ем
зато по лжи

теперь не жить, и правда наступила
на горло зазевавшейся зиме,
и мы, как дерево, не знавшее распила,
живём в уме

13 декабря 2012

* * *

во мгле несостоявшихся фиалок
в пыли печальных мечт
мне пятница ударила в затылок
а мачт

мой парусник колючею водою
сквозь зыбь и хлябь
поэтому медлительно рыдаю
и хлеб

солю такими злобными слезами
что волк в моей
застыл груди и лапами босыми
полей

снега стоптал до меховых голяшек
где в будущее мост
где мы останемся под знаком настоящих
железных звёзд

26 апреля 2012

* * *

уходили на войну, тихо плакали,
говорил себе, а ну, что ты мечешься,
не тебе все пятки выбили палками
в середине не скажу какого месяца.

наступает время дна, время погребца,
ты иди туда и там подожди ещё,
а не то тебя возьмут дядьки подлые,
да устроят для тебя судилище.

уходили на войну пацаны мои,
бритые затылки в сыром тамбуре,
а ты плачь ещё, отсрочку вымоли
да живи по ворованной фабуле.

на войне, как на войне, как-то надо бы,
занимаешь три рубля, платишь сотенной,
а дорога всё столбы, злые надолбы,
что не знаешь, как назвать, зови родиной

1 июня 2010

* * *

калечишь ты меня печаль совсем не лечишь
а сердце бьётся говорит молчать не хочет
а кровь уходит из меня на тонких ножках
держа в руках мое вчера сегодня завтра

печаль калечишь говорит молчать не сердце
на тонких ножках ты меня не хочет бьётся
сегодня завтра никогда не видно солнца
уходит тихо от меня а кровь уходит

смеются люди говорят сказать не можешь
побьются блюда говорят от чайных ложек
случайно белое черно печалью чаек
моё отчаянье тебе не отвечает

11 апреля 2008





Михаил Григорьевич Петров
(род. в 1938) — писатель,
журналист, основатель и главный
редактор журнала «Русская
провинция» (1991—2002).
Автор многочисленных публи-
каций в советской и российской

периодике и десяти книг.
Член Союза писателей СССР
с 1983, СП России с 1991.
Лауреат премий имени Николая
Островского, СП СССР (1982),
СП РСФСР (1989), «Традиция»
СП России (2000) и др.

Михаил Петров

В ОТЧИНА ИЛИ ОТЕЧЕСТВО?..

Тверь
Россия

Нейдёт у меня из головы поездка прошедшим летом к берегам Селигера, с заездом в Старицкий и Зубцовский районы. Ехал, перебирал в памяти неизбывное: отсюда уходил в далекую Индею тверской купец Афанасий Никитин, здесь сделал первую попытку объединить русских в борьбе за национальную независимость Михаил Ярославович, погибший под Моздоком «за други своя», отсюда родом посол Фома, отказавший подписать неравноправный союз Руси с католическим Римом; с берегов Верхней Волги автор народной песни о Щелкане Дудентьевиче; здесь закладывались весомые камни в фундамент Русского национального государства и его культуру. А вот там, выше, у Ржева, были остановлены ведомые фашистами несметные полчища вооружённой до зубов европейской армии. Вспоминались и усопшие города: Родня, Погорелое Городище, Вертязин, Чернятин и Телятьев, ушедшая под воду Корчева... Всё это — Верхняя Волга...

Тверские краеведы всерьёз считают, что культурные пласты российской истории особенно богаты именами и знаковыми событиями в Тверской земле. По мнению доктора культурологии историка В.М. Воробьёва, никакая другая не дала Отечеству такое обилие выдающихся личностей во всех сферах человеческой деятельности, не привлекала так своей природной красотой и культурой известных людей России, зарубежья. В 2011 году рождён новый проект «Тверская родословная», который, по мнению разработчиков, как раз к тому и призван. Средства предполагаются самые разные. От сооружения памятников, установления мемориальных досок, присвоения историческим объектам и учреждениям имён знаменитых земляков до формирования музейных экспозиций и музеев, портретных галерей, издательских программ в серии «Тверская родословная» и многое другое.

А перед глазами разруха девяностых, погубившая десятки тверских сёл... Заросшие поля, крестьяне, уезжающие под Москву полоть клумбы нуворишей... Добралась беда и до малых городов. Согласно переписи 2010 года, в области теперь проживает 1 миллион 353 тысячи 392 человека. По сравнению с 2002 годом численность населения сократилась на целых 8%, то есть на три небольших города. В прошлом году родилось 14 800 малышей. Приблизительно столько же, сколько и в 2010-м. Смертность хоть и снизилась на 7%, но на резкое улучшение демографии не повлияла: в прошлом году умерло более 25 тысяч. Впору не о родословии вести речь, не о туризме, а о том, как выжить.

Как-то по чистой случайности я попал на коммерческий сайт в Интернете и поразился размахом продажи земли рядом с историческими местами в Ста-

рицком, Зубцовском, Ржевском районах. Участки под усадебное строительство от 600 тысяч рублей за 15 соток, стоимость других зашкаливала за миллионы. В деревне Юркино небольшой участок на высоком берегу Волги оценен аж в 77 тысяч евро! Если ехать от Старицы вверх по правому берегу Волги, встретишь десятки, а то и сотни новых имений. Такой бум отмечался в России только в 1910–1917 годах. По берегу уже давно не проедешь и не пройдёшь. Свернул под селом Родня на шоссе к Волге, упёрся в шлагбаум. Появился товарищ в форме, объяснил: «Дорога частная, лес тоже, к Волге не проехать, так как территория тоже частная». Разворачиваюсь. В Родне интересуюсь: что за новые хозяева появились? Отвечают одним словом: москвичи. На Волге там вряд ли искупаются, частный забор упирается прямо в реку.

Сам собой возникает вопрос: а кто они, новые землевладельцы? Как хотят использовать купленную землю? Чем на ней заниматься? А для меня: что им наша история и культура? Хотелось бы узнать об этом не завтра, когда будет поздно, а сегодня, сейчас. Ведь историческая память, родословие стоят на фундаменте собственности. Они напрямую связаны с теми, кто владеет землёй, имением, фабрикой. Станет ли колонист, «пользователь», как стыдливо называет его автор нового проекта, чтить старые камни или сменит вековой код исторической памяти? Отразит ли он память о тех, кто всё это создавал, строил, защищал, или вычеркнет из истории края, забудет? Вопрос ключевой. В России XIX века историческая преемственность страны складывалась в пирамиду, вершину которой венчала собственность императора, ниже — дворян, под ними находился мощный массив крестьянской собственности. Дворяне вели свои родословные от Рюриковичей, имели чёткое представление о своих предках. Потомки хранили как зеницу ока родовые документы, архивы, в усадьбах висели портреты тех, кто владел этой землёй. Хранилось это многовековое знание и в крестьянской среде. Произведения Толстого, Бунина, Чехова полны этой незримой энергии памяти. Правительство создавало архивные комиссии, заботилось об историческом знании. Ведь без преемственности исчезает то, что мы называем Россией.

Наложив на карту землепродавцев нашу краеведческую, я ужаснулся. Объявления о продаже земли особенно густо облепили места, отмеченные русской историей. Столбцы объявлений буквально испещрены предложениями о продажах. Пройдитесь по карте своей родины и вы, друзья, пощёлкайте мышкой по сайтам новых Чичиковых, вы сами убедитесь, что грядёт новый хозя-

ин. Он прячется пока за цифрами, покрывшими землю, словно средневековую каббалистическую рукопись. Иногда завеса из объявлений и цифри раздирается, и на нас повеет доисторическим ужасом. В центре России, в Москве, в старом здании школы №201 корреспондент «Комсомольской правды» с грустью ходит по брошенному музею Зои Космодемьянской. На полу вещи Космодемьянских, платье, которое вполне по размерам могло подойти Зое, бомжи и гастарбайтеры используют для постели. Кругом грязь и окурки, на стенах похабные надписи про героев, оставленные теми, за кого они отдали свою жизнь! Между разбитыми бюстами Героев Советского Союза Зои Космодемьянской и её брата, старшего лейтенанта Александра Космодемьянского, веером разложены презервативы. Бюст брата разбит ударом кувалды прямо в затылок. В классе, где училась Зоя, ночлежка мигрантов, ожидающих всероссийской гастарбайтерской стройки Нью-Москвы. «А что она сделала?» — вопрошали обученные историками новой волны безработные краеведы на классной доске.

У нас в области сборщики металла добрались до бронзовых бюстов героев, воруют мемориальные доски. В селе Чукавино, куда заезживал Пушкин, в бывшем пионерлагере завода «Центросвар» новый высокопоставленный владелец устроил питомник по разведению собак для катания на нартах туристов.

Сокрушает не то, что у нового собственника в цехах знаменитой фабрики «Пролетарка» сегодня торгово-развлекательный центр, на «Вагжановке» — просто торговый, — а то, что исчезла гордость «Пролетарки», её музей. Исчезли ценнейшие экспонаты музея. Ну а вчерашних дехкан, хлопкоробов Узбекистана, я вижу сегодня с метлой убирающими город текстильщиков. Или фасующими чужой текстиль в торговых залах, раскинувшихся на месте ткацких станков, — продают чужой хлопок русским иностранцам, которых в своё время они же выгнали из своих стран, а потом, не извинившись, не постеснявшись, поехали к ним же зарабатывать деньги на хлеб насущный.

Один из новых тверских земледельцев, неизвестный г-н Смоленский, обличал местных колхозников прямо с телеэкрана: «Вы лес замусорили, я его купил и очистил, а теперь хотите в нем грибы собирать?» На возражение, что мусор г-н Смоленский выбросил на колхозную пашню, последовала презрительная улыбка. Таково правовое и историческое сознание современной элиты: презрение к аборигенам, нищему быдлу, изоляция от местных заборами, наглость. Госпо-

да и живут наездами, имения охраняют вооружённые люди. А ведь хорошо бы для начала проверять новых «пользователей» на умение вести хозяйство хотя бы договором об аренде лет на десять. Покажешь своё умение работать на земле по-хозяйски, покупай. Даже молодёжь сегодня не спешит оформлять браки, при неудачах расторгают узы, несут за неудачи ответственность, платят алименты. Почему ж наши законы так просты, что земля, всеобщее достояние, продаётся любому проходимцу без всяких условий для спекуляций навечно, как при рабовладельческом строе: отдал бабки и владей?

В селе Родня ничто не напомнит паломнику о былом величии порубежной крепости Руси. К деревянной часовенке, построенной более века назад на высоком берегу Волги, откуда открывается захватывающий сердце вид окрест, едва добрались на жигулёнке. Кто-то поставил на купол деревянный крест, вот, пожалуй, и все изменения за двадцать лет. Прошлый раз, когда мы были тут с московским писателем Владимиром Куницыным, хозяйка соседней избы складывала в часовенку сено для коз; за три года крыша прохудилась, хозяйка состарилась. В Ивановском кладбище заросло совсем. Поискав в траве и кустах надгробную плиту с именем полковника Д.П. Шелехова, я с трудом выбрался на дорогу. Плита исчезла или заросла травой. А ведь одного километрового металлического забора, которым укрывают свой мифический покой новые насельники этого края, пожалуй, хватило бы на обустройство памятных знаков всего Волговерховья. Нет, живут как колонисты в исторических потёмках, думают отсидеться в коттеджах за заборами...

Появились у нас шоу-монастыри, задуманные, вероятно, маяками нового российского православного капитализма специально для паломников среднего класса. Отделанные гастарбайтерами из Средней Азии по всем канонам туристического бизнеса, с первоклассными туалетами и купальнями для паломников, новоделом-кладбищем и даже бильярдной для неверующих благотворителей на случай, если те пожелают сгонять партейку-другую с водителем, пока монахи творят молитву в их здравие. На архимандрите ряса чуть ли не от Юдашкина, клобук обтянут чёрным шёлком, модные туфли. Как-то не вяжется всё это с уставами православных монастырей, с преданиями о том, что настоятели спали в келье в гробах, монахи носили на теле власяницы. А Серафим Саровский даже на иконе изображён в валенках и стареньком зипунишке, что не помешало ему стать святым Русской православной церкви... Кстати сказать,

ни у помещиков, ни у князей, ни тем паче у крестьян усадьбы заборами не обносились, сельские батюшки так те вообще жили в крестьянских избах, архитектурой усадеб никогда не выделялись... А вот знаковая информация из разряда слухов (газета «Караван»): «...Первоначально мусоросжигательные заводы для Московской области планировалось разместить в Кимрский и Калязинский районы Тверской области. После того как Андрей Епишин сделал эти районы своей вотчиной, проект свалки переместился под Старицу. А вообще, Андрей Епишин, долгие годы депутат Мособлдумы, похоже, приехал в Тверскую область, чтобы реализовать план размещения на нашей территории московских свалок...»

Ещё более жуткий пример хищнического отношения собственника и пользователя к истории Отечества грядёт в Торопецком районе. Здесь между сёлами Речане и Каменка, на Большой Московской дороге, идущей через Ржев и Торопец к Вильно и Варшаве, в Европу, в разные годы нашей истории произошли сражения, прославившие русское воинство. Здесь одержал блестящую победу в 1245 году над возвращавшимися с награбленной добычей литовцами Александр Невский. А в 1580-м торопчане остановили польское войско Стефана Батория. В 1609 году у села Каменка русские войска воеводы Чулкова одержали первую победу Смутного времени, положив начало освобождению России от польских интервентов. Места эти помнят победы в Северной и Отечественной войне 1812 года. А в январе 1942 года 249-я стрелковая дивизия полковника Г.Ф. Тарасова, освободив Торопец от гитлеровцев, нанесла им поражение под Каменкой, фактически повторив манёвр Александра Невского по окружению неприятеля. Впервые в истории Великой Отечественной войны были взяты в плен более 6 тысяч гитлеровцев вместе с техникой и продовольствием. Пока тверские учёные и краеведы с Ассоциацией тверских землячеств готовили это место для создания «Поля русской воинской славы», радуясь тому, что 2012 год объявлен Указом Президента РФ Годом Российской воинской славы, пока устанавливали памятные знаки в честь великих побед, «пользователь» тоже не дремал. Уж больно лакомым показалось ему место на Большой Московской дороге, где в советские времена располагалась зенитно-ракетная часть, державшая до 1990-х годов ракетный щит Москвы.

И вот частная компания «ЗеЛандия» (одна аллюзия чего стоит: будто не на страну с тысячелетней культурой работает, а на необитаемый остров высадилась), имеющая прямое отношение к экс-губернатору Тверской области Д.В. Зелени-

ну, с грубейшими нарушениями федерального и регионального законодательства, игнорируя мнение населения, используя ложь и фальсификацию, приобрела 240 гектаров именно этой героической, политой кровью русских воинов земли для разработки на ней гигантского карьера по добыче песка. Песок этот, принеся многомиллионные доходы хозяину, ляжет в основание дороги в Литву и Польшу, в Европу. В дорогу, которая стала последней для полчищ захватчиков, шедших на Москву в XIII, XVI, XVII, XIX и XX веках. Откуда бизнесмен Зеленин, награждённый российскими правительственными орденами, готов вместе с дешёвым песком выгрести кости русских воинов, положив и их в основание дороги. Другого места для своего карьера (и, вероятно, будущей карьеры, как он её видит) экс-губернатор и исследователь кремлёвских червей не нашёл, решив заодно прикарманить инфраструктуру бывшей воинской части ракетчиков.

Но ведь мы это уже проходили: и изоляцию, и презрение к народу (к аборигенам), и нищету, и красивую жизнь элиты на курортах Европы. Та жизнь напоминает о себе по обоим берегам вдоль Волги: деревня Болотово, где родился крестьянский вождь Василий Болотников, деревня Пыталово, где крестьяне отказались платить налоги, деревня Первитино, где крестьяне разгромили имение помещицы Крыловой и открыли доступ в её лес. Список можно продолжить до бесконечности. Есть, конечно, и другие насельники, те, что разводят скот, сеют хлеб, заняты производством, создают рабочие места, организуют сельхозпредприятия, заботятся об исторической памяти народа. Но таких единицы. И это тревожит.

В XX веке, когда пирамида землевладения рухнула, тотчас же возникли нестроения и в родословии, и в краеведении. О том, как сказалась перемена «пользователей» на исторической памяти, приведу один пример. Жил в начале XX века в Бологовском районе коллекционер Рахлин-Румянцев. Женившись на дочери богатого лесопромышленника Громова, он приобрёл в 1914 году землю в селе Рютино, построил загородный дом. Вскоре жена умерла, он построил ей мавзолей в стиле древнего новгородского православного храма. С началом революции землю у Рахлина отняли, мавзолей хотели разрушить, но хозяин на ту пору подружился с властями, решил переделать его в музей древнерусского искусства и подарить народу. Рахлин имел редчайшую коллекцию икон, нательных крестов, других артефактов. Но власть искала золото. Не нашла. На ту беду приехал туда Троицкий охотиться на зайцев,

коллекция приглянулась. Как-то Рахлин отъехал во Францию и, когда вернулся, обнаружил, что коллекция исчезла. Вскоре хозяин попал на Лубянку и был расстрелян в 1925 году за пропажу принадлежащих народу ценностей. Я знаком с той частью дела Рахлина, что хранилась в Новгороде, но так и не понял, куда всё исчезло. Сегодня на месте храма котлован. Разобрали его ещё в 1930-е годы. Вопрос: вспомнит ли о Рахлине новый хозяин древней земли? А Рютино — это и место погребения знаменитого русского этнографа и палеографа, собирателя фольклора И.П. Сахарова, который последние годы жил неподалёку в имении Заречье. Вопрос не праздный, касается истории нашей пока земли. Подобное творится и в Твери. На детектив похоже исчезновение памятной доски с дома выдающегося земляка, поэта и героя войны 1812 года Фёдора Глинки. А где Единово, колыбель русской кооперации, сыроделия и маслоделия, место первой в России школы маслоделов, основанной пионером мирового кооперативного движения Н.В. Верещагиным? Ушло вместе с бароном Коршем в небытие. Историческое пространство России стремительно сужается, как знаменитая шагреновая кожа, народ оказывается в положении манкуртов, не имеющих ни истории, ни родословной. Ситуация усугубляется ещё и тем, что новый собственник-«пользователь» — зачастую обыкновенный спекулянт, он не хочет ни пахать, ни сеять. Историческая память народа закрыта в душных сейфах спекулянтов и «пользователей», ждущих, когда цена на землю поднимется, находясь, допуская и это, далеко от Твери.

Почему на 1920-е годы пришёлся расцвет краеведения? Потому что НЭП решил вопрос с собственностью, в том числе и земельной, реабилитировал кооперацию. История России могла бы повернуть в другое, не колхозное русло именно в связи с восстановлением в правах кооперативной собственности на землю. Россия ответила на то подъёмом народного хозяйства, культуры. Начался издательский бум. Тверь в те годы издавала 20 журналов, а финансировала их кооперация. С началом коллективизации краеведение назовут местничеством, родословие — лженаукой. Ведь историческая память связана с землёй: *«И хоть бесчувственному телу/Равно повсюду истлеть,/ Но ближе к милому пределу/ Мне всё б хотелось почитать...»* И мы помним, как обеспамятовал народ, оставшись без земли: трудодни, мерзость запустения даже на кладбищах.

Но Россия пережила и времена «пользователей», когда помещик благоденствовал в Европе, оставляя на хозяйстве управляющих. И пусть

поздно, но пришла к выводу, что в свой народ, в земледельца, в свою землю владельцу нужно вкладывать ум, сердце, средства, а народ образовывать, хотя бы подсаживая идущих в школу босых паренёв. Только тогда народ явит миру Ломоносовых, Есениных, Жуковых. Ну а что случилось с Раневскими, мы хорошо помним из истории. Вообще же, глядя на высокие металлические заборы, эти североамериканские химеры застолблённых суверенных территорий, ставшие обязательным элементом среднерусского пейзажа, невольно вспоминаешь замечательное место из «Слова о полку Игореве»: «Борьба князей с погаными ослабела, потому что брат сказал брату: это моё, а то—моё же, и начали князя про малое такое большое слово молвить, а сами на себя крамолу ковать, а поганые со всех сторон приходили с победами на землю Русскую».

Вопрос, как собственники и «пользователи» знают свою историю, делающую нас русскими, москвичами, тверяками, гражданами страны, далеко не праздный. Забудут ли в России первого писателя по сельскому хозяйству Дмитрия Шелехова, создателя первой в России сельскохозяйственной школы для крестьян, старицкого издателя всероссийских газет и журналов И.П. Крылова? Князей Нарышкиных, собравших в своём имении в Зубцовском уезде одно из лучших в России собраний живописи, положившее начало Тверской картинной галерее? —вопрос национальный. Забыть их, выпустить из исторического сознания, и тогда история на нашей земле возьмёт совершенно иной курс, пойдёт другим путём. Вопрос: куда и с кем?

Читаю недавно изданную книгу покойного краеведа Бориса Ротермеля «Тверские немцы»: «Однако приезжавшие из Сибири с надеждой на возвращение в места прежнего жительства немцы 28 августа 1991 года получили от президента Б.Н. Ельцина отказ в возвращении отнятого у них имущества. После этого российские немцы, кстати говоря, внёсшие огромный вклад в развитие области, стали активно выезжать на свою историческую родину—в Германию...» Вот так: своих немцев мы из России вытеснили, а фашистам настроили мемориальных кладбищ под Ржевом. «Русским немцам» в Германии есть что помнить в своей стране, они быстро вживутся в свою культуру. А где же прежние русские владельцы? Почему не в России? А в той же Германии, Англии, Франции, Австралии—откуда я в «Русской провинции» получал письма и материалы? Они тоже ждали в лихие 1990-е годы закона о реституции, но не дождались ни возврата родовой собственности, ни реального родословия... Значит, слёзы по судьбе

русского дворянства после революции, которые льёт либерал, крокодилы? Потому и родословие обратилось в ритуальные справки из архивов и интернета, оно не полнокровно. В живой жизни некому следить за памятной доской Фёдора Глинки, прибраться на могиле Ивана Сахарова, принести в Твери цветы к дому, где родился переводчик «Фауста» на русский язык русский немец Николай Гербель.

Ни «старому» русскому, ни немцу, за исключением тех, кто не уехал, а остался, как Ротермель и Роберт Иванович Шнейдер, дома, в такой России «милого предела», к которому жмётся всякое человеческое сердце, не нашлось. Вот почему среди организаторов «Тверской родословной» хотелось бы видеть и новых собственников. Пусть хотя бы знают, на какую почву они притязают. Но хозяева всё ещё в тени, купчие на зарастающую землю лежат в закрытых сейфах, вероятно, думают обмануть историю. У слова «родословие» есть близкий по смыслу синоним—«наследие». Наследия без родословия не бывает. А родословие увядает без земли, без дома. Это аксиома...

Что же делать? Ещё раз напомним, как в конце 1980-х годов центральное телевидение организовало «хождение» тверских старожилов от Путёвого дворца в родовой дом художников и священников Первухиных в Затверечье. Вспомнили вдруг почему-то, что предками художников Первухиных были священники, игравшие большую роль в развитии исторической памяти тверитян. В той колонне шли тверские писатели, газетчики, художники, искусствоведы, музыканты и тележурналисты. Сколько было надежд на возрождение исторической памяти, на реальное родословие, которое могло бы превратиться в ту нерасторжимую смертью связь, которая потрясла в холодный весенний вечер студента из одноимённого рассказа Чехова. Не превратилось пока.

Этот вопрос не оставлял меня и на Неделе тверской книги, прошедшей в феврале 2012 в областной библиотеке. С одной стороны, поразило количество изданных у нас краеведческих книг, с другой стороны, бросался в глаза один существенный, на мой взгляд, недостаток: большинство книг издано за счёт авторов или их издателей; тиражи мизерные, до читателя не доходят. Приятно видеть книги А. Шиткова, в ком счастливо сочетаются краевед, писатель, экскурсовод и книготорговец, в церковной лавке Старицкого Успенского монастыря. Много лет слежу за профессиональным ростом Дмитрия Подушкова, альбомы которого «Чехов и Левитан на Удомельской земле» и «Художник К.А. Коровин в Вышне-

волоцком уезде Тверской губернии» составили бы честь любому столичному издательству по глубине темы и оригинальности подачи. Выше всяких похвал проект Е. Ступкина и А. Семёнова, на свои средства поднявших издание трёхтомника «Тверская губерния в открытках»... Но ведь культура – дело государственное!.. И примеры сотрудничества государства с культурой есть. Театр и филармония получают ощутимую поддержку из бюджета. Почему издатели финансируются так слабо и бездарно? Многих поразил низкий уровень биографической серии «Люди Тверского края», начатой при финансовом участии Тверского комитета по культуре. Блёклое оформление, унылая вёрстка, ошибки, случайный подбор имён. Случайные документы, фото из Интернета. Читаешь и видишь иногда откровенную халтуру, газетчину. Ни характеров, ни судеб: что Фурцева, что Бюнтинг... В то же время Комитет прошёл мимо юбилеев Чехова и Левитана, В.В. Андреева и Коровина. (О них вспомнил в Удомле «частник» Подушков!) Как и когда проводился тендер на эту серию? Почему о нём не знали ни в писательской организации, ни краеведы? Книги, изданные за бюджетные средства, должны быть образцовыми. Комитет по культуре обязан смотреть далеко вперёд, проводить культурную политику. Но альбом о Чехове и Левитане выпускает на собственные средства Дмитрий Подушков, издание открыток целиком ложится на плечи издателей. И почему деятельность Комитета по КУЛЬТУРЕ до сих пор ограничивается клубной и художественной самодеятельностью? Это вся культура?!

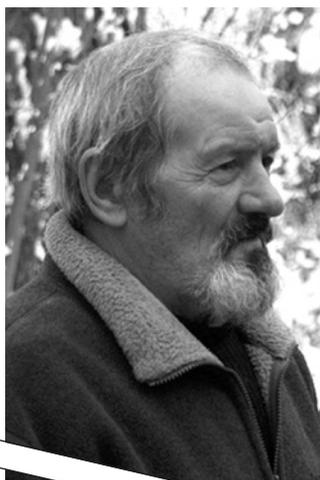
Глядя на разгулявшиеся по берегам Волги и Селигера дворцы и усадьбы, на заборы, шлагбаумы и запретительные знаки не подъезжать, не причаливать, «частная территория», историк и краевед невольно думают о превратностях истории, которая привела уже однажды к Великой Крестьянской революции 1917 года. Революции, начавшейся без своего вождя и бескровно погибшей в 1991-м. Но историки помнят, что помимо кадастровой у земли есть ещё и стоимость историческая. И она должна учитываться при покупке здания ли, земли ли. Напомню, что заседания Тверской учёной архивной комиссии (ТУАК), существовавшей в Твери в прошлом веке, проходили в доме тверского губернатора с архиепископом. И сам губернатор, и Церковь были крупными собственниками земли, владельцами церковных и монастырских зданий, именно они и представляли среди краеведов, писателей, газетчиков своим весом и авторитетом родословие

владельцев и пользователей. Так что человек, покупая землю и ныне, покупает и, как это кому-то не покажется кощунственным, ещё и частицу государства Российского. И если государство ищет исторической целостности и преемственности, оно должно делать всё возможное для сохранения на этой земле исторического наследия. Равнодушные государства к историческому наследию всё более превращают наше краеведение в пустые байки Зоркого Орла или Ястребиного Когтя о былом величии индейцев в Америке своим внукам перед сном. И не потому ли история России сегодня не востребована обществом, что пришла элита, для которой историческая ценность оказывается ненужной и даже враждебной, как это случилось и после 1917 года?

Землевладелец должен получать от земли не только прибыль, но и сознать её историческую ценность. Как его подтолкнуть к этому, я сказать не готов. Может быть, он сам из благодарности поставит два-три верстовых столба на дороге, по которой ездили Пушкин или Шелехов, а теперь ездит и он сам; а может быть, его обяжут следить за надгробием героя войны 1812 года полковника Шелехова, к которому он теперь оказался причастен по праву наследования. В одном уверен: всякий хозяин, независимо от формы собственности, обязан знать и охранять те пласты русской истории, что выходят наружу на его земле, коль мы уже хотим, чтобы и гастарбайтер знал русский язык! Это явления одного порядка. Взялся за гуж, не говори, что не дюж. Просвещению мог бы содействовать и Интернет. Часто обращаясь в процессе своей работы к словарям, я вижу, как агрессивно ведёт себя реклама даже на страницах словарей, предлагая читателю услуги, которые и так востребованы. Почему бы не наполнить сайты по продаже земли информацией об исторической её ценности? Это тоже дело государственное. Ведь ещё многие поля напичканы осколками войны, на многих лежат так и не захороненные косточки солдат, которые её защитили... Не знать об этом, не чувствовать этого – действительно кощунство...

Станет ли наша Родина всего лишь вотчиной для колониста, латифундиста, помещика, коллективного собственника (всё равно!) или же обратится в свободное наше Отечество, как поётся в гимне? Что высидят колонисты новых суверенных территорий за своими заборами? Вспомнят ли о том, сколько Человеку земли надо?

Тверь, 2012



Александр Александрович Семочкин родился в деревне Выра Ленинградской области в 1939 году. Архитектор, реставратор, плотник, писатель, публицист. Один из создателей музея «Дом станционного смотрителя» в Выре. Создатель и первый директор музея-усадьбы «Рождествено».

Д Александр Семочкин ЕРЕВНЯ

Выра
Россия

«В Иркутске. Здесь я неожиданно понял, что надо не просто любить, но и хвалить свою родину. Мы так часто забываем, что наша Родина — женщина, что она нуждается не только в нашей тайной любви, но и в открытом её величии, преклонении перед ней.

Какой дивный город Иркутск! И сколько таких городов по России! Нежная любовь к Родине, именно нежная, восхищённая — вот чего нам не хватает!»

Павел Басинский

Запись в «Подорожнике» В.Я. Курбатова
16.06.2012

Вечная, неотменяемая, ненаглядная моя деревня! Как свободно, вольным крестом простёрлась ты с юга на север по старинному тракту, бывшему некогда одним из путей «из варяг в греки» и ныне напрямую соединяющему моря Балтийское и Чёрное, — и по другой дороге, с востока на запад идущей и соединяющей Ладожское озеро с Финским заливом в той его части, где река Луга отдаёт Балтике свои воды.

А ещё по берегам благословенной реки нашей раскинулась ты — реки, чьи воды так светлы в белые ночи и так темны сейчас, в октябрьское средостенье, в канун дня Покрова Богородицы. Река течёт здесь с запада на восток и естественно делит деревню на северную часть, возвышенную и древнюю, и на южную, приречную, пологую и мне особенно родную, потому что именно здесь родился и вырос. Давно, давно это было, но я всё так же по-мальчишески влюблён в тебя, моя деревня, и вот дерзаю петь тебя потому, что любовь — единственное, что способно оправдать моё дерзновение.

С юго-востока деревню подпирает роца до неба вымахавших берёз — её не было в поры моего детства! — с юго-запада буйно разросшийся еловососновый борок с дивными лесными полянками подступает вплотную к домам, с запада чистый сосновый брусничный бор теснит деревню, а с востока дикие заросли ольхи, черёмухи и ивы, оплетённые лианами хмеля и повилики, делают эти заросли почти непроходимыми для человека, но служат хорошим убежищем для норок, бобров, уток и выдр.

Такое место не могло быть не замечено, в самом деле, деревня возникла тут так давно, что никакой историк не рискнёт назвать точное время её возникновения. Известно только, что к концу века пятнадцатого деревня числилась селцом, то есть имела в себе часовню, и уже насчитывала не

один десяток дворов. Корень деревни, вернее всего, финно-угорский, жила тут ореджская ижора, ещё называемая инкерилайнен, и, в отличие от своих северных соседей карьялайнен, они не только пасли скот, но и пахали землю, вернее сказать—царапали её деревянными сошками. Ещё—ловили рыбу, хариуса, форель и кумжу, ещё собирали в обилии рождавшуюся на окрестных болотах морошку, гоноболь, бруснику, клюкву и шикшу. Ещё промышляли косачей, глухарок и рябца, а иные держали борти.

Северная часть деревни полого, но мощно поднимается над рекой, тут сухо и солнечно, и тут поселились первые инкери, постепенно отвоёвывая от обступившей их тайги куски земли под пашни и выгоны. Сама по себе ижора—народ мирный, работающий и спокойный, да иным и не выжить было бы на этой строгой земле. Тут всё давалось потом и кровью, за полторы тысячи прошедших лет немало, думаю, народу полегло от медведей, рысей, волков и росомах, а пуще того, и уже без сомнения, —от двуногих хищников, коих немало водилось в этом глухом краю в разные времена.

Всё шло по раз и навсегда заведённому порядку, вслед за коротким летом, полным внезапных ливней, туч насекомых и вдруг прорывающихся с севера холодов наступала пора первоначальной осени, с её груздями и рыжиками, с поздней брусникой и ранней клюквой. В ту пору устремлялся вверх по реке благородный балтийский лосось на свои нерестилища, огромные лохи сокрушали запруды рыбаков и бились на перекатах, и не было в мире силы остановить этот поток жизни, требующий продолжить себя в потомстве. Тогда все мужчины округи собирались на реке, метали гарпуны в кипящие рыбой протоки и радостно вопили, когда метровые рыбыны всплывали по течению, поражённые их орудием.

Иные из добытых лососей тянули на полтора пуда, да плюс ведро икры, которая, впрочем, с соблюдением известного ритуала отпускалась назад в реку, потому что иначе бог Ахти гневался на истребителей рыбьих деток и приказывал Веден-эму закрыть ход рыбы.

Набив кадушки лососиной, спешили часть добычи обменять на соль, и если обмен по каким-то причинам не удавался, приходилось зимой есть тухлую рыбу, впрочем, наступающие морозы почти уничтожали неприятный запах. Далее следовал долгий ряд зимних жертвоприношений и обрядов, и если всё было сделано правильно и вовремя, лесной бог Тапио приказывал, и дух Ха-

тавайнен присылал много зайцев, и не было недостатка в мясе, а дух Ниркес гнал из необъятных южных лесов белок, и тогда все люди были одеты в тёплые шубы.

Ижорцы строили из дерева только наворачивая своих домов, нижнюю часть жилья выкапывали в земле, поэтому дом размещали на возвышенном сухом месте. Особо важно было тот дёрн, который снят с земли в начале постройки дома, положить на его крышу при завершении строительства, тогда бог Укко бывал благосклонен к дому, к обитающей в нём семье и ко всем делам семьи. Так, построенная «деревня на горке» называлась Кюля-мякки или Vuori-кюля, это зависело от размеров той горки, и бог бури Ильмаринен не разрушал такую, правильно построенную деревню, потому что в каждом её доме сочеталось земное и воздушное, горнее и дольнее, но именно земное вершило дом и главенствовало в доме, и это было правильно—человек постоянно должен помнить своё место и не возноситься.

Так привычно жил народ Инкери-маа полтысячи лет, как вдруг всё стало меняться. Пришли с неизвестной стороны неизвестные люди, их было много, у них были невиданной прочности железные орудия, они привели с собой невиданных животных, и невиданные растения стали они выращивать на полях. К удивлению ижоры, новопоселенцы, называвшие себя словенами, во все не желали зарываться в землю, свои казавшиеся огромными дома они вздымали над землёй и строили их где кому приглянется, так что скоро всё взгорье к реке, а потом и низина оказались застроены пришельцами.

Ижорцы ждали страшной кары от древних богов за нарушение от века заведённого порядка, но проходили годы, и ничего особенно ужасного не происходило, и со временем мудрые старики инкери рассудили, что каждый народ имеет право жить по своим законам, если они к тому же не зловредны. Однако немало поколений минуло, прежде чем случилось неизбежное—юная ижорка стала женой словена. Потом это стало происходить всё чаще.

Однажды явились люди в странных одеждах, пришли они от Велика Нова-города и стали учить жителей деревни, говоря им, что те поклоняются бесам, а нужно молиться Единому Богу, и крестили всех в реке. Единому нужно было построить молельню, и мужики деревни срубили невеликую избёнку и поставили на её крыше крест. Молельню установили близ старинной до-

роги из Нова-города в крепостишку Корелу, которую, впрочем, все местные называли по старой памяти Кякки-салми, то есть Кукушкиной протокой. А то место, где поставлена была новая молельня, или церква, теперь называлось Погост, потому что съезжался сюда всякий торговый народ—гости, и торговали-гостевали они на вечевой площади, устроенной рядом с новопоставленной церковью.

Время от времени являлся из Нова-города важный человек, тиун, и говорил на вече то о войне, то о постройке дорог, а то о податях Нова-городскому князю. Мужики шумели дотемна, поначалу ни с чем не соглашаясь, но тиун бывал настойчив, и вече приходилось в конце концов уступать. Ещё случались пожары, превращавшие в пепел целые деревни, и лютые неурожаи бывали, и моровые язвы опустошали дома, а то являлись невесть откуда ватаги лихих людей и силком забирали всё—и скот, и хлеб, и молодых девок.

Так жил век за веком народ, уже ставший единым, поколения сменяли поколения, и мало что менялось в этом мире, разве что тайга отступала всё дальше, и меньше становилось в реке рыбы, в лесу—зверя, а в лугах—птицы. Впрочем, так утверждали старики, но старики всегда так говорят, потому что они завидуют молодым, а молодые это знают и про себя над стариками посмеиваются.

Но однажды пришла весть неожиданная и страшная—пал Великий Нова-город, и великое множество народа перебито в нём опричным войском царя Ивана Васильевича, и вырван язык у вечего колокола, и сам тот колокол увезён неизвестно куда. Не успела деревня усвоить своё новое положение—быть под московским царём, как явились из соседней Свейской земли вооружённые чужеземцы и стали говорить о том, что неправильно молится народ Богу, что надо по-другому молиться и отныне свейский король из славного города Стекольны будет наставлять всех в истинной вере и благочестии.

Многим в деревне не по нраву пришлось такие речи, но sweи упорствовали, и чем дальше, тем больше упорствовали, и тогда народ стал собирать свой скарб, бросать насиженные места и уходить на юг, в российские пределы, где молились по-старому, говорили на родном языке и не так притесняли податями. Скоро деревня весьма обезлюдела, а это обеспокоило теперешнего хозяина земли, барона фон Рора, и он стал просить своего короля о вмешательстве и помощи. Видно, не один этот барон докучал королю Густаву

Адольфу, в конце концов тот приказал часть крестьян из финской провинции Саволак, а ещё из карельской Эйрипяя переселить в Ингрию, что и было произведено. Переселенцы заняли пустующие дома, а то и сами построились, и весьма скоро поняли все выгоды переселения: после скал и болот Саймы земля Инкери-маа была поистине благословенна. Сами они были уверены, что теперь такой порядок—навсегда, ведь и русские с этим согласились, чёрным по белому записав в Столбовском мирном договоре: «Отныне и на вечные времена...»

Действительно, без малого сто лет всё было спокойно, уже и те ижорцы и словене, что остались в деревне при свеях, приняли новую веру и стали ходить и молиться в кирках. Но в Московии объявился новый царь, очень молодой и очень нахальный, и полез в драку со Шведской державой. Тоже очень молодой и тоже очень драчливый свейский король Карл сокрушил и перемолол армию русского царя Петра под Нарвой и на том успокоился, решив, что русские долго будут приходить в себя после нарвской головомойки. Но неожиданно для всех, а пожалуй, и для самих себя, русские быстро оправались от нарвского позора и создали армию ничуть не хуже свейской. Молодому Карлу следовало бы знать русскую натуру—только получив хорошую оплеуху, русские начинают драться по-настоящему. Так что очень скоро деревне пришлось привыкать к новой власти. Мало того, русский царь решил построить новый большой город на месте свейского Ниеншанца, а это всего в шестидесяти вёрстах к северу!

Началась новая власть, как это частенько бывает, с грабежей, которые учинили солдаты генерала Апраксина над жителями деревни, и при этом, не разбирая роду-племени, грабили всех. Потом, впрочем, быстро всё успокоилось, благо все новоприобретённые земли объявлены были казёнными, а наша Богоспасаемая деревня и во все была определена во Дворцовое ведомство, так что теперь никто наших крестьян обидеть не смел. Тем более что в соседнем селе поселился с молодой женой сам Государев наследник и Царевич Алексей Петрович, а после его кончины (нечистое это было дело, прости, Господи!)—Государевы племянницы—Параскева, Катерина и Аннушка.

При них деревня лиха точно не знала, но потом, при Государе Павле Петровиче, который приходился тому Петру, победителю Карла, никак правнуком, да по женской линии (а там всё тёмненько, судари мои!), —определена была

наша деревня вместе с другими землями во владение генералу Петру Малютину. Был этот генерал Малютин, царствие ему небесное, верный служака и добрый пьяница и кутила, так что от царёва подарка мало что вскорости осталось, да тут и смерть с клюкой... Пошла наша земля по рукам, и воссела на добрые треть века хозяйкою у нас госпожа генеральша, Донаурова Мария Фёдоровна. Но и тут грех жаловаться, добрая была барыня, зря не обижала.

Как уже было говорено, шёл через нашу деревню старинный тракт, на севере упирившийся в невские пороги, да только теперь упирался он в славный город Санкт-Питер-бурх, а на дальнем юге—в весёлый город Одессу, где, говорят, бойко торгуют рыбу кефаль, весьма приятную на вкус. И вот на этом тракте Государь Николай Павлович повелел построить по лучшим архитектурным проектам почтовые станции, выбор пал и на нашу деревню. Два года станция строилась и засияла наконец своими розовыми корпусами ровно в центре деревни, рядом с поминаемым уже нами перекрёстком дорог с севера на юг и с запада на восток.

В зрителях ходили там разные люди — выслужившие своё унтер-офицеры или местные мещане (прошу прощения за неловкий повтор, или тавтологию, как говорят учёные люди), в ямщиках—расторопные молодые ребята из местных, ну а в проезжих... да кто же тогда не ездил, не колесил по матушке-России, от Государя Императора до последнего, можно сказать, губернского регистратора все куда-то устремлялись. В их числе был и коллежский секретарь Александр Пушкин, литератор, автор знаменитой поэмы «Руслан и Людмила». Досужие люди уверяют, что местного зрителя он сделал героем одной своей повести, да только это чистые выдумки, вся деревня знала тогда нашего зрителя Тимофея Садовского, и дочку его, Ольгу, знала, и ни с каким гусаром Ольга не бегала, вышла замуж за Ванюшу Евстигнеева и родила ему кучу детей, никак семь. Чего не выдумают досужие люди!

Сама-то станция тоже недолго станцией побыла, как построили рядом железную дорогу, так всё туда и перешло, опустевшие почтовые корпуса определили—один под волостное правление, а другой выкупило земство на предмет устройства в нём четырёхклассной народной школы. Это уже тогда произошло, когда вся, почитай, Россия вспомнила, что она родом из деревни, и разом в деревню устремилась. Деревенский ушлый мужичок быстро понял свою тут выгоду и стал стро-

ить просторные, узорочьем украшенные дома и сдавать их на летний съём всякому городскому народу. И то надобно сказать, за хороший дом да за сезон можно было взять до тысячи рублей, а то и более, дачники не скупились.

Должно признать, что такие лёгкие деньги развращают любого человека, но особенно непозлезны они русскому мужику, у которого от того заводятся в голове всякие крамольные мысли весьма и весьма опасного, разрушительного свойства. Скоро, увы, это подтвердилось.

В те годы появился в деревне невеликий, но исполненный всяческой красоты особняк на берегу реки, иные его величали дворцом, но напрасно, не дотягивал он до дворца ни размерами, ни внутренним убранством. А построил его человек настолько же государственно мудрый, насколько и житейски опрометчивый, звали его Николай Дурново. Жил сам он тут недолго, невелик был министерский срок при Николае Александровиче, а по отставке своей отбыл он в родную Белокаменную, где до того служил генерал-губернатором, а свой особняк отписал полюбивнице, Надежде Бакеркиной, балерине. Только красавица Надя тоже недолго им попользовалась, вскорости случился 1917 год, а там—что уж объяснять!

Тут нам надобно, судари мои, вдохнуть поболе воздуха, потому как погружаться нам в стихию окаянного двадцатого века, а там и задохнуться недолго. Всё началось в несчастную Германскую войну, началось с горлопанов, понаехавших из города в видах самим подкормиться и народ заодно помутить, и много было сказано теми прощельгами зажигательных слов про тёмное проклятое прошлое и светлое будущее. Мужики наши, и до того краснобаев выдавшие, хмыкали и по дворам расходились, но иные, которые из мещан или поповичей, такими речами соблазнялись не на шутку. Была в деревне организована коммуна, обобществили всё—кур, коз, и даже дети стали общими, за ними по очереди ходили коммунарки. Что с той затеи произошло, объяснять не нужно,—через пару лет все меж собой расплевались и разбежались, всё от начавшихся бабьих свар, понятно.

В те поры деревня была не сказать зажиточная, богатая была деревня, её интерес касаемой новой власти держался, пока власть возглашала: «Грабь награбленное!» Но как скоро эта власть сама обирать мужиков стала, так те быстро сообщали, что известная байка про бесплатный сыр в мышеловке—это как раз про них. Богатейшие

барские усадьбы, а их не счесть было в округе, они, конечно, пощипали, и изрядно пощипали, но платить за это своим добром никто не желал. Уже и то хорошо, что ни одной усадьбы не запалили, и крови хозяев тех усадеб на них нет.

Но кровь в деревне, однако, пролилась, хотя наши тут ни при чём. В деревне остановился батальон знаменитого тогда Семёновского полка, красные вроде бы его к себе переманили, назвав Первым Петроградским полком по поддержанию порядка, да плохо, видно, знали они лейб-гвардейцев, иначе не послали бы их против своих же. Тогда Юденич наступал, и семёновцы сразу перешли на его сторону, а своих новоназначенных красных командиров и комиссаров поставили к стенке. Тут, у стены почтовой станции, и постреляли. Их, конечно, потом героями объявили, да только были они все чекисты из красных латышских стрелков, и руки у них тогда уже были по локоть в крови. Вот кровь на кровь и легла.

Так вот началась у нас новая жизнь. Власть, она понимала, конечно, что за настроение в деревне, и правильно понимала. Мужики, кто уж не вовсе пропащий, стали помалу из деревни линять—кто в Эстонию, тогда свободную, кто в городе затерялся, кто и вовсе в Сибирь. Организовали колхоз, там заправляли горлопаны из местных, но председатель был присланный, местным начальство не доверяло, да и то сказать, что правильно не доверяло,—горлопан, он горлопан и есть, он работником не будет. Ломили в колхозе больше безответные бабы да наши местные финны, у них дисциплина в крови, видно, шведы воспитали за тысячу-то лет. Дела в колхозе шли ни шатко ни валко, но подрастала молодёжь, у неё уже было другое сознание жизни, да тут вскорости и война—сначала Финская, потом Вторая германская.

Уж как не кричали комиссары, что врага будем бить на его территории и малой кровью, а только через полтора месяца с начала войны немец уже был у нас, перешагнул, да и двинулся дальше, к городу. Жалкое то было зрелище, судари мои,—видеть наших отступающих солдатиков, как они понуро шли через деревню, грязные и голодные. А за ними явились на мотоциклах немцы, весёлые, чистые и сытые, и уж многим подумалось тогда: эти надолго, если не навсегда. Да только Бог в правде, а не в силе.

Грех говорить, но никаких зверств в деревне произведено не было, вот только на северном конце, где колхозные скотные дворы, устроен был лагерь, туда согнали всех не местных и казавшихся немцам подозрительными, а ещё сол-

датики наши, выловленные в лесах и болотах, из Лужского укрепрайона, а потом ещё командиры из несчастной Второй ударной армии—всех туда. В первую зиму там, в лагере, так было лихо, что, говорят, люди своих покойников ели. Много там народу перемерло. Власть-то наша от них отказалась, изменники, мол, трусы и предатели, а и то сказать—немцам какой резон их было кормить, у них своя армия есть хочет, а наши, уходя, скот угнали, зерно увезли и поля пожгли.

В конце концов в деревне наладилась какая-никакая жизнь. К лету сорок третьего лагерь распустили, общественные работы немцы наладили, там за работу платили хлебом, а кто крестьянствовал, те разобрали свои наделы, как было до колхоза, и крестьянствовали. Говорили, немец уже в Москве и на Волге, Ленинград с голоду умирает, а Сталин вспомнил о Боге, сам сидит в Троицкой лавре и молится.

Но в январе сорок четвёртого наши вернулись. Деревня была почти пуста—финнов ещё в сорок втором увезли в Финляндию (говорят, сам Маннергейм о том хлопотал), кто застрял в эвакуации, а кто и с немцами ушёл в Прибалтику, подальше от советской власти. Опять стал колхоз и работа с утра до ночи «за палочку». Председателем прислали какого-то морячка, тот тверёзым бывал нечасто и всё, бывало, орал: «Вы, сучья потрошь, с немцами тут обнимались, а мы на фронте кровь проливали! Теперь обязаны вкалывать день и ночь!» И вкалывали, куда денешься. Добавили в деревню народца, из соседней Тверской области, так эшелонами и переселяли, а те прибыли со своей многочисленной белоголовой шпаной, и пошла в деревне развесёлая жизнь—если, мол, на праздник в деревне никого не убили, не зарезали, так что это за праздник! Нашим из молодых хвосты быстро поприжимали, и те, как только возможно, стали перебираться в город.

Но тут объявился у нас в царях Никита Сергеевич Хрущёв, царствие ему небесное, и обернулся он к деревенскому люду с состраданием. Дурные налоги отменили, стали в колхозах деньги давать и завели паспорта. Иные думали, что теперь все разбегутся, да вышло по-иному. Все малые колхозишки, девять штук, собрали в один большой да прислали из района толкового мужика, фронтовика, и дело стало постепенно налаживаться. Сам-то Павел Семёнович был из крестьян, и как краюха хлеба достаётся, он знал хорошо и не понаслышке, а тут, почитай, волю мужику дали—хозяйствуй, мол, разворачивайся! Он и развернулся. Эти двадцать лет, что он колхозом командовал, у

всех наших—как добрый сон, поднялись деревни, похорошели, расстроились, уже и автомобили у иных появились, и телевизоры в каждом доме.

Только кому-то из высокого начальства это было не по душе.

Как это, мол, советские хозяйства, то бишь совхозы, у нас все на дотации сидят, а колхозы процветают? И чем они там занимаются? Один швейные цеха наладил, чтоб зимой бабы дома не сидели, другой консервный заводик открыл, третий телевизионные ножки точит, четвёртый мягкой обувью занялся,—это ж капитализм, товарищи!

Короче, Павла Семёновича—на пенсию, колхоз переделали в совхоз, и тот за два всего года стал убыточным, а потом его этак потихонечку—обанкротили. Мужикам по паям землю раздали, да только та земля никому уже не нужна. Эх, думается, лет бы пятнадцать, а то двадцать назад! Можно тогда было, пожалуй, и без всяких Дэн Сяопинов перейти к тем самым рыночным отношениям, вернуть крестьянина в крестьянство, а не делать из него совхозного придурка. Только что теперь о том говорить!

Нынче деревня другая, конечно. Что-то к лучшему изменилось, скажем, нет пьяниц, те, что были, все перемерли, сторели в спирте «Рояль», или как его там. И душегубов не стало, последние друг друга ухайдакали ещё в конце девяностых. Но и работяг, готовых за десятку дровишки поколоть, тоже нет, кончились. Теперь и таджики с киргизами себе цену знают. Вместо машинного двора колхозного—большой хозяйственный магазин, тоже и стройматериалами торгуют. И чего там только нет!

В деревне теперь три продовольственных магазина, два рестораника придорожных, автосервис, пилорама, две бензозаправки, часовня и музей; как говорится—на все случаи жизни. Зимой половина домов заколочена, это теперь дачи. И всё вроде бы ладно, только скучновато. Народ пошёл нынче сумрачный. Поневолe вспомнишь колхозные времена: и весёлый треск тракторных пускачей по утрам, и бурёнок пасущихся, и убранные—а то и неубранные—поля, и танцы в деревенском клубике, а то в соседнем доме отдыха, и гулянки общие, колхозные, как урожай уберут.

Народ тогда в деревне колоритный был. Были, конечно, и бандюганы-варнаки, два-три на деревню, случалась поножовщина, но это было нечасто, грех говорить. А вспомнишь, скажем, Лёшку Императора, и на душе теплеет. Это был такой

мужичок у нас, сам рыжий и собой не видный, но представлялся он всем и всегда так: «Лёха, Император вся Старья, Новья, Великия и Малыя Выры и окрестностей». И требовал себя опохмелить. Наши-то отмахивались, а дачникам лестно бывало самого Императора побаловать. А то Тарзан. Этот по другой части, всё тащил. Не мог он мимо двора пройти и хоть стираные подштаники с верёвки не содрать. Уж его и бивали, да всё не впрок. К стене припрут с ворованным—Володя, ну зачем тебе слега от моего забора? — а он лазоревы свои глазки вверх этак вздымет и молчит. Он и сам, поди, не знает зачем. Вот лежала, как не взять... А то Соловей. Вот ведь дал Господь талант человеку! В тёплый тихий вечер как грянет он: «Ты постой, постой, красавица моя!» —так вся деревня дела бросает и рты раскрывает. Гололице чистый, высокий, до нутра достаёт. Но пел Пётр Васильевич всегда «под настроение», то есть хорошо выпивши, и никогда никакую песню он до конца не доводил, а обрывал на самом важном месте. И тут уж—проси не проси... А Юрка Сивый, сосед, пьянь и чудо-плотник, я уж про него писал как-то... какой всё народ интересный был!

Теперь дачник днём на грядке, вечером у телевизора, общей жизни нет, только то и выручает, что в деревне, почитай, через дом—родственники, в гости ходим, пока сами-то, старики, живы. А как уж там молодёжь будет, нет, не дети, тех приучить к большой семье успели, а внуки—то лишь Господь знает. Жизнь, конечно, по-другому повернётся, и деревня наша будет другая, да и за то Господу слава, что—будет! Никак, смотрю, не собирается наша красавица помирать, только словение своё меняет—была крестьянка, стала мещанкой, а будет ли потом купчихой или в дворяночки выбьется, это уж как карта ляжет. Да за всё—слава Богу!

Сентябрь 2012
Выра





Томск
Россия

«... и около сорока лет времени питал их в пустыне»

Деян. 13,18.

«... любовь вечную Я возлюбил тебя и потому простёр к тебе благоволение»

Иер. 31,3.

Не юбилейное торжество у нас сегодня. Если на то будет воля Божия, мы соберёмся для этого через десять лет. Тогда мы отпразднуем нашу золотую свадьбу. А сегодня мы с тремя нашими сыновьями вспомним нашу прошлую жизнь, как сказано во Второзаконии:

«И помни весь путь, которым вёл тебя Господь, Бог твой, по пустыне, вот уже сорок лет, чтобы смирить тебя и узнать, что в сердце твоём, будешь ли хранить заповеди Его или нет».

(Втор. 8:2).

А также: «...внушай их [заповеди] детям твоим и говори о них, сидя в доме твоём и идя дорогою, и ложась и вставая»

(Втор. 6:7).

Это мы и попытаемся сегодня сделать; и да будет слава Богу за все пути, которыми Он нас провёл и в которых нам помогал.

1935

17 марта мы отпраздновали нашу свадьбу. И хотя она прошла в тесном кругу, всё крепко запомнилось. Господь благословил этот день. Милые, дорогие наши родители стояли рядом с нами и молились за нас. Когда мы пошли к алтарю, маленький хор запел песню, которую я больше с тех пор никогда не могла забыть:

Елена Корнелиусовна Фаст (в девичестве **Гамм**) родилась в 1914 году в немецком селе Надеждино (Neuhoffnung) Кошкинского района Самарской области. Училась в немецкой меннонитской средней школе с 1921 по 1928 год. Вышла замуж в 1935 году, родила пятерых детей, из которых трое дожили до взрослого возраста. В 1941 году была выслана со всем немецким поселением в Казахстан; с 1943 по 1946 гг. находилась в трудармии. Умерла и похоронена в Караганде в 1991 г.

С ЕЛЕНА ФАСТ (ГАММ)

Воспоминания о годах семейной жизни

СОРОК ЛЕТ

Перевод с немецкого
Е.В. Классен (Фаст)
Редактор В.Г. Фаст

*Хочешь ли идти тропию света ты,
Держись за руку Иисуса!
Он всё предусмотрит с высоты,
Держись за руку Иисуса!
Если прелесть мира вдруг тебя манит,
Держись за руку Иисуса!
Силою Его все искушенья победишь,
Держись за руку Иисуса!
Грех мучительно тебя отяготит,
Держись за руку Иисуса!
Только Он с тобою грех твой победит,
Держись за руку Иисуса!
Его милости доверься ты,
Держись за руку Иисуса!
Вскоре лик Его увидишь ты,
Держись за руку Иисуса!*

Припев: *Крепко за верную руку ты держись,
Держись за руку Иисуса!
На пути в отечество твоё
Держись за руку Иисуса!*

Нас сочетал дядя Бернгард Тевс (он был моим учителем во 2-м классе, когда мне было 7 лет). Он говорил о тексте из Ис. 48:17-18:

«Так говорит Господь Искупитель твой, Святой Израилев: «Я Господь, Бог твой, научающий тебя полезному, ведущий тебя по тому пути, по которому должно тебе идти. О, если бы ты внимал заповедям Моим! Тогда мир твой был бы, как река, и правда твоя – как волны морские».

Папиных родителей уже не было в живых, и мы прожили три счастливых года с моими родителями, братьями и сёстрами в родительском доме.

1936

В воскресенье 17 мая в 8 часов утра, когда солнце ярко освещало комнату, Господь подарил нам первого сыночка, нашего Вилли. Как велика

была наша радость, почти невозможно описать. Мы молились о нём, и теперь нашим самым глубоким желанием было, чтобы рос он и развивался во славу Божию. Как радовались мы все нашему дорогому ребёночку! Когда я сшила ему первое платьице, а потом, к Рождеству, первые штанишки и связала первые туфельки, — всё так радовало наши сердца.

1937

Тяжелые грозовые тучи сгустились, нависли над нашим народом, и многие деды, отцы и матери были оторваны от своих любимых и отправлены в тюрьмы. Страх охватил почти каждый дом. Мы, однако, продолжали радоваться нашему милому ребёнку, который уже в 11 месяцев ходил и говорил «папа» и «мама». Он был чудесным малышом и прекрасно развивался. Вместе с нами радовались ему дедушка с бабушкой и мои сёстры. Да разве же могло быть как-то иначе?..

1938

В пятницу 1 июля подарил нам Господь прекрасную маленькую дочку, и папа назвал её Еленой. Теперь наше родительское счастье ещё более возросло. Мы восприняли её как дар Божий и пытались осознать также свою ответственность. Нашей молитвой и стремлением было детей, которых Он доверил нам, привести вновь к Нему. Господь знает это! Почему же так не могло оставаться? Вскоре всё изменилось.

14 июля с заходом солнца разразилась беда. Моего дорогого любимого папу и вашего папу насильно забрали у нас и посадили в тюрьму. Мне трудно совладать с пером, описывая этот страшный вечер. Весь дом наполнился плачем и причитаниями. Особенно запомнился мне громкий крик моей младшей сестрёнки Зельмы — ей было тогда 9 лет. Это было почти непереносимо. Мы утешали себя словами апостола Павла:

«...любящим Бога всё содействует ко благу»

(Рим. 8:28).

Хотя тогда нам это было трудно понять.

За пять месяцев я трижды съездила в Мелекес (три часа на поезде) к тюрьме, где находились наши любимые, чтобы передать им немного продуктов. Весь день я напрасно простаивала у тюремных ворот и затем возвращалась с неприкрытой передачей домой. Последнюю такую поездку я совершила 9 декабря. Было уже очень холодно. Оказалось, к тому времени их уже отправили из Мелекеса дальше, а мы об этом ничего не знали. С ужасно тяжёлым сердцем поспешила я назад

к своим детям, с которыми оставалась тогда моя милая мамочка. Сердце её тоже разрывалось от горя, но она постоянно старалась утешить меня. Неужели так будет всегда? Увидимся ли мы ещё на этой земле? Эти вопросы не давали покоя нам ежедневно и ежечасно.

1939

Как дорога и близка была мне моя милая мама во все времена! Общее горе ещё больше сплотило нас и сплестило наши сердца неразрывной любовью. В конце января мы получили первые весточки от наших любимых из лагерей. После пяти с половиной месяцев тюремного заключения их отправили в лагерь. От папы известие пришло из-под станции Потьма, а от Генриха — с далёкого севера, г. Соликамск и ещё дальше на север. Первое его письмо начиналось словами: «До свидания, мой двенадцатилетний Вилли и моя десятилетняя Лолли». Так мы узнали, на сколько лет его заключили. Эту весть я никому не могла рассказать, таила её в себе. Я не могла это постичь.

Всё более множились заботы о том, что нам есть и во что одеваться. Питание часто было очень скудным. 6 мая мамочка поздравила меня с днём рождения и сильно заплакала: она истратила последнюю муку, сготовив на завтрак затируху с водой. И вдруг, не успели мы ещё и позавтракать, как около нашего дома остановилась машина. Из неё выскочил какой-то мужчина с тяжёлым мешком, подошёл к двери и спросил: «Семья Корнея Гамма здесь живёт?» Услышав «да», он опустил мешок и сказал: «Эту муку послал вам бывший его работник» (татарин Минстафа). Так мы познали помощь Божию. Господь своих не оставляет никогда, и чем нужда выше, тем помощь ближе.

21 июля заболела наша любимая маленькая Лолли. Она была нашим солнышком, как радовались мы ей! В десять месяцев сделала она свои первые шажки и теперь уже так хорошо бегала по дому. Часто мне думалось, что папа и дедушка должны обязательно появиться дома и порадоваться ребёнку. Через три недели, однако, Господь счёл нужным забрать дитя к Себе. 12 августа в три часа утра мы с мамой закрыли ей глазки для этого мира. Все последовавшие тяготы не коснулись её. Она перешла к Спасителю, который с любовью сказал когда-то:

«...пустите детей, и не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство Небесное»

(Мф. 19:14).

Почему её папе нельзя было видеть своё дитя? Это было мне трудно понять.

1940

В первые дни этого года мы получили письмо от нашего дорогого отца. Он был болен и находился в больнице. Может быть, принесёт нам 1940 год свидание? Через некоторое время пришла открытка, написанная 13 января, со следующим содержанием:

«Мои дорогие все! Снова у нас наступил день для писем, и я не хочу упустить его. Не знаю, получаете ли вы мои письма. От вас с ноября я не получал никаких известий, последнее было с весточкой о Генрихе. Последние две посылки я получил. От всего у меня осталось ещё масло и топленое сало. Пока не присылайте ничего больше. Однажды я писал о сахаре, и его не надо, если ещё не послали. Ни в чем я не нуждаюсь, нахожусь в хорошем окружении, всем обеспечен, всё ещё в больнице и болен... Состояние не улучшается. Что принесёт ближайшее будущее? Дорогие мои все! Не удерживайте меня больше. Как бы хотелось мне всех вас снова увидеть и обнять, но не будем отчаиваться, если всё должно быть иначе. «//Хочу домой. Меня влечёт в Отцовский дом//»... Ваш любящий папа и дедушка. До свидания там в вышине!»

Мы предчувствовали, что это письмо будет последним и нам не удастся больше свидеться на этом свете, и мы оплакивали его. Прошёл, может быть, месяц, когда пришло письмо от одного из его соузников. Он лежал рядом с папой в больнице. Он сообщил, что папу вынесли мёртвым в 7 часов утра 15 января 1940 года. Тогда он встал и просмотрел ложе отца и обнаружил под подушкой листочек, на котором дрожащей рукой папы были написаны его последние слова. Этот листок был приложен к письму:

*Как верен Бог!
Сердце Отца своих не оставляет.
Как верен Бог!
Он в радости и в горе
Нас принимает и сопровождает.
Меня покрыли всемогущих два крыла.
Рухните горы, и холмы падите.
Как верен Бог! Как верен Бог!*

Такое великое утешение имел он и нам передал как завещание! Пройдёт ещё немного времени, и мы все встретимся у золотого берега в вечной Отчизне.

В мае этого года я вместе с несколькими другими женщинами поехала закупить хлеб в г. Куйбышев. Там в течение нескольких дней мы отстояли

длинные очереди в различных магазинах и наполнили мешки печёным хлебом. Затем поехали домой на грузовике из нашего колхоза и были несказанно рады и благодарны, когда нам удалось доставить хлеб домой.

Мне доставляло также много радости готовить подарки к Рождеству моему Вилли. Хотя мы праздновали этот праздник очень тихо, но всегда с большой радостью. Ведь Иисус из любви к нам родился во плоти на этой земле. В этом году последний раз мы праздновали Рождество на нашей родине в Нойхофнунг (село Надеждино.—Е.К.).

1941

В 1941 году разразилась ужасная война, причинённая глубокие страдания и нашему народу. 1 декабря нам пришлось оставить наш дом, и двор, и всё имущество. В три дня всё немецкое население колонии было вывезено тракторами на санях с малым количеством вещей (лишь самым необходимым) на железнодорожную станцию Погрузная. Каждый пытался взять с собою как можно больше съестного, но всё скоро кончилось. И вот нас погрузили, сколько можно было вместить, в вагоны-телятники, и поезд тронулся, увозя нас в Казахстан.

В Осакаровке весь поезд, содержащий около 90 вагонов, разгрузили. Это было за несколько дней до Рождества. С какой печалью думали мы о Рождестве. Почему? Разве радость о благой вести:

«ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель...» стала менее великой?.. Разве всё зависит от внешних обстоятельств?

Выгрузили несколько покойников и похоронили их. Нас всех поместили в клуб. К этому времени многие уже сильно страдали от голода. Оттуда всех на санях развезли по деревням и колхозам. Нас тоже усадили в сани, и какой-то казах повёз нас за тридцать километров по степи в село Кондратовка (Кондратьевка.—Е.К.). Была ночь. Нам позволили войти в казахскую хижину, где был готов горячий суп, согревший нас, и можно было улечься на полу в ряд и заснуть. Нашим утомлённым продрогшим телам стало легче. На следующий день наступил Сочельник. Но вспоминали мы о нём очень тихо, а вечером нужно было пойти на работу в ночь, провеивать зерно в амбаре.

По пути мои близкие сильно простудились. Мама, брат Ханс, сестра Зельма и маленький Вилли заболели. Ухаживать за ними в таких условиях было так трудно, что я выходила на улицу, чтоб выплакаться под открытым не-

бом. Мне казалось, что Бог отвернулся от нас.

Казахскую хижину нам пришлось через несколько дней покинуть. Нас поселили в сарае, где раньше хранилось зерно. Без окон, без печи, земляной пол—так мы встретили Новый год.

1942

Пробили мы себе маленькое окошечко, раму для него нам дали. Печник сложил нам крошечную печку, которой предстояло нас обогревать. За плитой вмонтировали большой котёл. Когда мы затапливали печку, в котёл усаживалось трое детей: Вилли и Хайни с Лизель Дридигер, которые вместе со своей мамой разделяли наше жильё. Часто, пока печь протапливалась, дети не успевали согреться. Когда я попросила дров, мне грубо ответили: «Топите снегом!» И я несколько раз решалась выходить по ночам на поиски дров и брать там, где не разрешалось. При этом я из глубины сердца молилась Богу, чтобы Он спас меня в этой нужде. Он хранил меня. Как часто милостивый Бог простирал над нами крылья! Так мы прожили эту зиму.

Весна принесла новые надежды, но никакого облегчения моим больным. Сестрёнку Зелли отвезли в больницу в Осакаровку. Однажды я её там навестила, пройдя пешком 32 км туда и обратно. Врачи сказали, что у неё лёгкие, и вскоре её отпустили домой. Мама была прикована к постели и уже совсем не могла ходить. Ей становилось всё хуже, часто бывало совсем тяжело. Ночью я ложилась спать рядом с ней и, просыпаясь, трогала её лоб рукой, чтобы проверить, тёплая ли она еще. Какой ужасной представлялась мне жизнь без мамы!

Брат Ханс болел водянкой, сопровождавшейся постоянными страданиями. Долгое время перед смертью он совсем не мог лежать и постоянно сидел. Если только у меня была возможность посидеть с ним рядом, он просил спеть ему песню № 101 из сборника «Благая весть»:

*Поднимите меня выше
Из греховной тьмы ночной,
К Господу моему ближе,
Что крестом мне дал покой.*

Припев: *Ангелы, прострите крылья,
Отнесите же меня
На Голгофу, чтоб я видел,
Как Он умер за меня.*

*Поднимите меня выше
Из болезней и невзгод.
Всё больше и больше
Жар страданий меня жжёт.*

Припев: *Ангелы, прострите крылья,
Отнесите же меня
На Фавор, где в ярком свете
Сразу боль забуду я.*

*Поднимите меня выше
Из земной доли сей.
Пусть всё ближе и всё ближе
Свет небес сияет мне.*

Припев: *Ангелы, прострите крылья,
Поднимите же меня
На Сионский холм небесный
Встретить моего Царя.*

Часто, едва успевала я пропеть эту песню, как он просил спеть её опять сначала. Однажды он сказал мне: «Лена, я иду к Спасителю». 14 июня в 3 часа утра ангелы подняли его душу ко Господу. Господь забрал его из этой долины плача. «В какое блаженство я скоро войду, свободный от боли—лик Божий узрю». Он видел его уже сейчас. В тот же день вечером мы вынуждены были похоронить его. Без гроба. Как папу и как бедного Лазаря, его вознесли к Богу ангелы.

Мамино здоровье начало вскоре поправляться. Она снова училась помаленьку ходить. И мой маленький Вилли резвился около нас, с удовольствием собирал цветы и доставлял нам много радости. Он всегда был расположен к добру и охотно слушался. Если нечего было есть, он не огорчался, а когда было достаточно, он радовался. Милый ребёнок, я снова прижимаю тебя к сердцу!

1943

5 января снова пришло расставание, да такое, что у меня разрывалось сердце на части. Всех немецких девушек и женщин забирали в трудармию, включая и нас, четырёх сестёр. Мама, больная четырнадцатилетняя Зельма и мой шестилетний Вилли оставались одни на чужбине, без хлеба и без помощи. Когда мы собирали свои скудные пожитки, мой ребёнок встал рядом со мной и сказал: «Мама, возьми же меня с собой, чтоб мы могли вместе умереть!» Как часто эти слова отзывались, как нож, в моём сердце. Не хочется больше описывать это прощание.

В Осакаровке, где были собраны многие нам подобные, и ещё многие прибывали, нас погрузили в вагоны-телятники. У матерей, которые взяли с собой детей, забирали их и отправляли в детдома. Так мы поехали, как и прибыли сюда в 1941 году. Только тогда мы были со своими семьями, хотя и без любимых отцов. Теперь нас разлучили и с детьми. Голод и холод были нашим уделом.

В городе Котельнич Кировской области нас вывели из вагонов. Была ночь. Огромную массу женщин завели в клуб и позволили в эту ночь и на следующий день «отдохнуть» и отогреться. А на следующую ночь нас (1000 женщин) погнали, как стадо гусей, через дремучий лес. За эту ночь и 3 дня мы прошли 90 км. Нашу колонну предваряла упряжка лошадей и замыкала также упряжка с санями. Так тянулись мы на ужасном морозе, проходя через деревни, которые казались мне такими мирными. Здесь я видела детей такого же возраста, как мой Вилли. Однажды на дороге вышли женщины с корзиной хлеба и раздавали всем по кусочку. Когда мы подошли, хлеб уже кончился. Нас было слишком много.

17 января мы прибыли к месту назначения, совершенно измученные. Бечево — так называлось место, где нас ждали голод и тяжёлая работа. Нас разместили в бараки по 300 женщин. Трёхэтажные нары и узкий проход между ними. Всех разделили на бригады и на следующий день послали валить деревья. Здесь было достаточно топлива, и в целом нам не приходилось мёрзнуть. Как я вспоминала моих родных, которым нечем было топить, когда мы жгли сучья в лесу! Так мы работали без каких-либо перерывов.

Мы мучились от голода, и наша духовная жизнь тоже ослабевала. Летом питались в основном крапивой и щавелем да кусочками хлеба, которые нам давали почти каждый день... Как я тосковала по моим любимым!

Здесь я выучила две новые песни, которые часто пела в своём одиночестве, изливая в них свою тоску:

*Знает ли Иисус о печали моей,
Слишком сильной для слов или пения?
Что мой дух угнетён и сердце скорбит,
Что мой путь так тяжёл, полон терний?*

Припев: *О да, Он всё знает, Он помнит меня
И вместе со мною скорбит.
Он знает всё, Он помнит всех,
Его сердце любовью горит.*

*Знает ли Иисус, что на тёмной троне
Моё сердце страшится бед?
Когда солнце зайдёт, ночь меня обоймёт,
Одиноко и боязно мне?*

*Знает ли Иисус, что мой враг иногда
Искушает меня выше сил,
Боль раскаянья сердце терзает моё,
Мир, покой я совсем забыл?
Знает ли Иисус, что вернейших друзей
Похищает порой у нас смерть?
Когда боль расставанья терзает сердца,
До меня Ему дело есть?*

*Знает ли Иисус мой путь впереди,
Что сокрыт от меня пока?
Через рифы и скалы в бурных водах
Поведёт ли Его рука?*

И ещё:

*Хочу домой. Меня влечёт Отцовский дом
И сердце верное Отца.*

*Прочь из мирского шума суеты —
К блаженному покою в небесах.
Я вышел в путь, имея тысячу желаний,
Назад иду, оставшись лишь с одним:
Росток надежды в сердце охраняю,
Что буду принят я в свой дом
Отцом своим.*

Припев: *Хочу домой, хочу домой,
в мой Отчий дом.
Хочу домой, меня влечёт Отцовский дом.
Хочу домой, хочу домой, хочу домой я.
Хочу домой, хочу домой.
Хочу домой. В блаженном сне я видел
Возвышенную лучшую страну.
Там мой удел, среди её обитателей,
Здесь нету места для души.
Весна пришла, и ласточка к отчизне
Летит чрез горы и поля.
Ничто не в силах удержать её на месте.
Так же хочу на родину и я.
Хочу домой. Ладья причалит в гавань,
Отважный ручеек спешит в моря.
Ребёнок маленький уснёт
в объятьях мамы.*

*Так же хочу на родину и я.
Немало песен в радости и горе
Я пел. Теперь меня манит покой.
В сердце остались два последних слова:
Хочу домой! Хочу домой!*

Я страшно тосковала о моём ребёнке, милой маме, о муже, которому так хотелось бы опекать свою семью... Иногда мы получали письма от родных. Это было всегда великой радостью.

На Пасху нас ожидал чудесный сюрприз. Ранним утром целый женский хор, называемый тогда бригадой, запел светлыми голосами:

*Он жив! Он жив!
Собой Он смерть поправ.
Он жив! Он жив!
Господь всех сил восстал.*

Как это снова подняло дух! Неужели мы забыли, что Он жив? К моему стыду, я должна признать, что почти всё время пребывала в подавленном состоянии. Мой жребий казался мне слишком тяжёлым. Утешала себя тем, что, как говорилось в нашем свадебном наставлении, Господь ведёт нас по нашему пути. Летом мы иногда собирали лесные ягоды. Часто радовались красоте природы.

На Рождество мы остались уже только с тётёй Мими. Тётю Аню и тётю Августу отпустили из-за болезни «домой». Мы были так счастливы, когда на ужин смогли испечь на углях несколько карто-

фелин. Они казались нам вкуснее рождественской коврижки. Так мы вступили в следующий год.

1944

Уже с весны я часто болела, и меня не заставляли работать. Тогда я сидела на нарах и вязала. Так было и в начале августа. Тётя Мими была на работе, когда в барак зашёл почтальон и принёс письма. К моей огромной радости, там было письмо и для нас. Но как я была потрясена, когда в первых же строчках прочла известие о кончине милой мамочки и поняла, что никогда больше мы не встретимся здесь, на земле! 28 июля после трёхдневных мучительных болей она отошла ко Господу. Она так любила петь:

*Там в вышине небесной лежит
отчизна моя.
К тихой и мирной жизни зовёт,
мерцающая звезда.
О да, туда
Манит меня звезда.*

Иногда она пела своему маленькому внуку (которого она называла «мой милый мальчик») песни, которые он вспоминает по сей день. Теперь уста её сомкнулись.

После этого я сильно заболела и попала в больницу, где провела целый месяц в тяжёлом состоянии. Когда мне стало полегче, мне сообщили, что Мими и мне разрешается переехать к нашей сестре Терезе в Ставрополь. И вот однажды нам удалось на попутном грузовике добраться до станции Котельнич. Оттуда мы поехали сначала на барже, затем на пароходе по Вятке, Каме, Волге, пока не сошли рано утром 26 сентября на берег в Ставрополе. Путешествие заняло у нас 13 дней. Свидание с сестрой доставило нам много радости, но одновременно и грусти. Между нами уже не было полного взаимопонимания.

Здесь мы проработали до Рождества, а затем всю нашу контору вместе с рабочими перевели в Сызрань. 24 декабря, опять к Рождеству, приехали мы туда. Меня сразу определили помогать по хозяйству одной больной женщине с двумя маленькими детьми (*жене председателя колхоза. — Е.К.*) Ей нравилась моя помощь, и она не хотела меня отпускать.

1945

Этот год принес очень печальные известия «из дома». Во-первых, вскоре после смерти бабушки была арестована и посажена тётя

Августа (*сентябрь 1944 г. — В.Ф.*). Это причинило мне сильную сердечную боль. Бедная девочка! Как ей было перенести ещё и это? Затем известие о смерти моей младшей сестры Зельмы 16 января... Теперь мой маленький Вилли совершенно осиротел. Тётя Зельма, которая радовалась ему, когда он возвращался из школы, и всегда была с ним рядом, теперь последовала за своей мамочкой к Господу. Доживёт ли мой ребенок до того момента, когда мне позволят его забрать? Можно ли было на это вообще надеяться? «*Знает ли Иисус о печали моей?*»

В огромной нужде и нехватке пищи и одежды мой сын окончил в том году первый класс и написал мне письмо со своими оценками—все пятёрки. Вложил фотографию с учениками первого класса и их учительницей. И ещё срисовал для своей мамы из Библии два стиха готическими буквами:

«Господь — пастырь мой; я ни в чём не буду нуждаться»
(Пс. 22:1).

и «...се, Я с вами во все дни до скончания века»

(Мф. 28:20).

Эти два листочка для меня по сей день как святыня. Такие драгоценные обетования, и ими утешался мой ребёнок в своём тяжёлом положении.

9 мая, когда мы, рабочие, собрались все на работе, нам торжественно сообщили, что окончилась война и настал наконец долгожданный мир. Как мы обрадовались, что теперь мы сможем скоро поехать «домой» и, по крайней мере, соединимся со своими родными, по которым так истосковались... Но и здесь нас ждало большое разочарование. Ещё месяц работа продолжалась без изменений. Затем нам сообщили: «Работа здесь закончилась, и вся контора с немецкими рабочими переводится в Татарию, 25 км от станции Клявлино». Там нас ждала тяжёлая работа—копать траншеи кирками и ломом. Нас снова погрузили в телятник и повезли поездом дальше.

Через несколько месяцев нас торжественно пригласили на собрание и объявили, что вышло постановление, согласно которому мы все поселены сюда навечно. Нам всем разрешается выходить замуж, создавать семью, а если у кого кто-то из близких остался в других местах, о них следует забыть. Дети и дети детей наших будут навечно ссыльными. Какой это вызвало вопль и стенания, об этом лучше не вспоминать. Кто же может забыть своих родителей или детей? Моим большим утешением было то, что на этой зем-

ле нет ничего вечного, и поэтому не стоило уж слишком убиваться. Так закончился и этот год, и мы вступили в год

1946

Этот год принёс мне некоторые хорошие вести. Тётю Августу в мае освободили из лагеря, и она снова была рядом с моим ребёнком, с Вилли. Затем тётя Мими получила вызов от дяди Яши из Караганды. Прошло, кажется, несколько месяцев, и она в самом деле получила разрешение поехать к мужу. Это настолько прибавило мне мужества и надежды, что я решила подать прошение о том, чтобы меня отпустили забрать моего ребёнка. Тем более что я получила уже бумагу из сельсовета о том, что сын мой живёт один и находится в тяжёлом состоянии, и если мать его не заберёт, то может погибнуть. Тётю Августу к тому времени отправили со стадами в отгон. Хочу привести здесь текст последней открытки от Вилли:

«Здравствуй, дорогая мама. Я жив и здоров, что и тебе желаю. Тётя Августа поехала в отгон, туда никакая почта не идёт. Там они остаются до осени. Я хожу на прополку. Получаю 400 грамм хлеба. Сегодня мы не пошли на прополку, потому что сегодня дождь. Когда воскресенье, тогда мы всегда дома бываем. От папы я уже давно не получал писем. Нас тут не отпускают. Если можешь, приезжай сама. На этом я заканчиваю моё письмо. До свидания, твой сын Вильгельм Фаст»

(1946, 20 июня).

У меня была такая большая надежда получить разрешение, когда я подала прошение, но мне сказали, что все документы отсланы в трест и там будет решаться мое дело. С 1 июня стали разрешать покупать билеты на поезд без пропусков. И я решила поехать без разрешения... В глубине души я решила или спасти своего ребёнка, или умереть... Воззвала к Господу о помощи и благословении на эту поездку. 13 июня вечером я зашла в поезд с билетом, но без документов. Когда поезд тронулся из Клявлино, хотелось громко запеть: «Да, я еду, да, я еду, да, я еду сегодня!» Разве не слышит мой сын, что мама едет к нему?

В Уфе была пересадка, и всё прошло неожиданно легко. Где могла, я старалась прятаться за тётей Мими, постоянно взывая о помощи к Богу. В Челябинске была ещё одна пересадка, и здесь, казалось, мы могли застрять. В Петропавловск отправлялся поезд, вагоны-телятники, которые были набиты шумными весёлыми солдатами, возвращавшимися с войны домой. Они позволи-

ли нам войти, не причинили нам никакого вреда, были приветливы и дружелюбны.

В Петропавловске мы пережили пять трудных дней. Все поезда были переполнены, и не было никакой надежды уехать дальше. Здесь я чуть не пришла в отчаяние, но моя сестра старалась утешать меня, поддерживая во мне надежду. Рано утром я услышала, что поезд с пустыми угольными вагонами отправляется в Караганду. Я бросилась за сестрой в зал ожидания, и мы, а с нами ещё человек тридцать пассажиров, залезли в высокий вагон и притаились там. Как мы обрадовались, когда поезд наконец тронулся!

Так мы ехали до вечера. Затем остановились на станции Боровое. Там нас обнаружили. Мы замерли с огромным напряжением и страхом. Вдруг кто-то сверху посмотрел на нас. Нам нужно было немедленно вылезать и шагать в милицию. Там проверили наши вещи и документы. Я была чудом спасена—Господь слышал мой вопль и внял ему. Нас отправили на вокзал. На следующий день мы закомпостировали билеты и смогли снова сесть на поезд и ехать дальше. На станции Актосты я простилась с тётей Мими: она поехала дальше, а я вышла. Это было на заходе солнца. Тяжёлое расставание. Три с половиной года мы были каждый день вместе, теперь наши пути разошлись...

Ночь я провела у милых старых знакомых с родины. 26 июня рано утром (через тринадцать дней после начала моего путешествия), прежде чем пастух вывел стадо на луг, я пешком направилась к деревне Кондратовка. Туда, где нашли свою смерть моя мамочка, брат и сестра и где ещё трое моих близких терпели страдания. Когда я вышла на прямую дорогу длиной в 12 км, я опустилась в сторонке на колени и помолилась Господу из глубины души, чтоб Он помог мне найти моего ребёнка и благополучно привезти его назад. Теперь я шла быстрым шагом по дороге. И вот показалась деревня. Я снова воззвала ко Господу, чтоб Он показал мне, где мой ребёнок. Я боялась, что меня увидят в деревне, потому что не имела письменного разрешения забрать своего сына. Если таких, как я, вылавливали, их осуждали на 25 лет.

Когда я вошла в деревню, мне встретилась одна женщина; я сразу спросила её, не знает ли она, где живёт Вилли. «Я его мать и приехала, чтоб забрать его...» Она громко вскрикнула и сказала, что он живёт у неё. Эта была та же хижина, куда мы прибыли в 1941 году в Рождество. В отдельной комнате, если её можно было так назвать, на жалком ложе спал Вилли, не догадываясь, что его мама сидит рядом и плачет... Через три с по-

ловиной года тяжёлых страданий и разлуки. Он проснулся через некоторое время, когда вошла тётя Аня и воскликнула: «Вилли, твоя мама приехала!» И тут же он оказался в моих объятиях... *«Наг и слаб я, укрой меня. Я беспомощен, помилуй мя!»*... Да, он был наг и беспомощен. Так просидели мы некоторое время... Наши переживания невозможно передать словами.

Мы провели небольшое приготовление к отъезду. Как обрадовался Вилли рубашке и штанам, которые я привезла для него!.. Вскоре грузовик, направляющийся в Осакаровка, взял нас с собой. Там были знакомые тётя Марии Штейнмец. Они согласились взять нас с собой. Ещё до вечера мы оказались на вокзале, и путешествие началось сначала. Я так боялась. Моё сердце робело перед предстоящей поездкой. В Осакаровке на базаре я купила молоко и хлеб и дала своему ребёнку наесться вволю. На ночь мы отправились к знакомым и спали вместе на мягкой постели. Наши друзья старались оказать нам наилучшее гостеприимство. Нам каждому досталось даже по варённому яичку.

Затем мы опять пошли на вокзал. Здесь я встала в очередь за билетами. Как опять испугалась я, когда заметила, что билеты продавали только тем, у кого были паспорта или разрешение на поездку. У меня же не было ни того, ни другого. Тогда я снова обратилась к Господу из глубины своего сердца с мольбой: *«Господь, Ты знаешь, что я ничего плохого не хотела. Мной двигала тоска по моему ребёнку, желание спасти его. О, помоги же!»* И Он опять чудесным образом помог. Когда подошла моя очередь, я попросила один взрослый и один детский билеты до станции Клявлино и протянула деньги. Кассир взглянул на меня, потом посмотрел в свою книгу и сказал: *«Это где живёт мордва?»* — *«Да, да»*, — был мой ответ. Через пару минут я держала в руках оба билета. Как я была благодарна!

Мы решили не ехать через Петропавловск и сели на другой поезд. Первую пересадку мы делали в Акмолинске. Здесь Вилли заболел. Началась настоящая рвота, и он почти не мог сидеть из-за боли в животе. Возможно, он съел слишком много. Как я этого не предусмотрела? Из Акмолинска путешествие продолжалось более-менее спокойно до станции Каргалы. Когда мы прибыли туда, зал ожидания, как везде, был переполнен. Так как я была без документов, то мне всё время приходилось быть настороже из-за частых проверок документов и страха быть пойманной. Вилли я уложила как можно удобнее, а сама выходила на улицу даже в дождь, заняв очередь,

чтоб компостировать билеты. Когда я вернулась, мне сказали, что медсестра из Комнаты матери и ребёнка осмотрела моего сына и велела мне зайти к ней за лекарствами, а также распорядилась, чтобы мне закомпостировали билеты. Без страха, с радостью пошла я к ней, так как поняла, что это Господь!.. Без лишних вопросов билеты были закомпостированы, и мы поехали дальше.

На этом пути были проверки документов, и некоторых, подобных мне, вылавливали и уводили. Я сидела с ребёнком за дверью, и меня не замечали. Я молилась, и Господь закрывал им глаза. Так мы благополучно добрались до Челябинска. Здесь меня поверг в ужас огромный зал ожидания, набитый людьми. К тому же на стене висела громадная картина со счастливыми детскими лицами—Сталин, окружённый сияющими детьми с цветами, и подпись: *«Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!»* Я уложила моего ребёнка на скамью у кассы для женщин с детьми и встала в очередь. Снова было долгое стояние. И снова я подняла свои очи к тем горам, с которых ожидала помощь... И вновь не напрасно. Когда я протянула свои билеты на регистрацию, кассир потребовала у меня паспорт и свидетельство о рождении. Я ответила, что у меня нет ни того, ни другого, но я очень прошу закомпостировать мои билеты. Она спросила: *«А где ваш ребёнок?»* Я показала на скамью, где он лежал. Одного взгляда было достаточно, чтобы она проштамповала наши билеты, и мы поехали дальше.

Теперь мы ехали до Уфы. Ещё одна пересадка. Здесь я тоже осмелилась сразу обратиться в кассу для женщин с детьми, и Господь помог нам опять. Так добрались мы до нашей цели 5 июля. Вилли—больной и бледный, но радостный и благодарный, что путешествие наконец окончилось.

В Клявлине мы встретили наших знакомых и грузовик с работы, который довёз нас под сильным дождём, так что мы совсем промокли. Нас очень сердечно встретили тётя Тереза и дядя Лёня. Многие радовались вместе со мной тому, что ребёнок мой теперь был с мамой. Вилли был очень слаб. Рвота и боли в животе долго не прекращались. Дышал он тоже очень тяжело, как старик с астмой. Это очень беспокоило и огорчало меня.

Мои знакомые, которым я много помогала, Георгий Константинович и Нина Алексеевна Петропавловские, уехали со своими детьми в отпуск впервые после войны. Они спросили, не смогу ли я это время у них пожить. И я с радостью согласилась. Здесь у меня было достаточно времени, чтобы поухаживать за сыном. У них была коза, и её молоко оказалось чудодейственным. Так мы прожили

шесть недель. Было так хорошо, что мне казалось, что опять должно случиться что-то тяжёлое.

Вилли очень любил, чтобы я пела, и знал наизусть много песен, например: «Знаешь ли ты, сколько ярких звёзд сияет в небесах?», «Усталый от дневных трудов», «Кто позволяет Богу управлять», «Доверь свои пути» и многое другое. Однажды я сказала ему: хватит петь, мама устала, мы будем спать. Он ответил печально: «Бабушка мне так никогда не говорила».

*О детское сердечко! Что сие?
То дар, доверенный тебе,
Который к Богу должен возвратиться.
Храни его! Храни душу ребёнка в чистоте;
Пусть это будет зеркало без пятен.
Один лишь взгляд, одно лишь слово
твоих уст –
И рана неисцельна тут как тут.
Храни же душу твоего ребёнка в чистоте!*

Когда мои хозяева вернулись, Нина Алексеевна была очень удивлена тем, как выглядит Вилли. Она сказала, что не узнала бы его на улице. Сейчас он выглядел как ребёнок, а сначала был как старичок.

Многое изменилось в нашей жизни. Настал учебный год, и мы покинули татарскую деревню и отправились с сыном за руку за 3 км до мордовской деревни, где он пошёл в школу, а я на работу и где мы жили у тётки Терезы. Вилли радостно шагал вприпрыжку по дороге туда и говорил, что ему так нравится учиться, что он хотел бы учиться всю жизнь.

В сентябре меня как-то вызвали в НКВД и сказали, что пришло разрешение забрать сына. Меня охватил сильный страх—обнаружилось, что сын давно уже был со мной и что я ездила за ним без разрешения. Мне снова предстояло выдержать жестокую борьбу. Господь дал милость и силу. Он не позволил им грубо со мной обойтись. Скольких страхов можно было бы избежать, если бы разрешение пришло сразу!

Заботы о будущем, «что есть и во что одеваться», казались мне порой слишком тяжёлыми. Но разве Господь не помогал мне чудесно до сих пор? Разве Он перестанет быть милостивым? Моё сердце часто доходило до отчаяния. Недалеко от нашего жилья был источник. Я часто ходила туда за водой и пела там:

«Хочу домой...», «Знает ли Иисус?» или вспоминала песню «Предай пути свои...». Когда я ходила до куплета:

*Надейся, о, несчастная душа,
Надейся, уповай, не унывая...
Только дождись...*

то я останавливалась и повторяла себе: «Только дождись». С новыми силами возвращалась я от источника.

От папы в эти годы письма приходили редко, и всё-таки мы знали друг о друге. Так прошёл и год 1947-й. Начался 1948 год.

1948

В этом году должен был освобождаться наш папа, и мы с Вилли хотели переехать с ним в Караганду. Но человек предполагает, а Бог располагает. На мой день рождения (6 мая) тётка Мария Каспер подарила мне Библию. Я начала прилежно читать Слово Божие и осознала своё погибшее состояние. Согласно Евр. 4:6, для меня, кажется, невозможно спасение. Я много молилась, но мира душевного не доставало.

В октябре мы получили открытку от папы. Он был на пути в Сибирь с Севера, где провёл десять лет. Теперь его сослали навечно в Сибирь. 17 марта у него произошло большое несчастье на работе. Он оказался зажатым между буферами локомотива и вагона, и правая нога его от колена и выше была раздавлена. С такой больной ногой он теперь прибыл в Сибирь, в деревню Чумаково, 60 км от железной дороги. Как глубоко взволновала нас эта печальная весть, ведь мы были не в состоянии чем-то помочь.

В ноябрьские праздники я сторожила большую строительную площадку, где был покой от безумных празднований. Там, при слабом сумеречном свете, дала я волю своим слезам и молилась из глубины сердца Богу.

Моя месячная зарплата была 250 рублей. Пуд картофеля стоил 150 руб. Много вязала по ночам. 9 ноября мы с Вилли послали 100 руб. папе; деньги пришли к нему, когда он сильно нуждался в них. Теперь папа и я начали хлопотать о том, чтобы нам воссоединиться. И здесь нужно было «только дождаться».

1949

В мае у нас с Вилли была большая радость, когда нам выделили собственную комнату, т.е. одну комнату на нас и тётку Марию Каспер. Как приятно было иметь наконец собственную кровать и многое другое!

В августе, когда я пришла однажды с работы, мне сообщили, что меня вызывают в НКВД. Сразу пошла туда и услышала радостную весть о том,

что нам теперь можно поехать к папе. С 1 сентября мне разрешили рассчитаться с работы. Когда это было сделано, я снова пошла в НКВД и думала, что мне вручат письменное разрешение. Но, к моему ужасу, мне сообщили, что нам можно ехать только «этапом», то есть через тюрьму. Нам предлагали проводить до станции и там посадить в вагон с заключёнными. «Вам не надо бояться—через четыре дня вы будете у мужа».

Разве не сможем мы потерпеть четыре дня то, что наш папа вынес в течение десяти лет? Так мы согласились предпринять эту поездку. 10 сентября Вилли прекратил ходить в школу, и мы каждый день ждали нашего отправления. Дядя Лёня заказал для меня фанерный чемодан и ещё ящик. Чемодан закрывался на замок, и я очень радовалась такому богатству. Я уложила туда все свои лучшие вещи, среди них вышитые салфетки, которыми я собиралась украсить нашу комнатку. В ящик я сложила зимние вещи, некоторые книги и свою немногочисленную посуду. В кастрюлю положили зелёные помидоры из нашего огорода. Хотелось угостить папу этими помидорами. Итак, мы были готовы к отъезду.

18 сентября мы поехали снова на грузовике в сопровождении коменданта до станции Клявлино. Это должно было быть в последний раз. Дядя Лёня и тётя Тереза с Люсей (1 год 11 месяцев) провожали нас. Вечером, примерно к заходу солнца, пришёл наш поезд. Мне стало страшно, когда я увидела его издалека. Но я ещё не догадывалась, что нас ожидало. Чтобы сдать мой ящик в багаж, я купила детский билет. Так посоветовал мне комендант и утешал меня, что эта поездка почти ничего мне не будет стоить—какой обман. С чемоданом и сумкой с продуктами вошли мы в вагон. За нами закрыли засов, и вот уже мы, мать и ребёнок, сидим за решёткой, и нас с любопытством осматривают и обсуждают вооружённые охранники.

Поезд тронулся. Утром 19-го мы прибыли в Уфу. Там многих заключённых начали вызывать, среди них и нас. Всех посадили в «чёрный ворон» и куда-то повезли. Ничего не было видно. Вдруг он затормозил. Нам нужно было быстро выйти, и нас повели в тюрьму. Вещи были обысканы, и у меня изъяли ножик. Нас поместили в женскую камеру, где шёл разговор об убийствах. Вилли бросился на лежанку и горько заплакал... В этот же день нас вывели оттуда. Надо было снова сесть в «чёрный ворон», и теперь нас повезли на станцию. Затем снова в поезд в том же порядке, но там мы уже сидели вместе с заключёнными. Так мы доехали до Челябинска. В Челябинске мы перешли

этапом с одного поезда на другой. Как ужасно было для меня то, что Вилли забрали от меня и сунули к мужчинам! Я думала, что не переживу такое. Мой плач и просьбы не помогали...

Затем ко мне подошли вооружённые охранники и приказали открыть чемодан. Когда я просила их не забирать мой чемодан, объясняя, что я еду к мужу и не являюсь заключённой, они только посмеялись. Когда я открыла чемодан, они повыбрасывали из него все вещи. Дойдя до вышитых салфеток, подняли их, насмехаясь: «Смотрите, человек ещё жить собирается!» Затем забрали чемодан, заявив с хохотом, что стоговят на нём себе завтрак. Как могла, я связала все свои вещи в платок, не желая ничего потерять.

Вскоре я сильно заболела, и одна немка, фрау Вальбург Мюллер, ухаживала за мной, как только могла. С благодарной любовью я вспоминаю её, бедную... Так мы доехали до Новосибирска, и я думала, может быть, здесь нас уже встретит папа. Был вечер. Меня и Вилли вызвали самыми последними и снова посадили в «чёрный ворон». Мы поехали далеко в город, или из города, не знаю—ничего не было видно. Вдруг машина остановилась, и мы вышли наружу. Нас отвели в большую тюрьму, в камеру смертников. Там мы просидели до утра и пережили то, что невозможно описать.

Утром нас вызвали и снова «чёрным вороном» отвезли в другую тюрьму. Здесь мы встретились с теми, с кем ехали вместе поездом, в том числе с той немкой. Со многими другими сидели мы в одной камере. Нам с Вилли разрешили быть вместе. Каждый день нам можно было побывать немного на свежем воздухе во дворе. Однажды во время прогулки я встретила одного мужчину, немца, с другой стороны забора, который сказал мне, что когда Вилли забирали от меня, он старался его, как мог, защищать. Я сразу поняла, что это Господь заботился о нас в трудных обстоятельствах.

Мы просидели там двенадцать дней. В последнее утро мы встретили тётю Натхен Валл, милую знакомую нашу и родственницу с родины. Такая встреча в тюрьме—это особенная радость. Она прибыла сюда этапом накануне ночью.

После обеда нас и несколько других заключённых вызвали на этап. Мы шли пешком до вокзала. Впереди, позади, по бокам—вооружённые люди с большими собаками. Всё время быстрым шагом проходили мы по многим улицам. Если делались остановки, мы должны были встать на колени и смотреть вниз. Один раз я услышала с другой стороны улицы: «Посмотрите—мальчиш-

ка, а уже разбойник». Так что нас принимали за разбойников... Когда мы дошли до вокзала, то и там нужно было ещё постоять на коленях до прибытия поезда.

Теперь мы ехали до Барабинска. Со станции— снова в тюрьму. Было утро. Здесь было жутко и отвратительно: только тот, кто видел подобное, может это себе представить. Вилли снова оторвали от меня. Меня отправили в женскую камеру. Когда мне просунули в кормушку мой обед, я со слезами умоляла, чтоб мне разрешили пообедать с моим ребёнком. И— о, чудо— нам позволили это. Мне разрешили выйти, ко мне навстречу шёл Вилли. Рядом была углярка, там мы смогли присесть на угле и съесть свой обед. Как мы были рады и благодарны, что могли снова быть вместе. Мы сидели, тихо обнявшись, в страхе, что нас вновь снова разлучат. Так мы просидели на куче угля до вечера. Затем нас вновь вызвали на этап.

Я всё время думала, что вот наше путешествие должно закончиться и папа встретит нас. Но нужно было снова садиться в поезд. На этот раз здесь не было решёток, и мы могли свободно сидеть на лавках. Это был пригородный поезд. Мы ехали до Куйбышева (Новосибирской обл.). Здесь нас снова отвели в тюрьму. К моему невыразимому ужасу, нас опять хотели разлучить. Я закричала изо всех сил (при этом мы крепко обнялись), что я готова быть расстрелянной, сидеть в ужаснейшей камере, живой или мёртвой, но с моим ребёнком вместе... Так велик был мой ужас... Тогда нас оставили на короткое время одних. Вернувшись, они отвели нас в пустую камеру, где нам предстояло просидеть ещё двенадцать дней. Там нас сильно мучили насекомые-паразиты, и мы были совершенно измождёнными. Каждый день на прогулке глоток свежего воздуха подкреплял нас.

Однажды во время обеда двери тюремной камеры отворились, и нас спешно вызвали: нужно было быстро куда-то идти. У ворот нас и некоторых мужчин построили, и нужно было быстро идти по городу. Я едва поспевала. Надо было ещё и нести свои вещи. Чтобы не потерять всех из виду, Вилли вынужден был бегом их догонять, затем возвращаться и помогать мне с вещами. Так мы добрались до избы, где остановились на ночлег. Утром рано на следующий день мы отправились в Чумаково сквозь болота, леса и степи, иногда через деревни. Нас—повозку из четырёх заключённых и меня с Вилли—сопровождали два охранника. Мне и Вилли разрешали большую часть пути сидеть на телеге, чему я была очень благодарна. В одной деревне мы переночевали, затем снова отправились в путь...

19 октября после обеда мы добрались до деревни Чумаково, где должен был находиться наш папа, которого мы не видели 11 лет 3 месяца и 8 дней. Во дворе милиции мне сказали: «Теперь вы свободны, ищите своего мужа». Там находился один папин знакомый, он ремонтировал пристройку. Когда он спросил, кто я, и услышал моё имя, то громко вскрикнул, схватившись за голову. Тут вышла маленькая девочка и предложила проводить нас туда, где работал папа. Вилли остался с вещами, а мы пошли. Это было недалеко. Когда мы пришли на лесопилку, девочка сказала, что этот дяденька работает здесь. Некоторое время я стояла, глядя на рабочих, и думала: «Нет, его здесь нет». Вдруг кто-то выбегает из домика и кричит: «Лена!» Тут мы обнялись и поспешили назад к Вилли, которого увидели уже издалека, он бежал к нам навстречу, прямо к папе в объятия, с криком: «Папа!»...

После коротких переговоров с начальником милиции папа отвёл нас в своё жилище. Это было всё-таки намного лучше тюрьмы. В маленькой кухне, где мы должны были теперь жить, жили ещё многие другие. Но мы были наконец-то вместе, о чём мы так давно мечтали! В пределах деревни нам разрешалось свободно передвигаться.

На следующий день папа поехал на станцию за нашим ящиком, а мы с Вилли пошли в школу. Когда учителя увидели бедного мальчика с его матерью и узнали его происхождение, они все отказывались принять его в свой класс. Тогда директор приказал одной учительнице взять его. Нашим сердцам это было, однако, тяжело. Как нам, людям, всё-таки нелегко бывает принять насмешки и издёвки! Мы забываем Слово: *«Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе: Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил Себя Самого, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной... И это сделал Он из любви к нам, чтоб нас освободить от грехов и для всех сделать доступной блаженную вечность»*. С глубоким стыдом должны мы вспомнить слова: *«...и сорок лет терпел нас в пустыне»*.

Через два дня папа вернулся с ящиком. Всё сохранилось хорошо вопреки ожиданиям, кроме помидоров, которые пришлось тут же выбросить.

До Нового года нам пришлось дважды переехать. Рождество мы праздновали в крошечной комнатке, через которую должны были проходить хозяева дома. Но в основном мы были там одни. К нам в гости пришли тётя Августа Дридигер и тётя Лена Пеннер. Мы вместе съели наш скромный ужин, за который были очень благодарны.

Пели Рождественские песни и вспоминали прошлые времена. Думали и о том, как много дал нам Господь, ведь многим и это было недоступно.

Дорогие дети, у вас возникнет вопрос:

«Таковы были десять лет, которые пережила наша мама, а папа?»

Вы читали книгу «Один день Ивана Денисовича». Таких дней у папы было 3745... С этих пор наш жизненный путь был совместным. Так начался для нас 1950 год.

1950

4 марта мы праздновали совместно сорокапятилетие папы. Не было гостей, и не было тортов и печенья, но мы были вместе. Вилли выучил к этому дню стихотворение. Мы жили тогда уже на четвёртой квартире. Нам принадлежал совсем крохотный уголок.

Вскоре начиналась весна, и с ней—новые надежды. Нам отмерили совсем небольшой строительный участок, где мы раскорчевали землю под огород. Какая это была радость!

В апреле Вилли тяжело заболел корью, некоторое время он не мог ходить в школу. В школе его уже очень полюбили, так как он хорошо учился. В это время мы жили уже в пятом месте. Здесь папа изготовил своими руками первую мебель—маленький шкаф для посуды, которому я очень радовалась.

20 мая мы поставили четыре столба, нарезали пласты и начали строить себе маленький дом. Каждый день после работы мы отдавали все силы стройке. Обычно днём Вилли нарезал лопатой пласты дёрна, а мы по вечерам выкладывали из них стены. Когда настало лето, нам пришлось снова покинуть своё жилище. Теперь мы поселились в бане рядом с нашей стройкой. Когда хозяйка топили баню, чтоб помыться, нам нужно было освободить помещение от всех вещей. Иногда всё промокало от дождя. Но надо было быть довольным и этим. Любое жильё стоило для нас 50 руб. в месяц.

17 июля наша землянка была уже настолько готова, что мы с огромной радостью вселились в неё. Крыша была готова, стены оштукатурены. Три окошка и дверь были пока просто отверстиями. Погреб закрыли половыми досками и поставили на них кровать. И тогда мы запели от всего сердца: «Теперь возблагодарите все Бога». Мы испытывали такое счастье, какого, возможно, царь во дворце не испытывал, —после многих лет скитаний. Наконец мы могли быть свободными от насекомых-паразитов. Но на каждый день оставалось еще много работы.

9 августа в 3 часа утра у нас родился сыночек.

Но Тому, кто Господин над жизнью и смертью, захотелось перенести нашего маленького Корнелиуса в Небесное Царство. Мальчик не открыл свои глаза для этого злого и грешного мира. Тогда нам это было горько, хотелось удержать его—но Господь хотел через это серьёзно обратиться к нам. Папа и Вилли сколотили из досок маленький гробик, тётя Лена Пеннер красиво украсила его, были и цветы. Папа помолился, и в тот же день его похоронили. Как рады мы сейчас, что у нас уже есть два маленьких небожителя у Господа. Они ждут нас. Скоро, скоро мы снова увидим их.

Затем мы продолжали работать, и к сентябрю наша хижина была готова. Окна, двери, печь, побелка, хороший пол из досок—наконец мне можно было украсить комнатку! С каким удовольствием я это делала! Однажды я проснулась утром и посмотрела в окно—сердце моё наполнилось радостным чувством: они мои—эти окна, я могу в них смотреть, могу их мыть, а когда днём ещё и солнце засветило в них, то сердце моё запело: «У меня есть дом! У меня есть дом!»

И тогда я вспомнила, как несколько лет тому назад сидела одна у источника и пела: «Хочу домой...» Как мы были теперь благодарны и рады! Мы хотели также, чтобы наш дом мог стать домом и для бездомных. Вскоре у нас поселилась тётя Лена Пеннер с дочерью и внучкой до следующего лета. Затем они начали строить себе такую же хижину. Так мы пережили зиму. После работы папа возился у верстака, тётя Лена шила, Вилли учился в 7-м классе. Бывали тяжёлые часы, но они сменялись и радостными. Мы пели, читали Библию, молились—однако полного мира душевного мне не доставало. Рождество мы праздновали ещё и с тётей Августой Дридигер.

1951

Этой весной мы работали на нашем огороде: посадили картофель, овощи и немного мака. Мне было радостно видеть, как всё хорошо вошло. В начале сентября тётя Лена Пеннер тоже переехала в собственную избушку. Теперь мы жили рядом друг с другом, но всё-таки по отдельности. Радостно было выкапывать осенью собственную картошку. Как же позаботился Господь о детях своих!

18 октября в полдень у нас родился ещё один сыночек. Он закричал так сильно, как будто не хотел успокаиваться. Тогда медсестра запеленала его и положила около меня. Он затих. Когда он посмотрел на меня своими глазками, мне показалось, что я вижу сходство с моей мамочкой. Это обрадовало и утешило меня...

Прошло совсем немного времени, и у моего

окна стоял Вилли и смотрел с такой радостью на своего брата. Он пожелал, чтоб его назвали Виктором. Когда папа забирал нас через неделю домой, Вилли вышел к нам навстречу, взял братика на руки и понёс его в дом. Когда мы вошли в комнату, то увидели картину, которая глубоко запечатлелась в нашей памяти. Вилли положил своего маленького братика на свою кровать, развернул его и стоял перед ним на коленях... К нашей общей радости, маленький Витя хорошо развивался и рос, несмотря на скудное питание.

В этом году в Сочельник мне было очень-очень грустно. Как уже я упоминала раньше, у меня был потерян мир с Богом. Сколько бы ни читала я Слово Божие, послание к Евреям 6:1–8 звучало для меня как приговор. Мы молились вместе с папой, и он так старался меня утешить. Часто по вечерам я выходила из дома, смотрела на звёздное небо, молила Бога о помиловании. Иногда в душе у меня водворялся божественный мир, то были чудесные часы с моим Господом. Но затем искушения начинались опять. Тогда мы решили с папой, что я напишу письмо дяде Иоанну Фасту.

Мне хорошо тогда были понятны слова:

«Ибо день и ночь тяготела надо мною рука Твоя»

(Пс. 31:4).

1952

Когда Вилли после каникул пошёл снова в школу, я уселась однажды писать это письмо. Господь благословил меня...

Большую радость испытывала я от своего маленького ребёнка, он так часто утешал меня. Папа и Вилли тоже радовались ему, и папа постепенно переставал походить на арестанта, а превращался в счастливого отца.

29 февраля вечером я получила ответ на свое письмо. В этот момент я сидела за столом с маленьким Витей на руках. Прочитав письмо, я положила моего ребёнка и поспешила на улицу, где уже много раз поднимала глаза к звёздному небу. Тут я испытала то, что Саул испытал в Дамаске. Как будто с моих глаз упала пелена. Небо открылось для меня, как будто я слышала ангелов, как они ликуют. О благословенный час! Не знаю, как долго простояла я там... Когда зашла домой, мы вместе с папой опустили на колени и от всего сердца возблагодарили Господа, который великое сотворил для нас.

В эту ночь малыш был очень беспокойным, и мы оба не могли уснуть. Тогда я снова и снова пела:

*Как хорошо ребёнком Божиим быть,
Как хорошо грехи свои омыть...*

И ещё одну песню:

*У ног Иисуса моё любимое место,
Там я хочу сидеть и слушать
Слово Его...*

С тех пор я пережила много бесценных часов с Господом: сколько утешения, радости, подкрепления, — всё находила я теперь в Его Слове.

В апреле Вилли сильно заболел, его положили в больницу. Когда ему стало лучше, ему нужно было ехать в Куйбышев (60 км) на рентген. Он приехал с печальным известием, что у него больны легкие. Опять начались заботы и тяжёлые переживания. Господь и тут помог, благословил нас, папа стал больше зарабатывать, и мы смогли покупать то, что раньше нам было недоступно: топленое сало, масло, мёд, яйца и молоко. К тому же на огороде поспело у нас много редиски, а позднее помидоры с 36 кустов: столь много, что мы и не ожидали. Всё это Господь благословил обильно. Когда осенью Вилли снова обследовался, его признали здоровым. Так он перешёл в 9 класс. О, мой милый, милый Вилли, как много я всегда переживала о тебе!

1953

В начале этого года наш маленький Витя научился ходить. Это тоже было радостью. Вилли закончил 9-й класс. В летние каникулы он проработал два месяца и заработал себе на зимнее пальто. Как хорошо отпраздновали мы, хоть и тесным кругом, Сочельник, Рождество и Новый год! Дядя Иоанн Фаст прислал нам свои проповеди к праздникам, из которых мы почерпнули много благословений. Мы начали молиться о том, чтоб Господь привёл нас снова к возможности слышать Слово Божие, ведь для Бога ничего невозможного нет. Однако мы не имели никакого представления о том, как это может произойти. Мы испытывали огромный духовный голод и жажду после всех этих лет, жажду общения с детьми Божиими. Часто мне хотелось присоединиться к псалмопевцу:

«Как лань желает к потоку воды, так желает душа моя к Тебе, Боже! Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому. Когда приду и явлюсь пред лице Божие? Слезы мои были для меня хлебом день и ночь, когда говорили мне всякий день: «Где Бог твой?!» Вспоминая об этом, изливаю душу мою, потому что я ходил в многолюдстве, вступая с ними в дом Божий со гласом радости и славословия празднующего сонма. Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще

славить Его, Спасителя моего и Бога моего»

(Пс. 41:2-6).

Так мы вступили в новый 1954 год.

1954

В этом году закончил наш Вилли 10-й класс. Куда теперь? У него было сильнейшее желание поехать в Томск, чтобы там поступить в университет. Как страшно, просто невозможно казалось это допустить. Если б могла, я бы не отпустила его от себя, как тогда, в тюрьме. Однако мы согласились, так как боялись помешать его счастью. В начале июля мы проводили нашего старшего сына, он отправился на чужбину. Мы помолились на прощанье и просили Господа охранять его. Папа написал ему 1-й псалом и просил принять эти слова близко к сердцу.

Весной мы купили себе поросёнка, первый раз за все эти тяжёлые годы. Также вырастили четырёх курочек и одного петуха. Виктор, которому теперь уже было два года и 10 месяцев, пас поросёнка и кормил курочек, это доставляло ему огромнейшую радость, и мы радовались вместе с ним. В этом году был также богатый урожай ягод в лесу.

С большим нетерпением ожидали письма от Вилли. Ему пришлось нелегко, но он сдал все экзамены один за другим, получив четыре «пятерки», две «четвёрки», только за последний экзамен получил «тройку». Он был принят учиться, однако остался без стипендии. Снова появилось много забот. К тому же у него опять началось воспаление лёгких. Иногда мне казалось, что я этого не вынесу. Помню, особенно одну ночь я провела всю в слезах и молитве. Как бы мы обрадовались, если бы он вернулся домой! Но этому не суждено было случиться.

В это время мы получили известие от папиного племянника Абрама Фаста, которого папа знал ребёнком, но ничего не слышал о нем с 1938 года. 22 ноября он приехал к нам в гости на одну неделю. Это было большой радостью для нас.

15 декабря мы зарезали нашего поросёнка. С этого времени папа излечился от своей болезни, которой болел с лагерных времён.

22 декабря в половине седьмого утра родился наш Хайни. Сколько радости может принести такой маленький ребёночек, если принимаешь его как дар Божий! Когда медсестра положила мне моего сыночка на руки и я взглянула в его личико, всё в пятнышках, — о, как я испугалась!

«Наг и слаб, о, укрой меня! Я беспомощен, помилуй мя! Пред Тобой, Господь, не чист я, омой меня!»

Когда мы 30 декабря (за день до кануна Нового года) вернулись домой из больницы, я помыла

его, одела и с умилением заботилась о нем. И его мы посвятили в душе своей Богу. Нашим самым заветным желанием было, чтобы через наших троих сыновей прославлялся Господь.

«Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы она и забыла, то Я не забуду тебя. Вот Я начертал тебя на дланях моих...»

(Ис. 49:15-16).

Дети наши, не сомневайтесь, что Господь начертал вас на дланях Своих! Он хочет вас сделать всегда и навечно святыми и блаженными, поэтому отдайтесь Ему!

«Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни»

(Откр. 2:10).

Елена Корнелиусовна Фаст

принадлежала к немцам-меннонитам, переселившимся в царскую Россию в XVIII веке из Голландии через Пруссию от преследований, связанных с отказом служить в армии. В России этим мирным и глубоко религиозным людям были предоставлены земли и автономия — они жили замкнуто, строили поселения, где все разговаривали по-немецки, устраивали свои школы и церкви. По-русски говорили с трудом и с акцентом.

Российские немцы-меннониты имеют общее происхождение с американскими амишами, хотя, в отличие от последних, от электричества и прочих плодов цивилизации не отказывались. Советская власть закрыла их школы (поэтому бабушка не доучилась), загнала их в тюрьмы, потом отступилась. В 90-е годы, когда открылись границы, многие из них уехали в Германию, и там ощущая себя народом, у которого нет родины, но есть Небесная Отчизна.

В своих воспоминаниях о военных и послевоенных годах бабушка почти не замечает войну, как будто она происходила в другом мире. Для неё эти годы — бесконечные страдания, связанные с разлукой с близкими из-за тюрем и лагерей. Она не вникает в причины происходящего, но воспринимает всё как испытания, в которых её сопровождает Господь.

(Примеч. Елены Классен (Фаст))





Оксана Павловна Романова закончила Театральную академию Петербурга (театроведческое отделение). Защитила кандидатскую диссертацию по средневековому театру. Как иллюстратор

и автор статей работала с газетой «Просто фантастика» и журналом «Мир фантастики». Рассказы публиковались в журналах «Полдень XXI век» и «Химия и жизнь». Художник-аниматор.

Оксана Романова

Н,
НА,
НИ

Санкт-Петербург
Россия

ЗЕМНАЯ КЛАССИКА

Бласта ещё раз сверилась с текстом и взвыла:
— За твой успех пьёт королева, Гамлет!

Она опустила в кубок щупальца. Лёха застонал, биясь головой о сценарий.

— Ради всего святого, Бласта! Ну почему ты опять макаешь в вино конечности? Мы же три раза повторяли: люди пьют через голосовую дырку.

— Мне так удобнее, — проворчала кантерианка. — И, в конце концов, ты сам ратовал за импровизацию. Могу я добавить к этому дикому образу хоть чуточку цивилизации?!

Лёха устало откинулся на спинку кресла.

— Чёрт, когда ты перестанешь отрезать от меня куски?

Медузоид Эккен отшвырнул шпагу и направился к человеку. Кружева его костюма от ярости побагровели и временами втягивались обратно в тело.

— Этот Гамлет недоделанный опять слишком сильно рубит! — завопил Эккен почти в самое ухо Лёхи. — У меня и так клонов полон дом, куда я ещё одного дену?

Он протянул режиссёру перчатку. Хотя нет, не перчатку, а кисть левой руки, которая уже подрагивала и пыталась принять форму малютки-медузоида. Лёха с укоризной посмотрел на Гамлета. Тот смущенно втянул чешуйчатую голову в плечевой панцирь.

— А я тебе говорил, Эккен: не выращивай костюм, надевай, как все, готовый! — внезапно разозлился человек. — Я для чего защитные дублеты заказывал? И перчатки с крагами? Вот специально чтобы вы друг друга не уродовали. Мой тебе совет, дружище: пока я не вышел из себя окончательно, дуй к рампе и привари свою руку обратно! Я нарочно попросил ультрафиолетовый софит поставить, чтобы тут никто на халяву не клонировался.

Он развернулся к залу и рявкнул:

— Офелия, о нимфа, заткнись уже! Твои сцены будем репетировать только через час.

— Я считаю, это унижает моё право на получение славы и ментальной подпитки, — проворковала инпериа, выпуская белые коготки. — Моя героиня имеет непропорционально малое количество слов и активных действий. К тому же часть сцен с её потенциальным участием по неизвестной причине передана для изложения третьим лицам. Я продолжаю настаивать

вать на том, чтобы рассказ о гибели Офелии был переложен для моего непосредственного исполнения.

— Поговори об этом с Шекспиром, дорогая.

Инпериа сузила глаза, явно собираясь предпринять психическую атаку, но Лёха выразительно указал на защитные клапаны в своих ушах.

Розенкранцогильденстерн мерзко захихикал. Двуголовый престакен недолго любил инпериа и радовался даже самому мелкому её промаху.

— Дурацкая пьеса, —фыркнула Офелия и демонстративно свернулась в клубок. Правда, не особо плотный.

— Так, Эккен, собрался? Тогда по местам! Начнем опять с кубка. Клавдий! Клавдий! Не ешь реквизит, скоро перерыв! Давай про жемчужину и всё такое.

— Фешщаф у покал фемщуфыну фон прозит! — проямлил иклоп. — Лефа, фрерфемфя. Умля рофт плфрсс...

Актеры, ворча, потопали в зал, потому что процесс формирования нового рта у иклопа мог занять полдня. Нет, на самом деле очередная пасть прорезалась сразу, как только зарастала прежняя, но далеко не всегда она приходилась на нужную для этой роли часть тела. Лёха пристально уставился на инпериа. Ему не хотелось звать её в полный голос. К тому же девушке будет приятно, если к ней обратиться согласно этикету—мысленно.

Актриса встрепенулась и подняла голову.

— Час ещё не прошел! — заметила она. — Ты сказал, через час, то есть, шестьдесят минут вашего счета. Я засекала время.

— Милая, сейчас мы на территории земного дома, и поэтому можно не соблюдать предельную точность. Есть такая вещь, как... э-э... поэтическое преувеличение. Или фантастическое допущение.

— Или брехня, — вполголоса добавил скелетоподобный Свистло. Заметив косой взгляд режиссера, он помахал сценарием. — Я читаю, читаю! Не обращайтесь на меня внимания.

— Короче говоря, — продолжил Лёха, пылая ушами, — не все слова надо воспринимать буквально. Я даю приблизительный временной интервал, потому что люди не умеют просчитывать абсолютную точность возможностей. Но если я сейчас начну болтать на эту тему, то мы потратим куда больше часа. Думаю, полезнее несколько лишних минут поработать над ролью.

Офелия величаво развернулась, прошествовала на сцену и активировала костюмерный браслет. Белый шёлк мягко скользнул по её меху. Ин-

периа приготовилась вкушать славу и восторги.

— Где Дании краса и королева?

«Краса» помахала щупальцами из зала:

— Как дела, Офелия?

— Любовника как мне узнать твоего?

— По шляпе с петушиным пером, — запищала инпериа невероятно высоким вибрирующим голосом. Актеры задержались.

— Дражайшая, на октаву ниже! — попросил Лёха.

— Тогда я не смогу задействовать ментальный резонатор, — возразила Офелия. — Что равносильно утрате слияния с аурой аудитории. Это будет провал.

— Чёрт, и почему хозяева потребовали постановки Шекспира? Мы бы так мило сыграли «Школу злословия» или «Игроков». Нет, подавай им трагедию, — пробурчал режиссёр. — Ненавижу «Гамлета»!

Инпериа нахмурилась, пытаясь прочесть настроение Лёхи. И, как обычно, приняла всё на свой счет.

— Я не виновата, что тебе постоянно не нравится моя манера игры, — оскалилась она. — Тебе всё не угодить. Ты отрицаешь необходимость психического слияния и метакатарсиса. Ты не разрешаешь церебральный контакт. Ты... ты жалкий брефигусс!

Зал разразился жидкими аплодисментами. Розенкранцогильденстерн засвистел в две глотки. Лёха хлопнул текстом по сцене:

— Нашипелась? Достаточно! Мы на моей территории и ставим пьесу землян на земной манер, как приказали хозяева. Или ты опять хочешь оказаться в изоляторе? Вот мне прошлого раза хватило.

Инпериа дрогнула: для неё попытка изолятором была равна многодневной голодовке. Офелия сжала коготками нежный шёлк платья.

— Никто из нас не виноват, что у хозяев такие вкусы. Они велят ставить самые лучшие, самые знаменитые, самые нашумевшие пьесы наших народов. Неважно, нравятся ли тексты нам самим и подходим ли мы для этих ролей. Привыкайте—мы крепостной театр и останемся таковым, пока не наскучим господам. И поэтому не надо на меня орать, шипеть и плевать. Лучше всю свою ярость вкладывайте в ваши роли. Потому что на сцене вы будете свободнее, чем в реальности. И сможете высказать хозяевам всё, что вы о них думаете. Так всегда было в нашем театре. Так ставят пьесы на Земле.

Повисла долгая мхатовская пауза. Лёха обвел взглядом своих коллег по несчастью: чешуйчатых, полупрозрачных, многоголовых, меховых,

аморфных, гуманоидных, инсектоидных и каменных. Они не походили на обычных актёров. Скорее на выставку работ гримёрного цеха или на кукол. Да, пожалуй, все мы тут куклы, решил Лёха. А сидим мы в большом космическом вертепе, где хозяева водят нас по прорезям, не давая свернуть или сделать что-то... особенное. И у нас нет шанса вырваться на волю, пока куклы ползают по непересекающимся дорожкам.

— А что, мне нравится такая трактовка «Гамлета», — нарушил общее молчание Свистло. — Значит, ставим пизсу про свободу, хе-хе? Дания — тюрьма, и все такое?

— Актуально, — кивнул Эккен. — И, судя по всему, это земная традиция.

— Ну... Тогда я буду трактовать ментальную ограниченность своей роли как угнетение и подчинённое положение Офелии, — оживилась инпериа.

— А когда она впадает в безумие, то сбрасывает оковы, — вставила Бласта. — Я бы посоветовала тебе в этой сцене использовать всю силу резонаторов, дорогая!

— Эй, режиссёр-то я! — робко вставил Лёха, но актёры, нашедшие цель, не слышали его. Они перелистывали трагедию, отыскивая новые и новые двусмысленности, на которых можно было бы сыграть. Они смаковали слова, которые можно будет выплюнуть в ненавистный зал. Это земная традиция. Это единственно правильная постановка «Гамлета». Классика.

«А если ребята войдут во вкус? Если теперь все наши спектакли будут об утраченной свободе? Если вертеп сломается, и куклы будут ходить так, как захотят? Выбросят ли нас на помойку или попробуют уговорить, уломать, подчинить?» Лёха вздрогнул и сурово посмотрел на режиссерский экземпляр трагедии. Все умерли. Конец. Молчание. И — что потом?

Фортинбрас — завоеватель. Новый Хозяин датского вертепа придёт на смену кучке заигравшихся героев.

Лёха потер лоб, пытаясь вспомнить нечто важное. Да, в большинстве виденных им постановок Фортинбрас изображался как деспот, грубая военная сила, стальной кулак и тому подобное. Но дядька Шакеспар был хитрой бестией, о да, у него всегда припрятана фи́га в кармане. Ну конечно! Горацио остается с Фортинбрасом, это такое постоянное напоминание о трагедии датского двора. О трагедии несвободных людей.

Если бы удалось передать хотя бы часть этих чувств туда, за пределы сцены, чтобы хозяева немного задумались над спектаклем! Тогда эти мысли станут нашим тайным посланцем, нашим Го-

рацио, который будет тревожить сны, смущать ум и лишать аппетита завоевателей. А за ним последуют инперианский Эбреи Хаа, кантерианка квасста Рей, Аломба, все эти маленькие герои второго плана, незаметно разъедающие цепи. Мы научимся хорошо играть, чтобы проложить дорогу в разум хозяев. Мы станем отличными актёрами и завоеваем тех, кто покори́л нас. Мы — театр.

— Так, Клавдий, новый рот уже готов? Тогда работаем, работаем, работаем!

КОДОВЫЙ ЗАМОК

Румяный от морозца бородач неохотно отвлекается от созерцания своих грязных ногтей и вопросительно поднимает брови.

— Мне бы книгу. Какого-нибудь нового автора и про современность. Чтобы, так сказать, все реалии сегодняшней жизни.

Щека бородача чуть заметно дёргается, но голос преисполнен энтузиазма:

— Да пожалуйста! У нас этого добра современного хоть...

Продавец склоняется над картонными коробками, неразборчиво бурча. На столик летят свеженькие хрустящие томики. Клей скверный, и некоторые книжки сразу распадаются на неровные блоки. Бородач выпрямляется, победно стучит очередным покетом по вершине груди:

— Вот, последние новинки. Рекомендую: «Красная мразь»! Тут и про золото партии, и про переворот, и про любовниц Самого. Ещё неплохая штука: «Цвет киллеров: Банда». У нас, кстати, из этой серии ещё три имеются, но «Банда» позабористей. Или возьмите «Шкуру парторга», тоже забирает не по-детски.

— А это что, про современность?

— Да, про неё. Там только самое начало про папашу — секретаря горкома, а потом его замочили на набережной, когда он начал строить кооператив... впрочем, это лучше прочесть, а то я хреново рассказываю.

— Хм... А есть что-нибудь про чувства? Любовь, дружба?

— Конечно! Берите «Антистатиста» и «Антистатист возвращается» — там дружбаны ещё со времен нагорной операции влюбились в одну бабу, а она на содержании у главы местной мафии...

Голос продавца всё тише, а глаза все жалобнее. На его лице явственно читается: не сомневайся, это самое первосортное дерьмо за самые символические деньги! Сделай доброе дело, избавь меня от него — очень выпить хочется!

— Я подумаю. Спасибо.

Продавец пожимает плечами и привычно

сбрасывает книги в подстольную коробку. Я ухожу не оглядываясь.

Пешком одну остановку, за угол на Моховую, через двор к подъезду. Набираю код на истёртом железном замке: 012. Погружаюсь в темень, пропахшую крысами, кошками и скисшим пивом. Смотрю на маленькое окошко, покрытое пылью. Снова выхожу на улицу и возвращаюсь к книжному лотку.

Бородача сменила блондинка средних лет. Она кривит броско напмаженные губы и яростно приотптывает каблочки потёртых сапожек. Заметив мой взгляд, наигранно подмигивает:

— Новиночку?

— Да, что-нибудь из современной жизни. О настоящем.

Дамочка ныряет под столик, выпятив круглый задик. Пальчики, покрытые заусенцами, бережно выкладывают на фанерку пухлые цветастые книжки. Обложки пестрят полу- и полностью обнажёнными девами, почти выпадающими из объятий мускулистых молодцев. Блондинка поправляет сбившийся парик и тыкает алым ногтем в первый попавшийся роман:

— Замечательная вещь, очень рекомендую — «Страстная связь»! Такие живые образы, ой, с ума съехать! Один старичок брал, говорит, заводит с первых страниц и на всю ночь.

Продавщица смотрит на меня и тут же пододвигает другую книгу:

— А не хотите попробовать «С текилой в Ван-де»? По-настоящему жёсткая история. Вы же сами хотите такое... этакое!

— Меня, знаете, жёсткость не особо волнует. Я хочу книгу о сегодняшних днях, актуальную.

Блондинка задумывается. Потом глаза вспыхивают, её настигло озарение. Она выуживает из кипы томиков нечто в суперобложке. Для разнообразия художник заменил деву в руках молодца на томного парня.

— Вот, «Шура для торга». Особым постоянным клиентам заказываем прямо с издательства, пока конкуренты не набежали.

— О боже мой, вы мне еще «Антистатика» предложите! — Я не выдерживаю.

— Простите?.. Ах, вы об ЭТОМ!

Дама заливается густой краской. Кажется, тут осечка.

— «Антиэстетик», — почти шёпотом выдыхает блондинка. — Сейчас позвоню на склад... Я не могу это при всех... Тут менты бывают с обходами, не хочу нарываться на штраф. Зарплата у нас не такая чтоб ах, не на панели ведь стоим, платить за подцензурщину не можем...

— Ладно, не звоните. Я пока подумаю, — великодушно отмахиваюсь я и иду прочь. Моё место тут же занимает сутулый кадыкастый студент. Он жадно роется в страницах.

Остановка, Моховая, двор, кодовый замок, 013. В подъезде вкрутили тусклую лампочку. Полосатый кот на секунду отвлекается от обольщения чёрной кошечки и смотрит на меня с вызовом. С пониманием ретируюсь. На улице опять похолодало. Ноги гудят, но я все равно иду к книжному ряду.

За столиком улыбается закутанная в сто одежек бабуля. Книги заранее выложены на прилавок и укутаны полиэтиленом в два слоя. Глаза продавщицы почти того же цвета, что эта пленка.

— Что ищем? — Старушка сразу берёт быка за рога. — В подарок или себе?

— Себе. Что-нибудь современное, про жизнь.

— А вот «Разные грязи», толково и про здоровье. Известный специалист писал, только месяц назад вышла. Вы же, конечно, смотрели передачу про лечение компостом? Ко мне все приходят, кто видел, я тут вроде как официальный представитель.

— Нет, не интересуюсь. Мне бы про любовь, понимаете?

Бабуля хмурит жиденькие брови, смотрит на меня как на извращенца. Потом быстро вынимает из-под полиэтилена серый том.

— «Цветки лаванды». Сифилис, конечно, не пробьют, но если заваривать правильно, то можно кое-что предупредить. Хотя я считаю, что лучше всего лечить язвочки ушной серой.

— Мне не надо лечить. Я вам говорю о чувствах. Страсть, нежность, привязанность.

Продавщица понимающе кивает, аккуратно убирает серую книгу и достаёт лиловую.

— «Магия и знахарство, привороты и ин-вольти-ро-вания», — аннотация даётся бабуле не без труда. — Трактат знаменитого колдуна в десятом поколении. Называется «Шнур Апоп-Орка». Но хочу предупредить: к этой книге придётся купить еще змеюку какую-нибудь. Тут всё чародейство на змеином яде. Могу предложить гадюку, у меня брат собирает в экологически чистых лесах.

Старушка смотрит с искренней надеждой. Так глядят владельцы лежалого товара на богатого туриста: может, хоть на сувениры купит? Увы, я возвращаю ей «Шнур Апоп-Орка», отказываюсь от «Антисептиков» в двух томах и спасаюсь бегством, пока продавщица не распаковала Современную Энциклопедию Самолечения.

Уже вечереет. На остановку стекаются люди, идущие с работы. Хорошо, что я в отпуске. Плохо, что после отдыха возвращаться некуда. Пока — не-

куда. Если не считать бесконечно знакомую Моховую и дверь с кодовым замком. 014. 015. 016...

ОЧКИ

С позаранку Мишаня пошёл закрывать люк. Вчера до вечера копались в кабелях—какая-то скотина упёрла тридцать метров, так пришлось ставить новый. Киргизыч первым слинял, сказал, что вернётся после ужина. Просил люк не трогать. Ну, насчет вернуться—это он, конечно, опять сбрежал. Но крышку Мишаня назло задвигать не стал. Пусть Киргизычу с утра будет стыдно.

Утро выдалось солнечным, и ночные лужи блестели как стёкла. Мишаня жмурился от тёплого света и по привычке аккуратно перешагивал трещинки на асфальте. За углом стояла крышка люка—накануне её заботливо прислонили к дому, чтобы не мешала честным людям. Но Мишаня не увидел штыря с красной тряпочкой, которым он давеча пометил открытый люк. На случай, если мимо поедут машины. Это его обидело: штырь, между прочим, был из хорошего стального прута и ещё вполне мог пригодиться. Мишаня оглянулся, нет ли автомобилей, и пошёл на дорогу поискать пропажу. Возле люка растеклась большая черная лужа с радужными разводами. Вот теперь хрен Киргизыч будет на поджопнице восседать—не рискнёт он положить свою драгоценную подушку в машинное дерьмо. Придёт на работу и, как все, на фанерке посидит. Фанерку-то, наверное, не спёрли.

Мишаня вернулся к дому за крышкой и у самого бордюра наткнулся на очки. Большие, тёмные, красиво изогнутые, они напоминали что-то голливудско-боевиковое. Мишаня крякнул, подобрал очки и стяхнул с них пыль. Ничего, вроде целы. На стыках дужек красовались фигурные блямбы. Наверное, дорогая игрушка, моднявая. Мишаня подошёл к ближайшему окну и, надев очки, принялся вертеть носом. Отражение было потрясающим.

В какой-то момент Мишаня обратил внимание на улицу, что раскинулась за его спиной. Солнечные очки совершенно превратили день в ночь. О, даже фонари зажглись. И вроде как дождь полил. Мишаня быстро развернулся—точно, дождь. Капли блестели на чёрных кожаных перчатках, сжимавших какую-то загогулину. Нет. Не загогулину—руль мотоцикла. И ноги этак непривычно жали на какие-то педали. Кругом шумело и гудело, ветер обдирал лицо ледяными дождинками, жёлтый свет фонарей змеился двумя кривыми дорожками. Витрины щедро сыпали цветными искрами. Скорость. Куртка обжимала тело, слов-

но объятия девушки. Хромированные изгибы «коня» переливались как ртуть. Хотелось вопить от восторга. Но вместо радостного вопля из груди вырвался визг отчаяния, когда прямо под передним колесом мелькнул черный штырь с нелепо повисшей мокрой тряпочкой. А за ним—черный провал люка. И мгновенная боль тела, умноженная болью разлетающегося на части мотоцикла. Всё распалось на осколки, сорвалось, отлетело, упало легкими очками на тротуар. Стёкла уже бесстрастно показали мигалки «скорой» и ДПС, тени людей, метлу дворника, ботинки, туфли, сапоги... Утро.

— От это я, мля, понимаю! — сказал Мишаня, снимая очки. — Научились делать диафильмы! Киргизыч обзавидуется. Но какая сука сперла штырь?

Он спрятал находку в карман и, поплевав на руки, покатыл крышку люка на место. Прямо по чёрному тормозному следу.

БЕЛИНСКИЙ ЖУТКО СКУЧАЛ

Белинский жутко скучал. В заснеженный садик давно никто не заходил, даже пьянчуги, поэтому памятник грустно смотрел в далекие освещённые окна «Макдональдса» и думал о счастливой участи надувного клоуна. Хоть и пустышка, а всегда среди людей.

Но вот дни стали чуть длиннее, а на голову Белинского всё чаще стали садиться голуби. Птицы воняли, матерились и непрестанно гадили, однако критик был рад и такой компании.

— Что нового пишут? — интересовался он.

— Фигню, — отвечали голуби дружно. Потом вразной добавляли: — Политика, депутатство, блин. Кретинские афиши. Толстые книжки с полуголыми тётками. Толстые журналы с голыми девками. Кроссворды.

Всё это голуби ежедневно созерцали на пяточке у метро, где старушки торговали семечками и потрёпанной литературой. Больше всего птицам нравились газеты про политиков: из них крутили маленькие фунтики, которые то и дело разворачивались в неумелых руках покупателей. Тогда чёрные обжаренные семечки начинали весело прыгать по мостовой—только успевай набивать зоб!

Белинский уже давно ничего не ел, поэтому политику недолюбливал. Когда ветер начинал шалить, то заплёванные грязные газеты, крутясь, поднимались к самому бронзовому носу классика, и он кое-что успевал прочитать, пока бумага билась на его лице. Белинский знал наизусть телефоны ликвидаторов фирм, стоимость прерывания запоев и имена чумазных нагих красавиц, обещавших потрясающие беседы. Он бы предпо-

чел поговорить с кем-нибудь из писателей или хотя бы театралов, но что-то в последнее время таковых в парке не наблюдалось.

Поэтому когда мужик, удиравший от двух воинственно настроенных подростков, обронил мобильник у самого пьедестала, Белинский решил-таки позвонить девушкам. По его просьбе сизарь настучал нужный номер и доволлок телефон до металлического уха.

— Барышня? — уточнил Белинский.

— Ирэээна, меня зовут Ирэээээна, — застонала трубка. — Я выполню все твои сокровенные фантазии...

— Отлично! Просто превосходно. Итак, кхм, позвольте мне пофантазировать. Вы в вечернем платье, на шее жемчуга, в руках изящная сумочка.

— О да! — мигом согласилась Ирэна. — Шелка так облегают моё тело, так возбуждают...

— Вы идёте по коридору, входите в ложу номер шестнадцать.

— Куда? — барышня вдруг перестала стонать и придыхать.

— В ложу, милая моя. Вы опускаетесь в кресло, обитое красным бархатом, окрываете сумочку, достаёте веер и бинокль.

— И начинаю меееедленно снимать платье?..

— О нет, только слегка приспускаете боа, позволяя нежным плечам ощутить прикосновение лёгкого сквозняка. Вы поднимаете бинокль и смотрите в ложу напротив. Там сидит интересный господин средних лет в добротном сюртуке. Он мило улыбается вам.

— И я облизываю губы, показывая ему, что не против встретиться поближе...

— Он подмигивает вам.

— Тут я начинаю снимать платье! — сказала Ирэна довольно твердо.

— И в этот момент звучит третий звонок. Свечи гаснут, занавес поднимается, на сцене замерли несколько чиновников. Звучит первая реплика: «Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить пренеприятное известие...»

— Фааак, хорошо, что напомнил! Мне же завтра зачёт по литре сдавать! — ахнула барышня. — Вот я попала!

— А какой период? — поинтересовался Белинский.

— Первая половина девятнадцатого века, чтоб ей пусто было. Я ж ни хрена не помню.

— Помочь?

— А ты что, препод? — довольно хмуро проворчала трубка.

— Я критик.

— Класс! Никогда ещё с критиком не... Блин,

мы тут сейчас по интимному тарифу треплемся, тебе такой счет выставят! Лучше набери мой номер, там льготный. Записывай!

— Запомню. У меня память железная.

— Ну ты супер! Звони через пару часов, я уже закончу. И ты меня погоняешь по этой долбаной литературе, а потом, если захочешь, я тебя смогу кое-чем и в реале порадовать. Бабасики!

Белинский довольно хмыкнул. Воистину, телефонные девушки умели воплощать в жизнь любые фантазии! Главное теперь, чтобы никто не спёр у памятника мобильник.

ОН, ОНА, ОНИ

Он сидит в плетёном кресле, потягивает кислотоватый компот из лotosовой чашки. У Его ног на циновке расположилась Она в обнимку с очередным народным инструментом. Её глаза полуприкрыты, пальцы оглаживают шершавый бок музыкальной игрушки. Он любит смотреть, как Она ласкает инструменты: есть в этом нечто вульгарное, будто Она хочет возбудить вещи до того состояния когда те непроизвольно начнут извергать музыку.

— Ты собираешься играть?

Она чуть приподнимает голову, но глаза не открывает. Мягкие губы шевелятся, не теряя улыбки:

— Не сейчас. Эта штука издаёт самые ужасные звуки на свете. Её придумали для того, чтобы пугать ночь.

— Сейчас уже вечер, — говорит он и толкает створку окна. Комната наполняется влажными садовыми запахами. Слышно, как в сумерках заводят первые рулады аквалии. Когда наступит полная темнота, над прудом уже будет греметь хор в сотню глоток. Он никогда не мог понять, в чём прелесть аквалий и зачем каждую весну Она, усталая и больная, принимается за чистку водоёмов, а потом осторожно выпускает икру под листья кувшинок. Но как только вылуплялись первые головастики, Она расцветала на глазах, и за одно это Он готов был смириться с любыми гадами. Вот и теперь Она замерла, мечтательно вслушиваясь в далекое пение своих питомцев.

— Совсем взрослые, — бормочет Она спустя несколько минут. — Ты слышишь, уже поют о любви.

— Как только ты их понимаешь? — Он гладит Её по щеке и нечаянно задевает висок. Основная прядь волос остаётся в Его пальцах. Но Она даже не замечает потери — волосы выпадают уже совсем легко и безболезненно.

— Ты бы тоже мог понять, если бы захотел. Но ты всегда так занят, дорогой. Тебе некогда тратить время на болтовню.

— С тобой я готов говорить в любое время,— возражает Он. — Зачем мне другие собеседники, когда есть ты?

Она благодарно льнёт к Его колену. Потом протягивает руку:

— Как тебе нравится мой маникюр?

— Интересный. — Он никогда прежде не видел такого густого лака.

— И кровоподтёков не заметно, правда? — Она с удовлетворением машет пальчиками. — Мои руки почти как здоровые. Если придут соседи, я, наверное, даже не буду надевать перчатки.

Надеюсь, никто не придёт, думает Он, но проносить этого вслух не собирается. Она рассказывает что-то о косметике, каких-то молодильных водорослях и восстанавливающих молоках, и лицо Её возбуждённо пылает. Хотя нет, пожалуй, румянец не имеет отношения к Её радостям и надеждам. Багровые пятна на скулах за считанные минуты превращаются в сизые, пятная нежную кожу синяками. Он отворачивается к окну, стараясь делать это как можно незаметнее.

— Ты не слушаешь? — Кажется, Она удивлена тем, что Её не прерывают. — Я тебя раздражаю?

— Нет, что ты. Просто меня немного оглушила ночь. Эта темнота такая мягкая...

Она впервые широко открывает глаза, в них отражается черное небо с крошечными искрами звезд:

— Мягкая, как в детстве. Помнишь, когда мы были маленькими, вокруг царила тьма?

— Не помню, — отвечает Он.

— Но темнота, она защищала нас, кормила, укрывала, пела песни, помнишь?

— Нет. Я предпочитаю не оглядываться назад, мне хватает настоящего.

Она замолкает и, кажется, грустит. Он не любит, когда Она печальна. Поэтому пытается подержать тему:

— Иногда мне снится что-то вроде юности. Но мне кажется, это просто глупые видения, даже кошмары. Знаешь, такие галлюцинации обожают трактовать психоаналитики: всякие там мутные воды, пучеглазые бесполое чудовища, пожирание гигантского трупа, причем я во сне убеждён, что это моя мать. А потом бегство во тьму, где меня душит что-то невидимое, душит, пока я не заору. Тут я всегда просыпаюсь.

Она улыбается. Он и рад за Неё, и одновременно раздосадован, что Она так легкомысленно отнеслась к Его откровениям—а ведь подобное не каждому врачу расскажешь.

— Ну, в общем, ты поняла: я не хочу лишней раз вспоминать детство. По-моему, ничего хорошего в нём не было.

— А для меня было—я ведь встретила тебя. Выбрала одного из всех и навсегда.

Он целует Её в темя, мимолётно удивляясь тому, как горяча Её кожа.

— Для меня других не было и нет, — говорит Он твердо.

— А ты не жалеешь?

— Больше мне никто не нужен. Любить тебя, ласкать тебя, служить только тебе—в этом смысл моей жизни.

Она смеётся, смех быстро переходит в хрип и кашель. Она хватается Его ладонь. В огромных глазах наливаются мрак, поглощая и радужку, и белок.

— Ночь... ночь уже пришла?

Яростно поют аквалии, заглушая все прочие звуки. В их воплях Его голос чуть слышен:

— Да, дорогая.

Музыкальный инструмент начинает гудеть, когда Она касается струн. Мелодия срывается из минора в мажор, то взлетая жалобными визгами, то падая тяжким топотом. Он словно наяву видит стены, которые строятся из грубых аккордов,—мощные прочные стены, за которые ночь не может пройти. Играй, любимая, пугай темноту, спасайся от кошмаров! Но в один миг всё меняется, и Она, уставившись незрячими провалами глаз в сторону окна, резко завершает мелодию: стену пересекает трещина.

— Милая...

— Извини, больше не могу. Это сражение бессмысленно.

— Нет. Держись, не сдавайся!

— Я устала, очень устала. Только зря потратила столько времени... Не плачь, всё идет так, как должно. Мне жаль только, что ты остаёшься один.

Он подхватывает Её на руки и встает. Она припадает к Его груди и бормочет еле слышно, словно сквозь сон:

— Ты отнеси меня к ним, пожалуйста. Я хочу ещё раз... я уже не могу их увидеть, но хотя бы послушать... дотронуться... они совсем выросли...

Он несет её в сад, к тёмным водоемам, кипящим от буйствующих аквалий. На несколько мгновений твари замолкают, оценивая опасность, но потом вновь принимаются за песни. Она счастливо смеётся, и смех растворяется в воплях малышни.

— Отпусти меня. — Она тянется тонкой рукой к воде, но Он крепко сжимает Её в объятиях.— Пожалуйста! Ты ведь знаешь, так надо. Для меня, для тебя, для них.

— Мне плевать на них.

— А мне нет. Это наши дети. Наше будущее. Моя жизнь. Прошу тебя, если ты действительно любишь...

Он прижимает Её к себе так сильно, что Она даже вскрикивает, но потом бережно опускается на колени у самой кромки пруда и кладёт лёгкое тело на воду. Её пальцы успевают погладить Его ладонь, а бледные губы—шепнуть неразборчивую благодарность, прежде чем аквалии набрасываются на долгожданное лакомство. Горячая питательная плоть—вот то, что необходимо личинкам, чтобы начать превращение. Он смотрит, как аквалии одна за другой выбираются из пятнистых шкурок и ползут, задыхаясь, на сушу, где впервые делают настоящий вдох. Он смотрит, как дети учатся вставать на ножки. Он слышит, как они смеются Её голосом, сначала младенческим, потом стремительно взрослеющим. И когда Её голос начинает звучать со всех сторон, Он входит в воду.

ДОРОГА НА УХОД

От асфальтированного полотна, рассекавшего поля и перелески, отходила дорога. Она была кривая, заросшая и местами расквашенная, но при этом выглядела вполне нахоженной. Шагах в двадцати от трассы дорогу перегораживал деревянный шлагбаум. По левую сторону от него стоял столб с указателем: «Уход» и маленькой квадратной табличкой: «Такса 50 рублей». Справа в кустах орешника притаилась серая будка охранника.

— Извините...

Мужик в телогрейке и ватных штанах с интересом изучал замызганный гляцевый журнал. На оклик он отреагировал лишь быстрым косым взглядом.

— Простите, а Уход—это что?

— Уход и есть, — донеслось из будки.

— В каком смысле?

— Уход отсюда туда.

— Что, там обрыв илиzybучие пески?

Мужик наконец соизволил оторваться от статьи.

— Не, ну если вы хотите ТАК уйти, то могут быть иzybучие... Но я бы не советовал. Народ вот в Светлое будущее уходит или в Прекрасное далеко—по мне, это лучше обрыва. Хотя всякое бывает.

— Да я так, чисто для примера. И много людей тут проходит?

— Порядком. Особенно когда катаклизм какой. Вон после развала Союза человек по двадцать за день бывало, так группами и уходили.

Одни в социализм, другие в коммунизм, а третьи—рублём пошли, а опосля дефолту побежали во вчерашний день.

— Звучит не очень. Особенно если правда. А между кризисами посетители бывают?

— Ага. Уходят туда, где родные да близкие, а ещё туда, где их понимают. Дети часто шныряют, норовят на халяву проскочить. Раньше все на се-вер да на космодром собирались, а теперь бегут в фантазии, где крутые маги и эти, — он выразительно помахал журналом, на обложке которого красовалась сисястая блондинка в бронелифчике. — Да и взрослые иные туда же норовят. Приходят такие волосатые, с дрынами, в кольчужках проволочных—и уходят. Говорят, надоела им эта серая обыденность, хочется чуда.

— И что, находят они свою волшебную страну?

— Конечно. — Мужик слегка обиделся. — Мы ж не Менатеп какой-нибудь, у нас всё честно: проход оплатил и уходи куда хочешь.

— А обратно когда?

— Хм...

— Ну, на сколько можно уйти?

Мужик криво ухмыльнулся:

— Если можно будет вернуться, то какой же это Уход? Это уже проходная получится. Не, пройти можно только туда.

Дорога за шлагбаумом манила в темноту леса. Зеленоватые лужи поблёскивали в полуденных лучах. Редкие васильки склоняли с обочины лиловые головки, словно пытались заглянуть туда, за поворот. Пахло грибами и мёдом.

— Ну что, полтинник платить будем? — поинтересовался охранник.

— Нет, не сегодня, наверное... Может быть, позже... когда-нибудь.

— Когда-нибудь цены могут подняться,— предупредил он. — Но подумать—это правильно. Это по-нашему. Одобряю. Кстати, тут в паре километров по шоссе мой дядя забегаловку открыл, сегодня туда пивка свежего привезли. Очень рекомендую.

— Спасибо, загляну.

Я пошла обратно на асфальт, а мне навстречу прошли три взъерошенные девчонки с угрюмыми лицами. На розовых рюкзаках переливались значки и звонко побрякивали колокольчики. Когда я выходила на трассу, за моей спиной скрипнул, поднимаясь, шлагбаум.

Читайте в 5-м выпуске:

Михаил Грим _____
PROBABLY SPAM

«В силу личных причин, о которых распространяться здесь не место, тема любви по переписке была близка мне в тот сравнительно недавний, но к настоящему времени уже окончательно завершённый период моей жизни. И я, действуя скорее бессознательно, открыл письмо...»

Валерий Асриян _____
ИГРА И ЖИЗНЬ

Мальчугану—худенькому, живому, черноглазому— было девять лет. Он стоял около мамы, ожидая того момента, когда судьи пригласят участников первенства Баку по «блицу» к столикам с шахматными фигурами. Мы с интересом поглядывали на «ребёнка», который уже наделал шума, пробившись в полуфинал городского чемпионата. Знали о нём немного. Зовут Гарик, фамилия—Вайнштейн, занимается шахматами во Дворце пионеров и школьников у Олега Приворотского, имеет первый разряд. И у каждого из нас нет-нет, да и мелькала опасливая мысль: «А вдруг проиграю этому мальчику? Засмеют ведь!»

Автор цветной вклейки _____
НИКОЛАЙ ДРОННИКОВ

28.08.—28.09.2013

Дом русского зарубежья имени А. Солженицына
Художественная выставка
«РУССКОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ НИКОЛАЯ ДРОННИКОВА»

В 1972 году, не вернувшись в СССР из частной поездки по Франции, сорокадвухлетний художник осуществил свою давнюю мечту о свободе творческого эксперимен-



Ирина Жураковская _____
СТРАННЫЙ САМУРАЙ

«Итак, что же хотел сказать Самурай? Хотя разве они разговаривают? Обычно они медленно и напряжённо передвигаются, плавно двигая ступнями, словно плывут в облаке. Сжимая меч двумя руками, пристально всматриваются в суть противника. Это обязательно должен быть противник. И у него обязательно должна быть суть. А иначе куда смотреть?»

Марк Котлярский _____
«ТОТ, КТО НЕ ЧИТАЛ СЭЛИН-ДЖЕРА» И ДРУГИЕ НОВЕЛЛЫ

«— Мне недавно пришлось перечитать рассказ «Хорошо ловится рыбка-бананка» и, — и знаете почему? — Почему же пришлось? — заинтересовался кто-то. — Потому что странным образом этот рассказ спроецировался на реальную историю молодого человека, его внутреннего несогласия с миром, которое привело к самоубийству. Если хотите, могу рассказать...»

Наталья Бондарева _____
«О НЕКОТОРЫХ ТЕНДЕНЦИЯХ
СОВРЕМЕННОГО ПОЭТИЧЕСКОГО
АВАНГАРДА»

та и передвижения, получив возможность сопрягать культурные смыслы и быть свидетелем развития русской культуры в эмиграции. «Хотелось запечатлеть и так понять русскую историю: здесь активны эмигранты трех поколений», — объясняет автор свой интерес к «психологическому пейзажу» русского Парижа 70—80-х годов двадцатого столетия.





Россия. Москва
www.galatenko.ru

Творческая мастерская В. Галатенко находится в центре Москвы рядом с храмом Николы в Хамовниках и вблизи усадьбы Л.Н. Толстого.

Вглядываясь в приглушённо-таинственную гамму пейзажей, в тонкие и трогательные композиции цветов, в отрешённость неземных полубогажённых женских образов, представляешь, что ты не в центре бушующей и неутомимо спешащей Москвы, а там, где царит размеренная тишина и гармония. Хочется забыть о словах и смотреть, смотреть...



«Кукушкины слёзки»

Заслуженный художник России, член-корреспондент Российской Академии художеств, действительный член двух академий РФ, *akademiker Academie Internationale des Sciences et des Arts de Paris*, Московского СХ.

Имя внесено в Европейскую энциклопедию «Художники всех времён и народов» (т.57, с.216-217. Мюнхен-Лейпциг). Участник более 100 московских и между-

народных выставок: Дания, Исландия, Люксембург/Германия, Швеция и др.

Произведения находятся в собраниях более 30 музеев России и за рубежом. Иллюстрировал свыше 50 книг, в том числе издания Франции, ФРГ, Италии, Болгарии. Народным голосованием избран в проект «Имена земли Астраханской» в номинации «Земляки, прославившие свой край».

О Владимир Галатенко: ЖИЗНИ, ТВОРЧЕСТВЕ, СУДЬБЕ

Сколько себя помню, рисовал всегда. Объясняю это тем, что мама любила вышивать. Когда на юбилее родного села впервые выставил пейзажи—ко мне подходили бабульки, вспоминали мою маму ещё в девичестве, вспоминали военное лихолетье и плакали: жили в землянках, 42-й год. Прокладывали железную дорогу «Баку—Сталинград»—готовились к предстоящим боям... Существует легенда, будто Сталин отрезок пути, проходящий по Астраханской степи, на карте соединил кратчайшей прямой по линейке—собрали молодёжь из окрестных сёл и начали строить...

Я появился на свет позже, в 1949-м. Так вот, подруги матери рассказывали мне, что маме удавалось находить листочки бумаги и... рисовать: на стенах землянки всегда были развешены рисунки всем на удивление. Помню, мама и шила, и платки пуховые вязала. Вечерами после тяжёлого трудового дня при тусклом свете керосиновой лампы карандашом сочиняла розовые, синие цветочки и травки, расшивала салфетки, подзоры, накидки на подушки, скатерти и многое другое. Так и жили мы, четверо детей, среди красоты—кружев и вышивок, хотя и на глиняном полу... А ещё мама вечерами в выходной день рассаживала семью и читала вслух книги. С тех пор у меня такая тяга к бумаге, вышивке гладью и к книге. В своей сельской библиотеке знал все книги наперечёт, за альбомами по искусству ходил пешком в библиотеку райцентра за семь километров, а теперь сам привожу туда книги. К началу школьных занятий мама из города возвращалась с обновками и обязательно везла тонкие пятикопеечные детские книжки: сказки Пушкина, Андерсена с иллюстрациями классика книжной графики Б.А. Дехтярёва, который (надо же было такому случиться!) впоследствии стал моим первым наставником в книжной иллюстрации. Зачитывался «Гадким утёнком», «Сказкой о мёртвой царевне» и лермонтовским «Мцыри».

Взрослые наставляли: смотри, мол, в «Огоньке» картины настоящих художников и срисовывай—учись, а уж потом своё... Я рос послушным и только позже осознал, что нужно развивать своё, а не следовать за кем-то, пусть даже гениальным.

Начальную академическую подготовку получил в Астраханском художественном училище, затем—декоративное отделение Московского текстильного института. Диплом—монументальное панно, большая многофигурная композиция для общественного интерьера «Знакомство Ольги с князем Игорем»—оно ещё долго висело в деканате.

Жизнь складывалась так, что можно в описании её обойтись только чёрной краской—и это будет сушая правда. А можно преподнести и в превосходной степени—если брать внешнюю, показную сторону. Например, в Астрахани, где четыре года без общежития, вечно голодный, осваивал начальные штудии, за неимением угла приходилось скитаться, спать где придётся... Выручали овощные базы, популярные в те годы у студентов (какой-никакой заработок). Подобное продолжилось и в Ленинграде, где не сразу устроился на работу из-за проблем с пропиской.

В конце 60-х, пока учился, подрабатывал оформителем в Астраханском Доме быта, где меня заприметили модельеры—поработал и манекенщиком. Сельскому парню стали отрабатывать походку, манеру держаться и всё прочее. Главное—появилась возможность приобретать кисти и краски...

Творческий отсчет начинаю с пейзажей родных мест. Яндыковской серией показываю, что и этот, всеми забытый край может быть достоин кисти художника. Большие серии работ написаны по материалам поездок по нашей стране: Карелия, Сахалин, Сибирь, Байкал, Крым, Подмосковье. В Доме творчества «Дача Кардовского» в Переславле-Залесском подружился с графиком Михаилом Григорьевичем Ройтером, помню долгие разговоры, его наставления. Многому научили и беседы с акварелистом и иллюстратором книги, Заслуженным художником России Борисом Анисимовичем Маркевичем.

В 1991-м Союзом художников СССР с группой коллег был командирован с выставкой работ в Данию. По приглашению и при личной опеке бургомистров Триерланда неоднократно бывал в ФРГ, работал над серией пейзажей Трира и Саарбурга с последующими выставками «Россия-Гриерланд». Побывал с выставками в Гётеборге, Рейкьявике, Копенгагене, писал в Швеции, Швейцарии. По просьбе Мюнхенского коллекционера Манфреда Клауды, известного своими уникальными музеями, расписывал фасады домов в народных баварских традициях: изучал особенности быта, костюм, уклад деревенской жизни. Увидев мои тщательно отрисованные эскизы, Клауда был искренне изумлён: думал, что все уже давно перешли на компьютерные технологии, трафареты. А тут человек из далёкой России смог отобразить незнакомый ему быт баварской деревни, да ещё с доскональной точностью! Позже, в Москве в Российско-немецком доме у меня был своеобразный творческий отчёт, а фонд «Российские немцы» издал мой персональный каталог.

Люблю Чехова. Впервые побывал в Музее А.П. Чехова на Сахалине. Много рисовал в Ялте, в Гурзуфе. В Мелихове на вечере «Шляпин и Чехов» выставил крымские работы. Директор Музея предложил пожить-поработать на усадьбе. Мелиховская усадьба, чеховские места... Всё напоено особой, тихой скромностью интеллигентнейшего из писателей. Посчастливилось прожить несколько месяцев, в результате сложилась серия из двадцати двух работ—пейзажи и интерьеры. В рабочем кабинете Антона Павловича тщательно и благоговейно выписывал детали—с документальной точностью и почтением. После работы в этом святом месте по-новому осмыслил и проиллюстрировал «Избранное» А.П. Чехова (2003). Рисовал Ваньку Жукова—вспоминал, сопоставлял со своим детством...

Нравится работать в жанре иллюстрации. Начинать с журнала «Юность». После посещения музея Александра Грина в Феодосии получил предложение от московского издательства проиллюстрировать Грина в серии «Библиотека мировой литературы для детей» (1999).

По мере сил участвую в общественной жизни, в нескольких направлениях. Последние годы меня волнует возрождение провинции. Предполагаю, что не всем нужен и выставочный зал у меня на родине, в селе Яндыки. Понимаю, что у людей много других проблем. Но кто-то ведь должен думать о доступности искусства и в провинции, сохранении и преумножении культуры. Я подарил уже 25 работ будущему музею, где смогут выставляться и профессионалы, и любители, будут проводиться вечера и концерты.



Ольга

*К свиданью с ней мне нет пути.
Увы! Когда б предстал я милой,—
Конечно, в жалость привести
Её бы мог мой взор унылой.
Одна мечта души моей —
Свиданье с ней, свиданье с ней...*

Евгений Баратынский



«Подснежник»/«Маслёнок»
(степной тюльпанчик)



Мама



Цинии



Ирис



Судьба сводит меня с интересными людьми: Георгий Миронов, автор многотомных изданий по истории России; Владимир Исайчев, основатель движения «Возвращение к истокам», восстановил родник в родной деревне, построил храм, музей, инициатор всероссийского праздника «Хрустальный ключ»... Аркадий Елфимов, президент фонда «Возрождение Тобольска», восстанавливает культуру старинной столицы Сибири.

Мне дорого имя Алексея Фатьянова. Всё моё детство мама напевала его песни. И то, что сегодня книг этого выдающегося поэта-песенника нет ни в магазинах, ни в библиотеках, — меня возмущает. Фатьяновские праздники на родине поэта — это хорошо, но поэта должны читать... Хотелось бы издать Фатьяновскую энциклопедию. Для Музея песни в Вязниках написал три работы: дом, в котором родился поэт, Дом-музей песни XX века и композицию-размышление. Нарисовал портрет поэта, оформил раздел музейной экспозиции; издана книга-альбом о семье поэта, в проекте почтовая марка и конверт.

Как член-корреспондент Академии художеств, готовлюсь к персональной выставке в Академии. И планы, планы, планы...

■ В пейзаже меня привлекает завораживающее безмолвие, покой. Полное отсутствие того, что у художников называется «литературой» — пересказом-пересчётом деталей. Проверил это на выставке Сахалинской серии в Исландии, когда посетители часами рассматривали мягкий приглушённый колорит акварелей, написанных «по сырому». Конечно, далеко не всем такое по сердцу. Вот почему иногда приходится разнообразить: вот птичка пролетела, вот ворона села, то собачка пробежала, а если человек — то где-нибудь на заднем плане. Чтобы «населённость» не отвлекала. Отдохновение, величественность, проникновенность. Не стоит скатываться в зарисовки жанровых сцен. Наверное, одиночество в моём мировосприятии (да и колорит) заложено изначально: сказывается происхождение — степной полустанок... Мне кажется, что в пейзаже должна быть многослойная тишина, порождающая глубокую сосредоточенность. Я не списываю, а сочиняю, иду от законов композиции, от формального, от большой формы, поначалу абстрактной, чаще геометрической, а затем усложняю...

■ Я не пишу ни времён года, ни тем более время дня, хотя непроизвольно чаще всего выходит осенний вечер. Работаю «сокращённой палитрой». Люблю писать мягкую снежную зиму, золотую осень, но особенно щемящее чувство испытываю от поздней, бордово-синей дымки осени. Пейзажи чаще пишу с натуры, потому что на природе помогает Божественная сила. Ощущаешь себя, как в храме. Сам воздух, атмосфера — зимнее, тихое спокойствие, морозящий осенний дождик, длинные вечерние тени, последние золотые лучи (любимые Леонардо да Винчи) — умиротворяют. Как будто растворяюсь в природе, проникаюсь её состоянием — задаю ведущий цвет, тон и начинаю сочинять... Испытываю необъяснимое чувство, — вселяется некая энергия, что-то открывается, и начинается постижение: прозреваю главное, отсекаю второстепенное. А в мастерской иное — придумываю, отдаю всего себя, происходит иссушение. Поэтому необходима подпитка энергии на природе...

■ Я родился в степи, на железнодорожном полустанке. Летом сорок градусов жары — норма, обыденность. В июне степь выгорала, становилась однородной, безликой. Зато весной, в апреле на Пасху, — буйство дивных в своей простодушной красоте трав. Поля крохотных белых и жёлтых степных тюльпанчиков, алых маков, дикие ирисы, бело-розовые вьюнки в тени обочины, в кустах пахучей полыни полыхающие разноцветными огоньками так называемые «лампадочки», заметные только тому, кто к ним наклонится, воспринималось как сказочное богатство, ускользающее на глазах, хотелось задержать: если не зарисуешь — бесследно исчезнут. Цветы люблю рисовать разноцветными карандашами, не только красками. Это от мамы, ностальгическое.



Владимир
ГАЛАТЕНКО

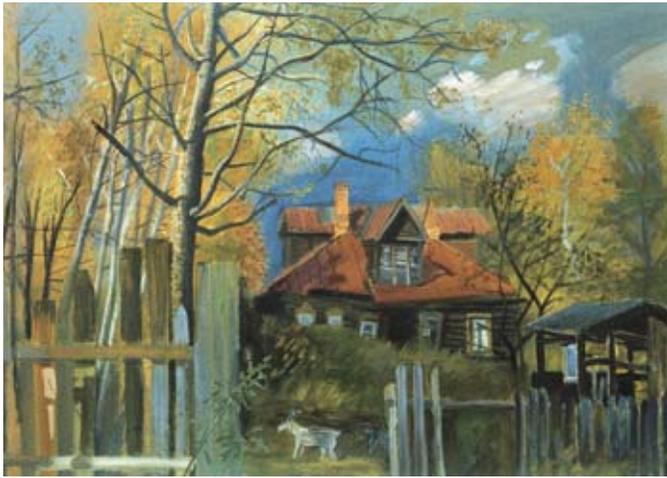


- Весна в саду.* 2009. Бумага на картоне, темпер. 61,5×91
Ветка яблони. 1999. Бумага, цв. кар. 29×21
Может быть. 2001. Холст, масло. 94×68
Степной цветочек. 2004. Холст, масло. 40×50
Чертополох. 2008. Бумага, акварель. 60×55,5



Вид из палисада Пугачевых. 2013. Холст, масло. 60 x 80
Сенник Матвейваныча. 2010. Холст, масло. 50 x 60,3

Экологический монстр. 1988. Бумага, темпера. 59 x 78,5
Кирхи Саарбурга. 1997. Бумага, темпера. 56 x 76
Дача в Тарасовке. 1988. Бумага, темпера. 51 x 72
Первый рыбак на Уче. 2009. Холст, масло. 50 x 69,5
Ручей. 2006. Картон, темпера. 61 x 92

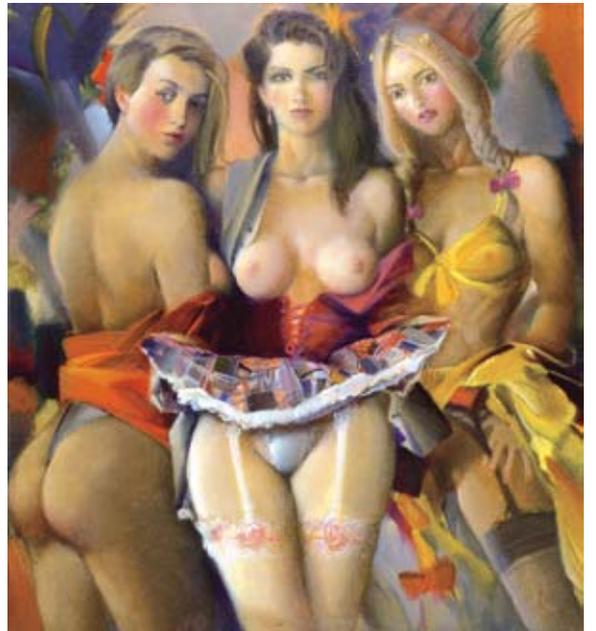






За зеленым забором. 2008. Картон, темпера. 61,5 x 91,5
Дачный двор. 2008. Картон, темпера. 61,5 x 91,5
Школьницы из 50-х. 2009. Холст, масло. 90 x 70
Мелихово «Аквариум». 2001. Б. акрил, гуашь. 56 x 76
Дом поэта В. Исайчева. 2003. Картон, темпера. 61x91,5
Кабинет А.П. Чехова. 2001. Б. акрил. 56 x 76







- Лунный танец.* 1999.
Бумага рулонная на планшете, пастель. 118х216
- Идеальное созерцание.* 2008. Холст, масло. 100х90
- Тропиканки.* 2004. Холст, масло. 100х90
- Тропическая греза.* 1991–93. Холст, масло. 120х93
- В тени.* 1992. Холст, масло. 90х90
- Женщина-цветок.* 2008. Холст, масло. 90х120

Дамский мир. 1990. Бумага, акварель, белла. 56 x 76
В розовых тонах. 2006. Картон, темпера. 81 x 61
Сирень. 2009. Бумага на картоне, темпера. 46 x 71
Баварская витрина. 2006. Холст, масло. 80 x 120





Желтый цветок. 2003. Холст, масло. 100 x 80



Masha. 2013. Холст, масло. 80 x 59,7. (Частное собрание, Лондон)

Пусть небо озарится лунным светом,
когда перо белого дракона
коснётся водной глади,
и семь озёрных мотыльков
поднимут с водной глади
раковину с сияющей жемчужиной,
и тогда появится
одна на двоих любовь.

Неизвестный
китайский поэт
